



СОГЛАСИЕ

РОБЕРТ ШТИЛЬМАРК
ГОРСТЬ СВЕТА
Роман-хроника



ВИКТОР СОСНОРА
БАШНЯ



АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
ЦИТАДЕЛЬ



КЕННЕТ ГРЭМ
ИВОВЫЙ ВЕТЕР



1' 1993



СОГЛАСИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. ОСНОВАН В НОЯБРЕ 1990 ГОДА

№ 1 (17). ЯНВАРЬ 1993 ГОДА

МОСКВА. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „СОГЛАСИЕ“

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Роберт Штильмарк

ГОРСТЬ СВЕТА. *Роман-хроника*

3

Ольга Постникова

Из книги «КРЫЛАТЫЙ ЛЕВ». *Стихи*

45

Виктор Соснора

БАШНЯ

51

Валентина Гридасова

ПАУЗА. *Стихи*

84

Марина Тарковская

ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА

89

Алексей Татарников

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

114

Кирилл Залесов

ПРОСТЕЦКИЕ ИСТОРИИ

115

Нина Садур

УТЮГИ И АЛМАЗЫ

124

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

Алла Марченко
ВОЗВРАЩЕНИЕ АНЕКДОТА

129

ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери
ЦИТАДЕЛЬ. *Вступительная заметка и перевод с французского
Марианны Кожевниковой*

134

ПУБЛИЦИСТИКА

Ариадна Ардашникова
ПАЛОМНИЧЕСТВО КО СВЯТОЙ ГОРЕ

186

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. П. Кузичева
«ВАШ А. ЧЕХОВ» (*Мелиховская хроника. 1895—1898*)
Продолжение

205

A PROPOS

Лев Аннинский

214

ПРОЧИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм
ИВОВЫЙ ВЕТЕР. *Роман*
Перевела с английского Юлия Муравьева

217

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ

Алла МАРЧЕНКО
(зам. главного редактора)

Светлана БУЧНЕВА
(отв. секретарь)

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи редакция не высылает.

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Роберт Штильмарк

ГОРСТЬ СВЕТА*

Роман-хроника

Прошлой весной в самолете на Франкфурт я познакомился с семьей русских немцев из Чимкента.

Русские немцы из Средней Азии — все равно, что французские китайцы из Австралии. Но что есть, то есть — такая у нас страна, такая история, такие биографии. . .

Сегодня за границами Российской Федерации осталась еще одна — Вторая Россия — страна с населением, по числу близким к Франции. А если присоединить сюда всех метисов, всех, кто думает и считает в уме по-русски, сколько получится?

Самолет набрал высоту, о чем объявили по-немецки и по-английски. По-русски почему-то ничего не сказали, хотя самолет летел из Москвы и был полон русскими.

В семье русских немцев все были как на подбор — красивые, крупные, с чистыми глазами людей, привыкших жить своим трудом. Николай Николаевич по паспорту немец; Светлана Николаевна — русская; трое сыновей — Саша, Женя, Славик.

Младший, Саша, трех лет от роду, спал клубочком на сиденье «Люфтганзы». Его и в самолет-то внесли спящего. Он уснул еще в автобусе на Шереметьево. Уснул и даже не слышал и знать не знал, что по дороге в аэропорт рэкетеры хотели «обуть» их автобус. Все осталось для него как в сказке — позади темный лес, впереди солнечная поляна, дай-то Бог! Разбудили его во Франкфурте, на новой родине. . .

Так утекает Вторая Россия в Третью, в ту, что принято называть русской диаспорой. Говорить, писать, думать об этом нужно много и многим. Особенно остающимся в России Первой, первой не по сорту, а по существу прародины. Придет время, и все мы очнемся, а сейчас я пишу об этом, лишь предваряя публикацию романа Роберта Ивановича Штильмарка «Горсть света».

Дело в том, что перед Вами, уважаемый читатель, книга о русских немцах, поселившихся в России еще в Петровские времена.

* Журнальный вариант.

Роберт Штильмарк пережил на своем веку большие мытарства, в том числе и лагерные. Это был красивый, крупный человек с бросающимися в глаза достоинством и степенством. В жизни много странных случайностей. Скажу Вам, что человек, которого я встретил в самолете на Франкфурт, немец по паспорту Николай Николаевич, очень напомнил мне всем своим обликом покойного Роберта Александровича.

Роберт Штильмарк известен широкому кругу читателей прежде всего по знаменитому авантюрному роману «Наследник из Калькутты».

«Горсть света», которую мы предлагаем Вашему вниманию, блуждала по московским редакциям много лет. Хорошее часто приходит слишком поздно, в том числе и хорошие книги, к тем, кому они нужны, как часть их жизни.

Вацлав Михальский

Часть первая

ДВА ОБРУЧАЛЬНЫХ КОЛЬЦА

«В такие минуты весь смысл существования — его самого за долгое прошлое и за короткое будущее, и его покойной жены, и его молоденькой внучки, и всех вообще людей, — представлялся ему не в их главной деятельности, которой они постоянно только и занимались, в ней полагали весь интерес и ею были известны людям. А в том, насколько удавалось им сохранить неомутненным, непродрогнувшим, неискаженным изображение вечности, зароненное каждому. Как серебряный месяц в спокойном пруду».

А. И. Солженицын. «Раковый корпус»

Глава первая

КОЛЬЦО МУЖСКОЕ

1.

У подножия знаменитой башни, где в дни Петровы чернокнижничал Яков Брюс и помещалась Навигацкая и Цифирная школа, кипит самый людный из московских базаров — Сухаревка. Больше всего здесь приезжих с трех соседних вокзалов на Каланчевке и с четвертого, Курского, построенного чуть поодаль, за Покровкой.

Ранним утром пассажир из Санкт-Петербурга, Ярославля или Казани, на извозчике, а то и пешком, направляется с привокзальной Каланчевской площади под железнодорожную эстакаду и сразу за ней начинает подъем в гору, вдоль пыльного садика, к высокой арке Красных ворот.

Золотой окрыленный ангел, трубящий в длинную фанфару, покровительственно встречает прибывшую издалека, равно как и здешнюю публику. Ангел будто возвещает и петербуржцу, и нижегородцу, и земляку-москвичу, что в старой нашей столице — не все суета сует. Есть, мол, над Москвою и ясное небо, и вознесенная к нему красота, и величие без чопорности. Не поленись поднять голову — и они тебе откроются!

Крылатый ангел берет под защиту пеший люд, переходящий площадь. Ангел укрывает пешеходов под сенью воротной арки от извозничьих оглобель и конских копыт. Золотая ангельская фанфара указывает приезжему его дальнейший путь вдоль зеленых палисадников Садово-Спасской, сперва чуть понижающейся, а потом снова берущей вверх, чтобы подвести к самому подножию Сухаревой башни, к ее просторным лестничным ступеням.

Сопутствует приезжему не только золотой блеск изящного ангела с фанфарой, но еще и звучная медь с ближайших колоколен — на Мясницкой, Новой Басманной, в узком Орликовом переулке и с бойкой Сретенки, из монастыря.

Простого народу толпится на Сухаревке столько, что приливы людского моря прокатываются от Домниковки до Самотеки, доплескивают даже до Грохольского переулка на Первой Мещанской, где трамвай, выдравшись наконец из толпы, бежит дальше, к Виндавскому вокзалу, будто в тоннеле, под кронами столетних лип и тополей. Диву даешься, как вся кипящая здесь человеческая стихия не выплеснется из своего уличного русла и не натворит бедствий, свойственных всем беспокойным стихиям.

А ведь не слышно, чтобы на Сухаревке случалось что-либо схожее с Ходынккой. Разговору нет, чтобы здесь народ насмерть давили или до беспамяतства стискивали. Обмануть — это одно, обчистить — другое, а так, чтобы вовсе и дух вон — то ни-ни! Уж разве под царский день!..

Что ж до обману... Этого здесь — сколько хочешь. Вот, к примеру.

... Студент в форменном сюртуке и серо-синей фуражке московского университета давно присматривался к шумной азартной игре в «три листика», затеянной на клочке свободного пространства позади каких-то ларьков и лавок. Вели игру трое. С виду — приказчики из небогатых лавчонок либо трактирные половые.

Веселые эти молодцы не показались студенту жуликами. Да и сама игра шла все время будто с переменным успехом. То выигрывал банкомет, а то поставивший против него понтер. Кучка зрителей быстро росла. Кто просто глазел с любопытством, а кто, не ввязываясь в игру сам, подзадоривал других. Мол, риск невелик, дело чистое, просто затеяли игру счастья попытать, судьбу подразнить, от нечего делать.

Студент-естественник, сильный в науках точных, уже успел прикинуть несколько вариантов, построенных на теории вероятности...

Определенно стоит рискнуть, шансы равные!

Рискнуть же студент мог лишь небольшой суммой, час назад полученной от родной сестры за репетиторские занятия с ее сыновьями, племянниками студента. Сестра вышла замуж за банкира Стольникову, которому было решительно все равно, нанимать ли репетиторов со стороны или дать возможность подработать жениному брату, студенту-химику...

Деньги прямо-таки жгли карман, такая страсть разбирала проверить расчет вероятности... Шагнув из толпы, он сказал:

— Дайте-ка и я попробую!

— Денежки на кон, барин! — весело велел банкомет. — Личность у вас, конечно, приятная, но игра порядок любит.

Замелькали карты.

Студент проиграл первую ставку, а вторую, покрупнее, выиграл. Третью опять проиграл. Прикидывая свой математический вариант, решил добиться выигрыша удваиванием ставки. Тут нужна выдержка и... достаточный резерв! Первое удваивание принесло проигрыш.

Он хладнокровно удвоил еще раз. Проигрыш.

Теперь остается сыграть на все. В толпе стало тихо.

Опять проигрыш... А, черт!

Лоб у студента взмок.

— Поверьте в долг, — сказал он, вытирая лицо платком. — Я живу недалеко. Сходим потом домой, в Яковлевский, там рассчитаемся. Покамест дайте займы рублей хоть пять, должен же я сейчас отыграться, если... здесь нет жульничества.

— Такие слова не извольте и говорить, — обиделся банкомет. Оба товарища его нахмурились. — Вас, господин студент, никто силой не заставлял с нами садиться. У нас все — начистоту.

— У них все честно, — пискнул бабий голосишко из толпы зрителей. — Даве простой мужик рязанский у них три рубля выиграл.

— Я же вам верю, — проговорил студент смущенно. — Поверьте и вы мне: дайте в долг пятерку.

— Нет, барин, в игре да в кабаке не одалживаются. Деньги вышли — часики поставить можно, или, к примеру, хоть сюртучок... Вон, у вас на пальце колечко обручальное. Как залог взять его можно. Не на пятерочку — целковых на пятнадцать потянет. Желаете так?

Кольцо? С именем невесты... Он уже носил его целых полтора года, с той поры, как родители дали согласие и они с Олей заказали два кольца. Ювелир вырезал на одном имя «Алексей», на другом

«Ольга». Невеста, меняясь кольцами на «сговоре», пошутила тогда: «Смотри, Лёлик, береги! Потеряешь колечко — и меня навсегда потеряешь!» Да ведь не может обмануть математика? Расчет элементарен. Система расчета несомненно верна, безошибочна. Дело — просто в настойчивости и последовательности... А, была не была!

— Нате кольцо. Давайте пятнадцать рублей. Продолжаем игру. Ставку удваиваю!

Банкомет снисходительно улыбался, но время от времени метал быстрые взгляды вокруг — не забрел бы ненароком городской...

Проигрыш!

— Удваиваю! Играю на все!.. Ставка — десять рублей...

Как легли карты, как исчезла последняя десятирублевка, будто унесенная ветром, и главное, как растворились в толпе сами банккометы — студент не смог бы и передать связными словами. Он стоял в грязном проулке позади сухаревских лавчонок, вокруг не осталось ни души. Вслед за участниками игры мгновенно разбежались и зрители. Всяк опасался, чего доброго, еще в свидетели попасть...

Боже мой! Обручальное кольцо с Олиным именем!

Из-за дурацкой и легкомысленной доверчивости безнадежно потерять такую заветную вещь.

Остывая от азарта, он уж и сам теперь не понимал, как это его, интеллигентного осторожного человека, угораздило так легковерно отдать кольцо базарным проходимцам. Вот она, та самая простота, что хуже воровства! Что же теперь предпринять?

* * *

Идти в Яковлевский, домой, студент не захотел. Там, в родительской квартире, никто не смог бы помочь беде советом или связями — слишком уж далека была его чинная, живущая на немецкий лад семья от мира происшествий на Сухаревском рынке...

Расстроенный и смущенный, репетитор вернулся в дом старшей своей сестры Аделаиды, по мужу — Стольниковой. Во дворе, перед парадным подъездом, кучер разворачивал назад, к чугунным воротам ограды, серую лошадь, запряженную в легкий экипаж лондонской выделки. Значит, супруг Аделаиды, банкир и фабрикант Павел Васильевич Стольников только что вернулся к обеду из своей конторы. С ним и решил посоветоваться опечаленный студент-жених.

Застал он Павла Васильевича в охотничьем кабинете. Ожидая приглашения к столу, Стольников просматривал рекламы ружей-новинок в журнале «Псовая и ружейная охота».

Сухо деловой, несколько желчный, воспитанный в Оксфорде и устроивший свой московский дом на английский манер, он все же был подвержен одной страстишке, нередкой в России, — подружейной охоте с лягавыми. Он вывез из Англии пару пойнтеров редкостной черной масти и собрал в стеклянных шкафах своего охотничьего кабинета поболее двух сотен ружей — Голанд-Голандов, Пёрде и мейстерверков Зауэра. Слушал он повествование студента, стоя перед открытым шкафом с журналом в руке, — собирался было сличать рекламные новинки с собственными недавними приобретениями.

Студент рассказал деверю весь эпизод без утайки. Банкир только головой покачал:

— Что ж, совет тут самый простой. Ничего другого тебе не остается, Лёлик, как заказать поскорее копию кольца. Иди-ка, брат, к ювелиру. Если сам не проговоришься невесте в минуту глупой откровенности — никогда и не заметит.

— Так-то так... А нельзя ли, все-таки, настоящее поискать, как ты полагаешь, Паша?

Банкир осторожно прикрыл шкаф, воздвигая стеклянную преграду между своими редкостными ружьями и всей остальной атмосферой кабинета, отдающей сигарным дымом.

— Гм, может дороговато обойтись... Ну, что ж, попытка не пытка! Сейчас, на твоё счастье, у меня будет обедать один деятель московской управы... Может, останешься к обеду? А если ты в этом своём сюртуке встречаться с гостями не очень расположен, то... позвони-ка мне, Алексей, вечером, попозже по телефону. Может, получишь адрес, куда обратиться...

...И действительно, вечером Алексей получил нужные сведения, но с оговоркой: если та персона, с которой студенту надлежит встретиться, не пожелает заниматься розысками кольца или вообще не проявит желания беседовать с Алексеем, то уж последнему останется один выход — заказывать поддельное кольцо! Покамест же студенту велено было уповать на свою счастливую звезду и ровно через три дня, в четверг, явиться к шести вечера в трактир на Домниковке. Там надлежало сесть за столик справа от музыкальной машины, держать в руках номер газеты «Русское слово» и заказать бутылку сухого рейнского. Вот там-то и подойдет к столику нужная особа, называть которую следует не вполне привычным именем — Ванькой Клешем.

Не без волнения появился студент в трактире на Домниковке. Он бросил раздевальщику свое неновое студенческое пальто и остался в том же сюртуке, что был на нем во время злополучной встречи с игроками на Сухаревке. Свободных столиков в зале было немного, но, к счастью, ближайший справа от музыкального автомата оказался не занят.

Алексей заказал половому холодной телятины и заливного с хреном поросенка под бутылку сухого рейнвейна, велел сменить скатерть и сервировать столик на две персоны, а кстати, пустить в ход и музыкальную машину. И пока раздавались в зале, еще для начала негромко, немецкие марши и польки, студент развернул номер «Русского слова» и принялся украдкой, из-за газетного листа, разглядывать публику, надеясь угадать, здесь ли нужная персона.

Народ в трактире, судя по виду и долетавшим до студента обрывкам фраз, был все больше мещанского сословия, но случались и господа средней руки. Студент определил, что за одним большим столом уселись конторские писаря, отпущенные домой на часок раньше обычного и решившие по этому случаю гульнуть. Еще были в зале железнодорожные служащие, угощавшие какого-то придиричивого коммерсанта, два слегка охмелевших мастера из соседнего депо и целая компания пожилых и степенных немцев-ремесленников. Ни в одном из этих посетителей студент не мог предположить Ваньку Клеша. Впрочем, уж не этот ли бородач в поддевке? Нет, это, конечно, просто купчик из ближнего к Москве уезда. Или Ванькой Клешем может оказаться один из тех нагловатых страховых агентов, что вчетвером уселись по соседству и вначале подозрительно присматривались к молодому человеку в сюртуке?.. Но они уже выпили по третьей и больше не обращают на соседа никакого внимания...

Ну, уж разумеется, и не тот изящный господин с раздвоенной бородкой и в золотом пенсне. Студент с тайным сочувствием видел, что господину здесь столь же неудобно, как и ему самому. Морщится от звуков машины, курит приличную сигару, читает французский журнал, недовольно что-то выговаривает половому. Сейчас, видимо, хочет уйти, и тогда из поля зрения исчезнет единственно привлекательное лицо среди всей этой публики...

Значит, нужная персона пренебрегла-таки скромным приглашением студента Лёлика. Верно, пора уже и ему самому убираться отсюда. Ведь давно открыта бутылка вина, давно подана закуска. Густеет вокруг табачный дым. Теперь заняты уже все столики в зале, и за иными появились особы дамского пола с сомнительными кавалерами. Девицы так и косят глазом в сторону господина в золотом пенсне, тот же ни одной не замечает. Машина гремит в полную силу, монеты в нее так и сыпятся.

Господин в пенсне встал и направился... нет, оказывается, не к выходу! Задержался на мгновение у машины и тоже опустил в нее монетку... Кажется, с ним неприметно перемигнул сам хозяин трактира из-за буфетной стойки. И с какой-то ласковой, даже сияющей улыбкой незнакомец взялся за спинку пустующего стула против Лёлика.

— Замечаю, заждались до нетерпения? Дико извиняемся, что заставили скучать! Вы... кого бы желали встретить здесь?

Студент был поражен не только странным несоответствием между интеллигентным видом и своеобразной речью этого господина. Еще удивительнее был какой-то почти феерический, лучистый блеск его глаз. Они не просто блестели. Хотелось сказать, что из-за стекол пенсне они излучали сияние, как драгоценные камни.

— Мне бы... господина... Ваньку Клеша!..

Незнакомец убрал свое пенсне в карманчик жилета и осклабился с видом некоторого самодовольства.

— Стало быть, извольте изложить ваше дельце мне-с... Только для порядка, как водится, не мешает сперва пропустить по малой... Ваше здоровье!

Узнав подробности происшествия, собеседник Лёлика нахмурился и несколько омрачился.

— Непростое дело! Колечко ваше, господин студент, сработали тогда не мы, московские специалисты. Это вас пришлые обвели. Ну, а с ними надобно будет рядиться, как изволите понимать. Это не то, что из собственной жилетки достать... Полагать можно, что колечко все же сыщется, если... цена будет предложена сходная. Рублей, примерно... семьдесят, не меньше.

— Ему-то и цена вся — тридцать шесть. Только что вещь заветная.

— Да ведь в том-то и дело, — оживился представитель московских специалистов. — Известная примета: колечко утеряешь — жены лишишься либо невесты. Так что, решайте, потому как Ванька Клеш — не тот человек, кто с чужими рвачами за ради пустяка время на разговор тратить станет.

— Когда же можно будет получить кольцо и рассчитаться за услугу?

— Об этом родственнику вашему, господину банкиру Стольникову по телефончику стукнем-с. Мы, конечно, не преминем дело побыстрее сладить, а вы извольте названную сумму, как положено, загодя при себе в конвертике иметь... Неприметно отдадите конвертик, а в обмен получите от нас пакетик... Можете оставаться без всякого сумления, потому как честнее настоящего вора на всем Божьем свете никого не встретите. Благодарим за хлеб-соль!

* * *

В субботу банкиру Стольникову сообщили по телефону: пусть, мол, господин студент явится один к девяти вечера на угол Введенского и Лялина. Ему кое-что вручат, у него кое-что возьмут, а что именно — он и сам знает.

Студент уже прохаживался от угла морозовского особняка до пер-

вого фонаря в Лялином переулке, когда колокол Ильи Пророка на Воронцовом поле отбивал девятый час. Моросил дождь, ветер морщил лужи и силился задуть газовый рожок в фонаре. Непогода загнала под крыши всех субботних гуляк. В круге света от фонаря маячила только одинокая фигура студента.

Так прождал он больше получаса. Никто не подходил, не собирався разговаривать с ним. Может, ошибка, путаница какая-то?

Измокший и иззябший, он отказался от напрасного ожидания и побрел, сутулясь, к дому Стольникова, на другой конец того же Введенского переулка, чтобы сообщить деверю о неудаче.

Алексей уже почти поравнялся с чугунной оградой, как его догнал какой-то мальчишка-оборвыш. Подросток схватил студента за рукав.

— Дяденька! Тебе Ванька Клеш кланяться велел! Давай пакетами поменяемся!

Фигурка оборвыша мгновенно растаяла в вечерней мгле; с нею исчез и двухмесячный гонорар студента за репетиторские занятия с сыновьями Стольникова. В обмен на конверт с этими деньгами остался в руках Алексея маленький сверток. Студент развернул его нетерпеливо, на радостях даже весь просиял внутренне и тут же надвинул на палец свое обручальное кольцо с гравированной внутри надписью: ОЛЬГА.

...Лишь много лет спустя, уже давно будучи женатым, узнал он нечто для себя неожиданное.

Оказывается, в самые дни злоклучений с обручальным кольцом невесте его, Ольге, тайком сделал предложение давнишний приятель Алексея и коллега по университету Борис Васильевич Холмерс, отличный рисовальщик и талантливый актер-юморист. Олино сердце при этом чуть-чуть дрогнуло, хотя она любила жениха и очень ценила всю его старинную семью. Все-таки змий соблазна шевельнулся под девичьим сердцем, уж очень остроумен, весел и решителен был неожиданный кандидат, Лёликов опаснейший тайный соперник!..

Невидимая угроза всей будущей жениховой жизни была немало важной: кто не знает таких вот роковых стечений, вдруг бросающих судьбы девичьи в сторону от намечившегося русла! Случай с Наташей Ростовской — не редкость в любые времена!

А миновала угроза так.

Жених и невеста, вместе с их приятелем Борисом Холмерсом, приглашены были на некий семейный вечер, где жениху предложили петь под хороший аккомпанемент любимые его вещи Чайковского, Рахманинова и Шумана. Баритоном Лёлика, его манерой петь не только пленялись девицы, его любили слушать и настоящие музыканты. Был он на том вечере особенно в ударе и пел так, что Ольга, для всех неожиданно, вдруг навзрыд расплакалась...

Прощаясь в тот вечер с женихом, она тихонько и нежно поцеловала его в оба глаза и шепнула внятно:

— Уж скорее бы наш июнь!

В июне, как и назначено было, их обвенчали по лютеранскому обряду в доме жениха и сразу же отправили за границу в свадебное путешествие.

Чета в вагонном окне показалась всем провожавшим красивой, завидно юной и трогательной, до смешного счастливой.

* * *

На следующий год супруга подарила мужу сына-первенца. На роды и крестины молодожены приехали в Москву из провинциального города Иваново-Вознесенска, где они снимали просторный, удобный для приемов дом-особняк. Алексей Александрович, совсем недавно —

любимый ученик академика Н. Д. Зелинского, а ныне — дипломированный химик, уже управлял производством на самой большой в городе красильной фабрике, вечерами же в доме у Ольги Юльевны собирались любители музыки и стихов.

В Москве первенца крестил тот же престарелый лютеранский епископ, что недавно соединил руки молодой чете, а много десятилетий назад венчал и родителей жениха, в том же доме, даже в том же зале, что и Алексея с Ольгой.

Вот по его-то стариковскому выбору и совету нарекли младенца именем Рональд. Оно показалось и впрямь довольно благозвучным, не заезженным, хотя и не самым привычным в обиходе старомосковских интеллигентов «кукуйского» происхождения, чьи далекие предки некогда писались немцами фряжскими или немцами свейскими... Увы, ни старый епископ, ни молодые родители, ни крестный отец-француз из пожилых коллег Алексея Александровича не предвидели, сколько непокая сможет принести в России будущего... неправославно звучащее имя! Получалось-то все как будто складно: Рональд Алексеевич Вальдек...

К тому же, знатоки геральдики и генеалогии утверждали, что, мол, если хорошенько порыться в архивной пыли, можно отыскать у далеких предков московского рода Вальдеков приставку «фон». Формальное право восстановить ее, вероятно, было уже сомнительно, да и не очень-то оно требовалось скромному российскому химику с малолетним отпрыском. И лишь в самой глубине отцовского сердца слегка пошевеливалось нечто щекочущее при мысли, сколь внушительно могло бы прозвучать имя сына: Рональд фон Вальдек, фу-ты, ну-ты!

Впрочем, вся эта чепуха с «фоном» отошла в глубокое прошлое, вспоминалась уже со стыдом, как смешная детская блажь, и наконец вовсе потерялась в лабиринтах натруженной профессорской памяти...

2.

Артиллерийская гренадерская бригада отступала к северо-востоку, оставляя войскам германского фельдмаршала Макензена одно за другим галицийские местечки.

Июльским вечером артиллерийский парк бригады остановился у небольшого села на берегу луговой речки. Деревянный мост в селе обрушился еще днем, не выдержав переправы чужого гаубичного полка, опередившего бригаду на путях отхода. Артиллеристам-гренадерам пришлось искать подходящий брод на версту выше села, где берега были более отлогими, а грунт не таким топким, как на ближайших к жилью водопоях и бродах для скота.

Командир бригадного парка, средних лет капитан из бывших вольноопределяющихся, не доверился докладу своего юного адъютанта (а к тому же и родного племянника) и решил до темноты самолично осмотреть выбранное для утренней переправы место. Командир пожалел мальчишку-адъютанта, измученного дневным переходом и поисками жилья в местечке, оставил его в хате, а с собой на рекогносцировку позвал зрелого годами ветеринарного врача. Вдвоем с ветеринаром пошли они берегом речки к верхнему броду.

Здесь, за селом, ничто еще не напоминало о войне. Разве что закат, зловеще багровый, недобрый. Оттуда, с юго-запада, могут уже завтра утром появиться немцы.

А пока все затихало кругом, усиливались влажные вечерние запахи и среди них особенно сочно и сытно благоухало пойменное сено. Высокие стога еще стояли в лугах, но выше, на пашнях, хлеба уже были убраны, судя по зеленоватому оттенку жнивья и соломы, еще

чуть-чуть недозревшими. И это, кстати, тоже была косвенная примета войны.

Брод был хорошо виден — тут с берега на берег перебежала пешеходная тропка. Ее прикрывали кусты, полные живности — у берега там гнездились камышевки и курочки, подальше от воды — кричали коростели-дергачи, а на лугу, у травянистых мочажинок, чуть не из-под ног вылетали бекасы. Капитану-артиллеристу вспомнилась любительская охота деверя с черными пойнтерами.

«Вот бы его сюда, этого стольниковского любимца Неро — отвели бы они с Сашей душу по бекасам. И дупеля здесь, видать, немало — лучшей подружейной дичи, по мнению Павла Васильевича», — думал артиллерист, приминая подростку с покоса травку.

Ветеринар предложил командирку искупаться.

— Еще неизвестно, будет ли для нас нынче баня. Порядки здесь все же не наши, и добьется ли адъютантик ваш толку от хозяев — еще неизвестно, сами изволите знать, голубчик мой Алексей Александрович! Давайте-ка рассупониваться!

Офицеры отстегнули шашки, разделись у самой воды, с трудом стащили с ног пыльные сапоги со шпорами, упираясь каблуками в корневища кустарников, и вошли в теплую, никем до них еще не замутненную нынче воду. Врач был лет на десять старше капитана, окунался со вздохами, ахал и постанывал. Глубины искать не захотел и принялся у самого бережка смывать пыль с грешных телес, как он выразился.

Командир же измерил босыми ногами весь брод от берега до берега, убеждаясь, что упряжки на своих высоких колесах пройдут не только в один ряд, а даже в два или три. Значит, переправа будет недолгой и дружной... Разведав все это, командир проплыл немного вверх и вниз по течению, потом подкрался к врачу и по-мальчишески окатил его струей, пущенной открытой ладонью... И тут, вместе с брызгами, что-то промелькнуло едва заметной золотой искоркой в косом солнечном луче.

Пока недовольный врач, чертыхаясь, выходил из воды и плясал на одной ноге, чтобы обсушить и обернуть другую, спутник его уже заметил, что смахнул с безымянного пальца свое обручальное кольцо.

Пропажу искали долго, сперва раздетые. Потом, когда стало темно, прохладно и сыро, офицеры надели мундиры и портупей, затянули ремни и продолжали поиски при шашках и револьверах, пока не сожгли до конца батареечки своих карманных фонариков.

Чем дольше искали, тем безнадежнее казалось дело. И наконец решили идти в село, где их наверное уже ожидали постели. Да не об одном кольце тревожился командир парка!

Пока они с ветеринаром старательно приминали осоку, искали по обе стороны береговой тропки и даже рылись в основании ближайшего стога сена, с тропы донеслись какие-то звуки, из-за кустов чуть не у самой речки на миг показались головы и плечи пяти-шести солдат-велосипедистов. Они резко остановили самокаты, шаркая подошвами сапог по земле, и разом поворотили назад. Через мгновение их поглотили сумерки, так что сквозь кустарник оба офицера даже рассмотреть их обмундирование не смогли. А что самокаты без тормозов — черт их знает, может, они и у немцев такие же? Хорошо, если это разведка соседа, а коли самокатчики вообще не наши?

Так и пришел озабоченный капитан в свою хату... без обручального кольца. Саша-адъютант, похав насчет пропажи, вызвался было пойти на поиски, но проговорив еще несколько столь же самоотверженных фраз, тут же уронил голову на подушку. Вестовой Никита Урбан тоже выразил готовность «пойти пошукать», но дело было столь безнадежным, коли уж сами купальщики ничего не нашли, что капитан только рукой махнул и велел разбудить его утром пораньше.

Еще перед рассветом стала явственно слышна артиллерийская стрельба на юго-западе. Видимо, там завязывались нешуточные арьергардные бои. Отдохнувшие за ночь на бивуаке лошади бригадного парка легко брали с места и зарядные ящики, и обозные фуры, и неисправные пушки полевой мастерской.

Командир еще затемно выехал к месту переправы, отдал вестовому поводья своего Чинара и не отошел от брода до тех пор, пока последняя подвода не оказалась на том берегу.

Рядом с командиром маячил верхом адъютант, Саша Стольников. Погоны прапорщика он надел месяца два назад. Отец, используя все-какие связи, смог определить его в адъютанты к «дяде Лёлику». Свежеиспеченный прапорщик явился к своему дяде-командиру еще в Варшаве, как раз когда в польскую столицу на недельку приезжала к мужу жена Ольга с сынишкой Роником, повидаться перед тяжелой кампанией пятнадцатого года, уже грозившей потерей Варшавы... Саша Стольников сопровождал тогда тетю Олю с мальчиком от самой Москвы до Варшавы, всячески убеждая ее повлиять на близких в связи со своей переаттестацией и переводом в кавалерию, против чего решительно возражал Стольников — папá.

Вот и здесь, на переправе, Саша критически оценивал вслух достоинства своей воинской части в сравнении с другими родами войск.

— Конечно, дядя Лёлик, конная артиллерия штука, в общем, тоже хорошая, только... пушки мешают! Вот бы... без них! Была бы и у нас с тобой настоящая кавалерийская часть!

Командир обернул к нему усталое лицо, приказал негромко:

— Догони штабных, Саша. Держать на марше боевое охранение справа. Передай там...

Адъютант ускакал. Проехал мимо во главе своего ветлазарета и врач-ветеринар, крикнул командиру на ходу:

— Не нашли кольца, Алексей Александрович?

Вместо ответа командир отвернулся и дал знак Никите-вестовому, с которым он прошел все месяцы войны, тоже переправляться, оставив Чинара у кустов.

Стало тихо. Только вдали погромыхивала артиллерийская гроза. Конь всхрапывал и порывался скакать следом за ушедшим парком. Алексей Александрович отвязал повод, взял его в руку, но все еще медлил садиться в седло, оглядывался.

Вместо вчерашней тропки теперь уходили в реку четыре широкие, сильно разъезженные колеи, и в них уже проступала вода. Вдалеке, где двигался обоз артиллерийского парка, улеглась пыль, на дороге замер звук тысяч подков и кованых железных ободьев.

Справа зашелестело что-то. Среди кустарников быстро шли к броду люди, и даже как будто с винтовками на плечах. Вспомнив вчерашних самокатчиков, командир положил руку на кобуру. Но вышла из кустов пожилая крестьянка с девочкой-подростком. Они были босы и держали на плечах деревянные грабли, собираясь ворошить сено.

— Слушай, добрая пани, — сказал офицер. — Если кто-нибудь из местных жителей, ваших крестьян, найдет здесь обручальное кольцо с именем «Ольга», пусть сразу напишет по такому адресу: Москва, Введенский переулок, дом Стольникова, для Алексея Александровича... Вот, я пишу тебе этот адрес на листке бумаги... Алексей Александрович — это я. Кольцо я обронил вчера, при купании, здесь, где ты стоишь.

— Что вы, пан! Зачем надеяться понапрасну? Разве найдешь такую маленькую вещь, если тут прошла целая армия?

С этими безнадежными словами крестьянка провела граблями по

растоптанной и примятой траве у самой воды, как бы показывая, насколько тщетны здесь всякие поиски.

И когда она снова подняла грабли на плечо, что-то тихонечко звякнуло. Вглядевшись, офицер даже зажмурился от неожиданности: на одном из деревянных зубьев вертелось золотое колечко!

Женщина не сразу смогла взять в толк, за что чужой офицер пытается вручить ей синий кредитный билет. А когда уразумела, наотрез отказалась взять деньги:

— Нет, нет, пан офицер! Если все то есть чистая правда и вы не посмеялись над моей простотой, отдайте деньги в церковь, на голодных беженцев. А мы с дочерью еще, слава Богу, не в столь горькой нужде!

* * *

Почти год спустя Алексей Александрович вернулся в свое пыльное Иваново, к Ольге, к детям — было их уже двое.

Из писем он знал, что жена перенесла серьезную операцию, а насколько она была тяжела, признался ему потом за рюмочкой сам хирург.

— Рискнул резать, потому что иного спасения уже не видел. Перитонит начинался: сказать по правде, и на операцию надежды оставалось маловато. . . И вдруг — сам уж не знаю как, поправляется и выздоравливает моя «безнадежная». . . Верно, есть на свете какие-то силы и сверх нашей врачебной власти, дорогой мой!

3.

А третий раз пропало кольцо неведомо как, в тридцать седьмом.

И хватились его не сразу, потому что давненько стало спадать оно с похудевших пальцев Алексея Александровича, и опасаясь носить его, держал он кольцо в домашней шкатулке. Когда там его не оказалось, искали не очень прилежно, думали, что рассеянный профессор-химик сам переложил свою реликвию куда-нибудь в другое, еще более надежное место, да и позабыл, в какое именно.

Ему, однако, вовсе и не до того было.

Днем, в Наркомате, становилось работать все труднее. Каждый день вывешивали на доске очередной приказ наркома об «исключении из списка сотрудников» таких-то работников такого-то Главного управления. Как правило, эти «исключенные из списка» были самыми знающими инженерами, партийными руководителями или высшими администраторами. Врагами народа уже были официально, на общем собрании, объявлены оба предыдущих наркома. Одного из них Алексей Александрович знал несколько ближе, нарком давал ему ответственные поручения и на заседаниях Коллегии всегда был подчеркнута вниманием к мнению профессора Вальдека. . .

Эти мысли тревожили профессора днем, в стенах Наркомата.

Вечером же, в Институте текстильной химии, наступала пора новых тревог, весьма, впрочем, схожих с наркоматскими. Здесь, как и в Главном управлении, не проходило и недели, чтобы не сорвалась лекция, не отменены были семинарские занятия, не пустовал бы чей-то стул на заседании деканата. Как и в Наркомате, здесь тоже испуганным шепотом называли фамилии коллег и знакомых, с кем еще на днях вместе уезжали с занятий, подвозя друг друга на наркоматской «эмке» или на такси. То и дело отменяли экзаменационные сессии, вычеркивали фамилии экзаменаторов, членов Государственной комиссии, руководителей кафедр, членов парткома; переносили сроки занятий, торопливо меняли расписание лекций, подыскивали других консультантов студентам-дипломникам. И тоже вывешивали приказы: «исключить из списков института». . .

Профессор Вальдек продержался до февраля 1938-го. Многим казалось, что угроза обошла его седую голову. Кто-то пустил даже зловеющий слухок-шепоток, дескать, не все ладно с этим профессором. Уже кое-кто осторожно вопрошал, приставив к уху коллеги ладошку, не рискованно ли строить догадки вслух в присутствии профессора, а тем более выражать сомнение в чьей-то виновности или, не дай Бог, высказывать сочувствие к семье арестованного...

Так прошли осень и зима злого года — страшнейшего в истории России. Год новый встречали в узком семейном кругу — приходилось остерегаться даже нечаянной фразы во время застолья, люди просто избегали заглядывать друг к другу. А то сядут знакомые за общий стол — глядишь, уже сляпано дело об антисоветской организации, по статье 58-й, пункт 10—11...

Только никак не могла профессорская совесть извлечь из глубин памяти чего-либо стыдного или недоброго, сколько ни перебирал он месяц за месяцем всю свою полувековую сознательную жизнь. Разве что принадлежность в прошлом к царскому офицерству? Однако ведь сами солдаты-гренадеры избрали его в дни Февральской революции командиром артиллерийской бригады на место нелюбимого прежнего командира, полковника старой закалки. После Октябрьской революции солдаты вновь утвердили Алексея Александровича в той же командной должности, и суровый к иным офицерам ревком выражал ему, командиру, полное доверие и уважение вплоть до расформирования бригады в начале 1918 года.

Потом, в самую разруху, командовал он военизированными частями в тылу, а после окончательной демобилизации пошла жизнь в лабораториях и цехах, в аудиториях и кабинетах.

Отмечали и премировали за десяток изобретений. Построено в стране пятнадцать фабрик по его проектам. Еще больше проектов консультировал, исправлял, переделывал — и для Баку, и для Ташкента, и для Анкары, куда его посылать собирались.

И студенты любят своего профессора за доброту и строгость, за бескорыстие и щедрость. Да еще и за редкой мягкости баритон, звучавший столько раз на вечерах институтской самодеятельности...

Не оправдались оптимистические прогнозы. Не минула и профессора общая судьба лучших его товарищей и ближайших коллег.

Зимней выюжной полночью жена пошла открывать парадную дверь на долгий звонок и тусклый голос дворника:

— Телеграмма, вам, Ольга Юльевна! (Добропорядочная наивность профессорской семьи априори исключала надобность в приемах более тонких!)

Вошли трое, и сразу — к письменному столу. Профессора подняли с постели. Велели одеваться. Предъявили неряшливо и малограмотно написанный ордер. На арест и обыск...

И сразу же пошли рыться, сбросив на шахматный столик в углу два полувоенных пальто и кожаный, на меху, реглан. Только дворник как вошел в телогрейке, так и присел в ней у окошка, не расстегнувшись, не глядя на творящееся в комнатах. Приоткрыл слегка занавеску, и все время, пока происходил обыск, всматривался в игру снежинок за оконным стеклом. Он не первый раз исполнял в доме роль понятого, с каждым разом все менее понимал происходящее, а нынче испытывал нечто похожее на сердечную ноющую боль: сам необразованный и незадачливый, он уважал науку и понимал положение в ней Алексея Александровича Вальдека лучше, чем любой из оперативников.

А тем повезло!

Всего за несколько часов до ареста профессору принесли в конверте крупную сумму гонорара из издательства за последний учебник

«Курс текстильной химии». Автор не успел еще и пересчитать деньги. Старший оперативник оценил ситуацию мгновенно. Ему была предельно ясна психология хозяев этого жилья. Такие ни в чем не заподозрят государственных людей, представителей органов. Они видят в них чекистов железного Феликса, неподкупных и безупречных, как все герои известных книг Юрия Германа... Момент удобен: оба помощника заняты обыском, дворник — не смотрит! И старший опергруппы хладнокровно и небрежно засунул в боковой карман полувоенного пиджака толстый пакет с деньгами профессора. Мол, тому они вряд ли понадобятся!..

Расчет был идеально верен: хозяева и не заподозрили кражу. Сам профессор ее просто не заметил. Полуодетый, недвижно сидел он в своем кресле, уже прощупанном и даже несколько распотрошенном порядком ради. За все время обыска он не удостоил прищельцев ни словом, ни взглядом, будто никого и не было вокруг. А Ольга Юльевна, наблюдавшая исчезновение пакета с гонораром, решила про себя, что, стало быть, по нынешним их порядкам так оно и полагается.

В те минуты нашлось пропавшее обручальное кольцо профессора.

Старший оперативник извлек его из лунки разошедшего семейного буфета, куда оно нечаянно закатилось.

Приятная припухлость бокового кармана привела оперативника в благодушное настроение.

Рассматривая кольцо, он разобрал гравированную внутри надпись «Ольга» и принял соломоново решение:

— Ну, коли написано «Ольга», — произнес он в тоне почти шутивом, — пусть, стало быть, у Ольги и остается пока. А там — видно будет, как с имуществом.

Так вернулось кольцо к своей первоначальной обладательнице, носившей его тридцать лет назад в течение нескольких дней, до сговора и обмена кольцами с женихом.

После этой февральской ночи у нее стали опухать руки и надевать собственное кольцо она уже не могла. Мужнее вскоре сделалось ей впору.

Алексей же Александрович, носивший это кольцо все три десятилетия не снимая, больше не ощущал в себе ни сил, ни даже желания отстаивать свое право на эту жизнь.

Какое-то странное успокоение наступило в сердце его с приходом этих ночных гостей. Безучастно разглядывал он их утомленные испытые лица, шарящие руки, потухшие папироски в углах жестких губ. Не трогали настороженные взгляды, полные насмешливого недоверия и презрительного превосходства над застигнутым врасплох.

Росла на столе кучка документов, книг и предметов, сочных подозрительными и изобличающими. Попали сюда две германские каски — трофеи 1916 года, подсвечник из винтовочных патронов — солдатский подарок командиру, студенческих лет шпага и два ордена давних времен — Станислав и Анна, вызвавшие пристальное внимание и почему-то сочные немецкими.

— Вильгельму, стало быть, честно служили? — спросил, откладывая ордена и каски, оперативник. Даже дворник у окна дернулся, будто его ожгло, а Алексей Александрович и бровью не повел, ни слова не сказал обидчику. Странно, он не любопытствовал даже, почему его арестовали, не пытался заранее сообразить, кто же именно и из каких нитей лжи сплел донос-паутину... Но прощаясь под утро с женой, думал о ней уже как о вдове.

Его расстреляли в лубянском подвале по приговору чрезвычайной тройки за наитяжайшие преступления против народа и государства. В особую вину следствие поставило ему отказ от чистосердечного признания в своих кошмарных злодеяниях.

В те годы необходимый стране труд исполнителей смертных приговоров оставался примитивным ручным видом труда. Механизировать его попробовали лишь десятилетием позже, введя было автоматику на фотоэлементах, как на станциях московского метро. Но тогда, в назначенную ночь, крупнокалиберный маузер отечественного производства, нацеленный верной партией рукой, разрушил вредоносный мозг профессора, остановил его нераскаявшееся сердце. Семье, однако, сообщили нечто другое: будто преступник осужден к десяти годам строгих лагерей без права переписки.

Никто из близких не ведал, что такая формула и была ничем иным, как иносказательным извещением о смерти казненного врага народа. Где же было догадаться пожилой вдове, что прежняя стратегия открытого террора уже меняется и Вождь Народа повелел перемежать ее с еще более причудливой и изощренной педагогикой кары тайной! Дескать, враг обезврежен, но... без афиширования!

Словом, понадобилось еще полных двадцать лет, чтобы лишить вдову и обоих, уже семейных, детей профессора последней надежды. Министерство внутренних дел хрущевской эры кратко и вежливо сообщило вдове о смерти супруга якобы в 1943 году (хотя расстреляли в 1938-м), а также об отсутствии какой-либо вины покойного перед народом и государством. С ним поступили так же, как и с великим множеством других, ученых и неученых, интеллигентных и неинтеллигентных, партийных и беспартийных, разделивших с ним одну участь, прижизненно и посмертно.

Глава вторая
КОЛЬЦО ЖЕНСКОЕ

1.

Его история так и просится в рамки бытовой повести прошлого столетия.

... Задолго до того, как надеть обручальное кольцо на палец, Оля мысленно уже примеряла его и старалась вообразить себе суженого.

Начала она эту игру лет с семи, когда отец, Юлий Карлович Лоренс, с юности прозванный всей округой Прекрасным Юлианом, посулил сосватать ее не иначе как за индейского вождя Виннетау с обложки новейшего романа Карла Майя или уж, на худой конец, отдать за принца Уэльского, наследника британской короны.

Сам Прекрасный Юлиан был наследником весьма доходного имения «Лорка» на взморье близ Пернова. Мать Юлия Карловича, Олина бабушка Матильда, в юности капризница и недотрога, выдана была за пожилого эстляндского землевладельца, овдовела рано, от вторичного замужества отказалась и сама взялась управлять своим хозяйством. С годами она совсем потеряла интерес к нарядам, в гостях присоединялась к мужскому обществу и со знанием дела толковала о видах на урожай. Бабушкой Матильдой ее стали звать раньше, чем у нее на самом деле появились внуки.

Она завела в «Лорке» две молочные фермы, для чего прикупила луговых угодий у упрямого соседа, прежде никак не желавшего уступить эти луга покойному супругу Матильды Лоренс. Владелица «Лорки» отдала в аренду под распашку заболоченные пустоши, а сосновый лес, выходявший к дюнам, сберегла: она не только любила его ровный шум, сливающийся с шумом прибоя, но и предвидела курортную будущность здешнего взморья.

Прекрасный Юлиан, единственный ребенок у матери, не мог пройти в домашней обстановке ту строгую, столь необходимую для обретения истинно светского лоска муштру, какая зовется у людей его достатка «ейне гуте киндерштубе», то есть хорошей детской. Ему-то сызмальства слишком многое прощали и спускали.

Хозяйственных увлечений матери он не разделял, хотя охотно пользовался их плодами. В Дерптском университете ходил вечным студентом, предпочитая лекциям городские увеселения. Месяцами живал у матери в «Лорке», волочил за хорошенькими мещаночками, охотился, скакал верхом и частенько пробирался в свою спальню лишь под утро, после амурных утех и азартных сражений за зеленым сукном.

Соседская молва, разумеется, всегда склонная к преувеличениям, разносила по округе слухи, уже не безопасные для репутации Прекрасного Юлиана. Однако мать, занятая именем, как-то не успела толком задуматься о перспективах любимого сына. Его донжуанская слава не слишком тревожила материнское сердце. Пусть, мол, кончит курс, расстанется со студенческими замашками. Тогда и образумится. А пока молодо-зелено — самим Богом погулять велено!

Больше огорчений причиняли ей изрядные карточные проигрыши Юлия Карловича. Утешалась она лишь тем, что в округе не было недостатка в состоятельных невестах, и наследник процветающей «Лорки» мог не опасаться мезальянса, по крайней мере в смысле солидности приданого, если бы в игре рискнул превысить материнские возможности.

Как раз в лето перед последним университетским курсом встретил молодой Юлий Карлович в родных местах, среди песчаных дюн и прибрежных сосен, незнакомую девушку, совсем не похожую на его прежних «дульциней».

Синеглазая, высокая, вся будто пронизанная внутренним светом, она, казалось, снизошла на перновское побережье прямо из древне-скандинавских саг или рунических песен. Но появлялась она у моря либо в обществе старших братьев-моряков, либо вместе с матерью, сохранявшей и в пожилом возрасте весьма величественную осанку.

Приезд новой семьи вызвал в округе живые толки. Через прислугу соседи торопились выведать подробности о приезжих. Прекрасный Юлиан с первого взгляда влюбился в золотоволосую незнакомку. К прежним возлюбленным он утратил всяческий интерес и готовился теперь к заманчиво трудной осадной войне.

Девушку звали Агнесса Юлленштедт. Братья Агнессы были военными моряками российского флота, оба уже в контр-адмиральском чине. Род их велся от шведского барона-моряка, попавшего в немилость к королю Карлу XII и вступившего в российскую службу еще при Петре. Царь Петр пожаловал первому из петербургских Юлленштедтов высокую флотскую должность и поместные земли на юге, по Хопру и Дону близ Воронежа.

Агнесса давно лишилась отца. Погиб он на государственной службе, по ведомству уделов: обергермейстер царских охотничьих угодий в Прибалтике, Александр Юлленштедт был застрелен из лесной засады отчаянными браконьерами. Сыновья покойного, старшие братья Агнессы, обучались поэтому на казенном коште, а закончив морской корпус с отличием, быстро продвинулись по службе.

Старший, Николай Александрович, командовал эскадрой кораблей береговой обороны, приписанной к флотской базе в Либаве, и держал флаг на броненосце «Не тронь меня». Младший брат, Георгий, занимал должность профессора в Военно-морской академии.

Наследственное с петровских времен воронежское имение братья поделили полюбовно, но служба не позволяла ни тому, ни другому надолго расставаться с морем, и жила в запущенном владении только вдовствовавшая мать. Братья виделись редко. Георгий не покидал казенного жилья при Академии, Николай не раз менял служебные квартиры на флотских базах — то в Петербурге, то в Гельсингфорсе, то в Либаве. Барышня, поразившая воображение Юлия Карловича, воспитывалась в частном петербургском пансионе, на каникулы ездила к матери, а в праздничные дни — то к одному, то к другому брату.

В то лето, когда Юлий Карлович впервые увидел Агнессу, семья Юлленштедт решила соединиться, чтобы вместе провести лето в Пернове. Братья взяли отпуск одновременно, сняли по соседству с «Лоркой» хорошую дачу и пригласили мать приехать из-под Воронежа.

Вскоре стало известно, что на этой даче гостей и визитеров встречает в полупустой нижней гостиной только суровая мать семейства. Ни братья-моряки, ни их красивая сестра гостям не показывались — курортные знакомства их явно не интересовали! Юлий Карлович мог лишь в бинокль различать легкий девичий силуэт на верхней террасе соседнего владения, когда Агнесса любовалась оттуда вечерней зарей или отражением в море далеких портовых огоньков Пернова. Потом в бинокле все сливалось — светлый силуэт скрадывала темнота.

И вдруг судьба пошла навстречу самым смелым планам Прекрасного Юлиана.

Старший брат Агнессы оказался далеко не равнодушен к делам помещичьим. Огорченный рассказами матери о неустройстве дел в этом наследственном владении, контр-адмирал Николай Юлленштедт знал, что когда-нибудь, после увольнения на пенсию или в случае выхода в отставку им с братом, возможно, придется осесть на воронежской земле и взяться за хозяйство всерьез.

Контр-адмирал услышал о хорошо поставленных молочных фермах «Лорки» и попросил у владелицы разрешения осмотреть их. Мать

Юлия Карловича сама показывала свои нововведения важному гостю, и тому пришлось признать, что восемьдесят коров «Лорки» дают доходу несравнимо больше, чем сотни голов худородного скота в воронежском имении.

Моряку понравилась спокойная и дельная владелица «Лорки». Он согласился с ее мнением, что здешние, пока еще полупустынные морские берега с их песчаными пляжами, лесными опушками и далекими парусами рыбацких лодок милее и привлекательнее, чем модные и людные европейские приморские курорты. Хозяйственные предприятия на землях «Лорки» так заинтересовали гостя, что он на другой день повторил визит вместе с братом и сестрой. Агнесса пришла в восторг от выхощенных коров, ласковых телят и уютной фермы. Она сказала, что будет прибегать сюда каждое утро пить парное молоко и любоваться животными...

Так завязалось «знакомство домами», и на протяжении этой шахматной партии Юлий Карлович не сделал ни одного поспешного хода. В присутствии членов семейства Юлленштедт он вел себя так безупречно, что ни братья-моряки, ни строгая их матушка просто не смогли придать значения неким смутным слухам о молодом человеке, таком скромном и воспитанном!

Зато сама Агнесса придала этим слухам значение колоссальное!

До глубины души пораженная легендами о подвигах Прекрасного Юлиана, она стала присматриваться исподволь к красивому грешнику, искать с ним мимолетных встреч с глазу на глаз и после его отрывистых, усмешливых объяснений своих поступков сопоставлять ужасные легенды с его собственными осторожными полупризнаниями. Его улыбка, хорошо очерченный, слегка насмешливый рот, легкие тени вокруг глаз, неторопливая уверенность чуть ленивых движений становились для нее заманчивыми, как таинственный речной омут. И чем больше она убеждалась в его порочности, тем сильнее мечтала спасти обреченного из когтей сатаны. Мысль эта постепенно становилась жизненной целью милой барышни.

Он же умело разжигал в ней жертвенное пламя, то подавая надежду на успех спасительной миссии, то красиво впадая в печоринскую мрачность или онегинскую тоску. Но вот онегинской сдержанности к влюбленной деве он не проявил, когда добился тайного свидания в парковой беседке, ночью, вдали от дачи, братьев и матери!

Дочь была настолько потрясена этим событием и ощущением неотвратимости, непреложности своей дальнейшей судьбы, что сразу же открылась во всем матери, моля об одном — поверить клятвам любимого и убедить братьев не требовать его к барьеру!

Николай Юлленштедт, узнав о случившемся, совсем было отверг женские доводы и готовился всерьез к решительному поединку, но в конце концов понял, что вместе с обольстителем пошлет в лучший мир и родную сестру. Ибо Агнесса заявила ему столь же решительно, как и матери: «Либо Юлиан, либо — морская пучина!»

Катастрофа в обеих семьях походила на столкновение двух кораблей, когда для спасения тонущих имеются под рукой только простейшие средства...

Последовало довольно спешное бракосочетание. Затем Агнесса с супругом отбыли на временную петербургскую квартиру, пока потрясенная событиями Матильда переустраивала отчий дом в «Лорке» для молодой четы. Через полгода молодые вернулись в это перестроенное имение, и тут, по прошествии еще нескольких месяцев, родилась у них первая дочь, названная в честь бабушки Матильдой.

Вторым ребенком стала Ольга. За ней появились на свет еще Соня и Эмма.

* * *

На зиму семейство Лоренс — кроме бабушки Матильды, никогда не покидавшей своей «Лорки», — перебиралось из этого имения в Петербург, Павловск или Царское, где Прекрасный Юлиан, заметно остепенясь, но все же так и не кончив в Дерпте последнего курса, подружился с полковником гвардии Паткулем, принятым при дворе. Дружба эта возникла на почве общих охотничьих интересов. Балтийский помещик и гвардейский полковник знали толк и в собаках, и в лошадях, но ни тем, ни другим нельзя было удивить двор и привлечь к себе внимание. И вот Юлий Карлович надумал, при содействии влиятельного друга, воскресить здесь, в Царском Селе под Петербургом, старинную великокняжескую и боярскую забаву — соколиную охоту.

С высочайшего соизволения построили в царскоесельском парке деревянный амфитеатр для избраннейшей публики. Особый уполномоченный Юлия Карловича отправился в дальние киргизские и казахские степи. У тамошних охотников были куплены для столицы ловчие соколы и беркуты. Поселили их в просторных вольерах впереди амфитеатра, а позади мест для публики разместили в клетках пернатую дичь — уток, гусынь, глухарок и тетерок, предназначенных в жертву стремительным хищникам . . .

Затя так увлекла обоих друзей, что Юлий Карлович как-то и внимания не обратил на то, что расходы по устройству царскоесельской соколиной охоты поглотили чуть ли не весь доход от имения «Лорка».

И к великому ужасу и горю маленькой Олечки и ее сестричек стали доставлять на кухню их царскоесельской квартиры после каждого охотничьего состязания целыми корзинами битую, истерзанную дичь, больше всего — окровавленных белых голубок, расклеванных на лету беспощадными ловчими птицами. Ольгу совсем не утешала высокая честь, оказанная папе и его другу: в соседстве с амфитеатром установили в парке особый щит затейливого чугунного литья с именами полковника Паткуля и Юлия Лоренса как почетных устроителей царскоесельской соколиной охоты.

Разумеется, никто из благородных зрителей этой охоты и не ведал о скромной бабушке Матильде и ее полуразоренной «Лорке» . . .

* * *

Охотничья страсть Юлия Карловича становилась опасной не только для его кармана. Однажды эта страсть едва не стоила жизни дочке Ольге.

Как-то ее щедрому папе привезли из Копенгагена свирепого датского волкодава-мастифа огромных размеров.

Отец запер собаку-страшилище в своем кабинете, чтобы приучить животное к «хозяйскому запаху». Отцова любимица, пятилетняя Ольга животных нисколько не боялась и, в нарушение запрета, смело забралась в кабинет погладить новую собачку.

Волкодав, раздраженный дальней дорогой и только что получивший говяжью кость, хотел, видимо, просто отмахнуться от нарушительницы его одиночества, но, лягнув железными челюстями, прихватил ножку девочки. Дня через два вызванный из Пернова хирург заявил, что единственное спасение Олиной жизни в немедленной ампутации ноги по колено: началось, мол, гангренозное воспаление.

Агнесса глянула на приготовленные инструменты, на разметавшуюся в горячем жару и бреду красавицу-девочку и . . . ушла в свою спальню просить заступничества у Рафаэловой Мадонны ди Сан Систо. Гравированный итальянским мастером лик этой Мадонны с катящейся по щеке слезой всегда висел в изголовье у Агнессы.

Олиной матери почудилось, что в печальных очах Матери Христовой сквозит как бы одобрение некоему отчаянному решению. Воротясь к врачу, Агнесса категорически запретила ампутацию.

— Но исход грозит гибелью ребенка, сударыня! — сухо отвечал ей хирург. — Легко ли вам потом будет сознавать, что сами решили ее участь?

— Это любимое папино дитя, — сказала мать. — Не могу я позволить, чтобы оно осталось жалкой калеккой. Виновата в недосмотре я, и в случае исхода крайнего сама оставаться в живых не хочу. Поэтому, Бога ради, поймите, доктор: на этом свете мне не долго придется терпеть муки совести! Сделайте все что в ваших силах для спасения нас обеих, и дочери, и матери, а там — что будет! На все — воля Божия...

Врач стиснул зубы и... с такою же злою отчаянностью, что овладела матерью, взялся за спасение дочки.

Он сделал глубокие надрезы вдоль поврежденных мест, дренировал рану, прижигал, удалял все непоправимо разрушенное, бережно сохраняя жизнеспособные ткани. В комнатах пахло паленым мясом. Девочка была в забытьи. Домочадцы уж и надеяться не смели...

Врачебное ли искусство, материнская ли молитва победили смерть, — только девочка выздоровела. Она выросла, бегала в горелки, танцевала на балах, пошла под венец и совсем бы забыла про волкодава-мастифа, кабы не два рядка белых пятен на стройной ножке. До самой старости они напоминали Ольге о ее непослушании, о собачьих зубах и отчаянной материнской решимости.

2.

Детство Ольги и ее сестер утратило розово-голубые тона безмятежности как-то сразу, когда из людей состоятельных и значимых семейство Лоренс вдруг превратилось в ничто.

Сестры так никогда и не узнали причин и обстоятельств этого превращения, но чисто внешне оно ознаменовалось столь необычайными событиями и в семье, и в столице, что даже повзрослев, Ольга не утратила ощущения их странной внутренней связи. С той поры прекратился ровный ход Олиной жизни, словно возок ее судьбы съехал с гладко накатанных столичных торцов на булыжины плохо мощенного большака.

Мелькание верстовых столбов вдоль этой дороги сделалось тогда причудливо скорым, и сама Олина память, до того сберегавшая однообразно-цельную полоску из семи петербургских зим и стольких же лоркинских лет, будто распалась на множество кусков, подобно изорванным бусам. Впоследствии, как бы вновь нанизывая на связующую нить памяти бусинки пережитых событий, Ольга уж не могла отделять собственную боль от чужой, так в русском девичьем хоре любой из певиц чудится, будто ее-то сердечной жалобой и полнится песня...

* * *

Все началось с того, что в Санкт-Петербург неведомо как прокралась тайком страшная гостья — азиатская холера. В летние месяцы умерли от нее сотни горожан, выжили немногие из заболевших. Рассказывали, что на дальних кладбищах роют ямы-скудельницы, как в старину, при моровой язве, чтобы сжигать негашеной известью тела умерших бедняков. Расклеены были афишки — не пить сырую воду, даже не умываться сырой! Об этом же предупреждали своих знакомых все доктора Петербурга.

Семья Лоренс снимала тогда, летом 1893 года, городскую квартиру в угловом доме по Малой Морской и Гороховой. На их лестничную площадку выходила дверь смежной квартиры, где жил со своими родными молодой офицер лет двадцати двух, хормейстер Преображен-

ского лейб-гвардии полка. Офицера звали Владимир Львович Давыдов, но особенным вниманием семилетняя Ольга Лоренс его не удостоивала. Ей казалось, что младший брат Владимира Львовича, кадет-интерн Юрочка более примечателен. Возможно, что в этом предпочтении сыграл роль именно нежный возраст кадета! Однако потом любознательная Олечка услышала, что скромный офицер Владимир Давыдов, прозванный почему-то родственниками Бобом, не просто полковой хормейстер, а любимый племянник Чайковского и что композитор именно ему посвятил несколько сочинений.

В доме говорили, будто поздней осенью композитора ждут в столице, — он приедет, чтобы продирижировать своей последней симфонией, и останется, возможно, в квартире Давыдовых, напротив... Олины родители музыку любили. Девочек водили на все большие концерты. В Мариинской опере у семьи была ложа, а играть на рояле учил их старый пианист, профессор консерватории. Рояльные клавиши в этом доме бездействовали только когда кто-нибудь в семье бывал болен, в обычные же дни дети готовили свои экзерсисы для профессора по два-три часа кряду, под строгим материнским надзором. С нотных обложек глядело на робких учениц задумчивое лицо Чайковского, имя это в семье Лоренс произносили благоговейно.

Года два назад, на первом представлении «Иоланты» и «Щелкунчика», маленькая Оленька, аплодируя композитору и артистам Мариинского, так отбила себе ладошки, что они покраснели и припухли. Она запомнила, как после «Вальса снежинок» во втором акте весь театр содрогнулся от оваций...

Но там, за своим дирижерским пультом, Чайковский был так же недосыгаемо далек и сказочен, как и феи, и куклы, и смелый Щелкунчик. Так неужели здесь, в самом обыкновенном доме, его можно будет увидеть совсем близко, скажем, в квартире Давыдовых или хотя бы на лестнице? Неужели он, как все простые смертные, шагает по лестничным ступеням, ездит на извозчиках, сидит за обеденным столом и... бранит за плохо сыгранную гамму?

В городе похолодало. Облетела листва Летнего сада, и мраморные тела античных богинь укутывали соломой. Ждали, что теперь пойдет на убыль и холерная эпидемия, но в гимназии учителя еще строго-настроено запрещали подходить к водопроводным кранам и предостерегали от покупки на улице фруктов, чтобы гимназистки не вздумали съесть их, не обмыв кипятком.

Длинноногая, чуть надменная Ольга (мама посмеивалась — мол, Олин носик с рождения высокомерно вздернут!) не без важности выбиралась из наемного экипажа перед входом в гимназию «Петершуле», не спеша и с достоинством помогала младшей сестричке Соне одолеть гранитные ступени подъезда и уже оттуда, с крыльца, негромко и веско приказывала вознице-финну «подавать экипаж после уроков пораньше».

Ольге пошел восьмой год, и училась она в первом классе. Сонечка — в приготовительном. И хотя от Малой Морской до «Петершуле» на Невском было совсем недалеко, трех девочек-школьниц отвозили туда ежедневно на лошади, и командовала ими всеми в пути не старшая Матильда, а более властная и самостоятельная Ольга.

И вот, возвращаясь однажды в октябрьский полдень из гимназии, Оля увидела перед их подъездом другой экипаж и чужого кучера, застрявшего в дверях с двумя большими чемоданами и портпледом. Вещи не пролезали в открытую створку парадных дверей, и давыдовский повар, пыхтя от усилий, пытался отомкнуть запоры второй створки. На улице же выбежавший впопыхах без пальто Боб Давыдов помогал выйти из пролетки красивому седому господину с хорошо знакомым лицом, сейчас улыбающимся, но все таким же значительным и возвышенным, как на нотных обложках! Наконец обе створки парад-

ного раскрылись, кучер потащил чемоданы и портплед наверх, Чайковский под руку с Бобом быстро поднялись на площадку. Ольге показалось, что, входя в давыдовскую квартиру, Чайковский улыбнулся не всем трем девочкам-школьницам, а именно одной ей, Ольге!

Через несколько дней они были на концерте. Чайковский дирижировал Шестой симфонией.

После этого концерта остались в Олиной памяти не овации зала, не лавровые венки, не заплаканные от только что пережитой музыки оркестранты, неистово рукоплескавшие своему дирижеру. Осталась в памяти только сама музыка, скорбная, нечеловечески огромная, трагически вещая...

После концерта Ольга шла с родителями домой пешком, и так явственно слышала трубы и контрабасы финала, будто все еще находилась в зале.

Отец шагал молча, глубоко засунув руки в карманы длинного пальто, и впервые показался Ольге каким-то поникшим, непривычно озабоченным... В лакированных туфлях ступал тяжелее, чем, бывало, в болотных охотничьих сапогах... Лицо матери тоже удручено. Может, и взрослые все еще переживают Шестую?

Меньшую дочь, Эмочку, на вечерние концерты не брали, но и шестилетней Соне пешее возвращение показалось трудноватым. Она закапризничала, Ольга повела ее за руку. Тут уже, почти на углу Голодаевской, их нагнал извозчик-лихач с рессорной коляской на толстых шинах. Он сдержал свою пару откормленных серых, услужливо откинул кожаный фартук и пригласил господ садиться. Маленькая Соня ступила на подножку экипажа, но отец, к ее удивлению, махнул рукой и отвернулся. Лихач даже крикнул от неудовольствия, отъехал тихим шагом и сразу же, на углу, нашел других поздних седоков. Отец тихонько сказал, будто в шутку:

— Привыкайте к моциону, мадемуазель, он полезен и будет теперь у вас... в избытке!

Дома, в передней, горничная подала отцу телеграмму из Пернова. Мать подняла глаза на отца, а тот потупился молча. Потом родители ушли в мамин будуар, и засыпая, Ольга еще улавливала за стеной шорох бумаг и приглушенные голоса.

Утром начались перемены. Мама позвала в будуар всю домашнюю прислугу. Покинув эту комнату, немка-бонна, горничная, няня и повар, опечаленные и недоумевающие, пришли в детскую проститься с девочками. В квартире осталась только кухарка, заявившая господам, что деваться ей все равно некуда в Питере, поживет, мол, у хозяев даром, до отъезда их из столицы. В то утро девочки последний раз поехали в гимназию на лошади — со следующего дня они ходили туда пешком, сопровождаемые мамой.

Еще дня через три позвонил в парадном какой-то господин в котелке. Вместо горничной пошла открывать Ольга. Господин спросил что-то про назначенные торги и распродажу мебели, но тут вышла мама и быстро сказала, чтобы господин благоволил встретиться с самим Юлием Карловичем нынче вечером, на Невском, в ресторане Лейнера, где все и будет окончательно выяснено.

Незнакомец спросил было, пойдет ли с торгов и имение «Лорка» близ Пернова, но мать заторопилась выпроводить его и тут же открыла на новый звонок. Пришла мадемуазель, учительница французского языка.

Мать остановила ее в прихожей и стала что-то быстро объяснять. В ответ французенка только ахала. Несколько фраз матери Ольга смогла расслышать яснее: мон мари... мой супруг... всегда был слишком доверчив... увлекся рискованной коммерцией... был так уверен в своем компаньоне, его честности... к тому же эти вечные кар-

ты и вечные проигрыши... мы потеряли все, все... Он просил денег у своей матери... Пришел телеграфный ответ, что остатки имения «Лорка» не стоят половины его просчета... Боюсь, бабушка просто не сможет перенести все это, у нее слабое сердце!..

— О, повр мадам, повр анфан! — причитала француженка, поглубже пряча в ридикюль последний гонорар за уроки.

Перед полуночью отец пришел из ресторана Лейнера. У матери разыгралась к вечеру сильная мигрень; старшая, Тильда, хлопотала в маминой спальне. Воротившийся отец отослал дочерей спать, но из прихожей Ольга тихонько проскользнула в темный зал потрогать клавиши рояля. Она знала, что утром ломовые должны увезти его из дому.

Луч света от уличного фонаря бежал по черному лаку инструмента, как лунная дорожка по морю. Ольга открыла крышку и подняла пюпитр, но вместо того, чтобы взять аккорд, положила на клавиатуру голову, да так и задремала на вертящемся стульчике. Сон ее был некрепок и она пробудилась, когда отец привел маму в соседнюю столовую, стал поить ее холодным чаем и уговаривать поесть.

Из тихого разговора родителей Оля поняла, что скоро мама и дочери уедут к дяде Николаю в воронежское имение и проживут там, пока папа окончит дела в столице, подыщет семье новое жилье, а детям и новую школу, только уж не в Петербурге, а в Москве.

Отец говорил с мамой нежно и успокоительно, что-то обещал, даже поклялся в чем-то, и мать в первый раз за всю неделю чуть слышно рассмеялась, но сразу же стала серьезной и спросила насмешливо:

— Почему же ты сам-то ничего не съешь? Устрицы у Лейнера, верно, отбили тебе охоту к домашнему ужину?

Против обыкновения отец и тут не вспылал и стал рассказывать, что с бывшим компаньоном он переговорил сухо и коротко, а когда тот ушел, отца по-добрососедски пригласили к своему столу в зале Боб Давыдов и Модест Ильич Чайковский. Был еще за их столом старинный приятель отца барон Буксгевден, молодой композитор Глазунов и еще какие-то господа из музыкального мира столицы. Ждали из театра самого Петра Ильича.

— И вот, представь себе, — слышала Ольга папино повествование, — только я уселся за столом и мне принесли прибор — входит Чайковский. Прямо из Александринки. Все, кто был за нашим столом, закричали, вскочили, он же, слегка усталый, разгоряченный, с пересохшим от жажды горлом, еще и не усевшись с нами, сразу потребовал холодной воды. А на столе графин уже пуст! Так и остался Чайковский стоять в ожидании, пока лакей принесет новый. Припелелся этот Петруччио... с пустым графином! Видишь ли, под вечер не оказалось у Лейнера остуженной воды... Эдакая безводная Сахара на невском берегу в конце знойного октября!

— Удивительное легкомыслие в такое время! — сказала мать.

— Чисто российское, — согласился отец.

— Ну, и чем же эти рестораторы в конце концов напоили Чайковского?

— Сырой водичкой из-под крана! Сам потребовал! «Несите мне, — говорит, — сырой, ни в какую вашу петербургскую холеру я не верю, у себя в Клину всегда сырую пью». Ему все хором: «Здесь нельзя, Петр Ильич, очень опасно!» — а тут уж тащит на подносе стакан воды этот самый нерасторопный Петруччио. Модест даже с места привскочил, хотел перехватить стакан, но не успел: Чайковский осушил его жадно, залпом, и сел ужинать. Боже мой, если бы ты слышала, какие у него планы! Барон шепнул мне, что из всех русских музыкантов именно он сейчас и самый «всемирный». Вот только консерватория наша столичная не больно жалуется его как москвича...

Разговаривая так, отец с матерью понизили голоса, потом и вовсе перешли на шепот, и маленькой Ольге за роялем стали сниться море-океан и странный морской царь, который поит Чайковского соленой водой из зеленого стакана . . .

Может, она пошевелилась и этот шорох в зале уловили родители. Они замолчали, прислушались и нашли спящую за роялем девочку, освещенную только фонарем с улицы. Отец отнес Ольгу на руках в детскую, а утром еще бледная от вчерашнего приступа мама повела детей в гимназию. Собственно, в предвидении близкого отъезда занятия эти уже не имели смысла, но мать боялась детской праздности, а главное, очень надеялась, что рояль успеют увезти в отсутствие дочерей.

Однако ломовые с фургоном, как водится, опоздали, и грузчики кончали свое дело как раз к возвращению юных гимназисток домой. Ольга еще с улицы заметила фургон у подъезда и распахнутые створки дверей в парадном, а в лестничном оконном проеме успела различить, как плавно колыхнулось книзу огромное черное крыло.

Дети долго ожидали, пока рояль, перехваченный широкими кожаными ремнями, на мужицких плечах спустился с последнего лестничного марша, загораживая доступ наверх.

Вздыбленный, оскорбительно лишенный всех украшений, ножек и педалей, он, наконец, выплыл из подъезда. Двое грузчиков стояли на платформе фургона, двое подталкивали рояль снизу.

Мужики, усталые, потные, крикливые, даже как будто и не злые вовсе, конечно же, не могли понять, что уносят они не вещь, не мебель, не просто инструмент, а домашнее божество, ухоженное, избалованное вниманием, могучее и доброе, чей нрав и характер изучен и понят всеми домашними. Для мужиков же грузчиков это была всего-навсего непомерная тяжесть. И они бранили и рояль, и друг друга, отчего Ольга поскорее потащила сестер наверх. Тут, в пустом и уже слегка подметенном кухаркою зале, Эмочка, встретив сестричек из школы, разлетелась было потанцевать, покружиться на таком просторе и даже глянула выжидательно на Олю, будто прося ее о веселой музыке к танцу, но под Олиным укоризненным взглядом вдруг все сообразила, огляделась и заплакала.

И тут девочки увидели соседского повара из давыдовской квартиры. Он что-то говорил кухарке, а потом повторил все это матери, и та быстро-быстро закрестилась, схватила девочек, потащила их в ванную комнату, велела всем хорошенько мыть руки борной, больше нигде не выходить из дому, не выглядывать даже на лестницу. В давыдовской квартире лежит тяжело заболевший Чайковский, у него был лейбмедик доктор Бертельс и определил, что это — холера. . .

. . . Те пасмурные осенние дни казались Ольге страшно длинными, томящими своей неопределенностью, безнадежностью. В гимназию не пускали, девочки занимались с мамой, читали Андерсена и Перро, Уайльда и Купера. Вести из давыдовской квартиры, переданные шепотом, обнадеживали мало. Однажды из окна Ольга вдруг заметила кадета-интерна Юрочку, но не обрадовалась, а испугалась: он привез в соседнюю квартиру целый ворох простыней — давыдовского запаса не хватило для больного. Тогда и мама велела передать туда стопку снежно-белых, слегка накрахмаленных простыней. Их приняли, но при этом сказано было, что кризис, видимо, уже недалек. Будто, пробуждаясь из забытья, больной отрешивается от «проклятой курноски», гонит ее от себя слабеющей рукой . . .

На следующую ночь после этого известия по звукам и голосам у Давыдовых отец и мать Ольги, не спавшие после полуночи, поняли, что худшее свершилось — Россия осталась без Чайковского.

* * *

Таких горестных, многолюдных похорон в Петербурге, кажется, еще не бывало!

Когда на лестнице, в парадном, затопали, заговорили, затолкались десятки людей, девочки Лоренс угадали: вы н о с я т!

Несмотря на строгий запрет, Ольга чуть приоткрыла дверь. Прямо перед лицом ее оказался лакированный угол темного инкрустированного ящика. Был он велик и тяжел. Ольге потом объяснили, что тело умершего от опасной заразной болезни заключили внутри гроба в запаянный цинковый ящик.

Гроб несли на плечах вниз по лестнице, как недавно уносили рояль...

Оля узнала Боба Давыдова и тут же заметила, как незнакомый бородатый мужчина, с искаженным болью взглядом, протиснулся к Бобу и стал умолять его уступить место у гроба.

— Дайте, дайте и мне понести его! — молил незнакомец. Боб уступил, и человек, просветлев лицом, подставил плечо под ношу. Был это музыкант из оркестра консерватории, так недавно исполнившего Шестую. Кому из слушателей могло тогда, на прошлой неделе, в минуты оваций и общего восторга, даже в голову прийти, что Шестая симфония так скоро станет для Чайковского... реквиемом!

И пока в храмах столицы шло отпевание, пока траурный кортеж двигался от Исаакия к Марининской опере, оттуда к Казанскому собору и, наконец, к Александро-Невской лавре, пока знаменитый бас протодьякона Малинина сотрясал соборные колонны и согласно звучали хоры консерватории, оперного театра и придворная капелла, мать и обе старшие дочери Лоренс, отдав последний поклон гробу, тихонько следовали в отдалении за процессией.

В ограде Тихвинского кладбища лавры прибавили и они свои букеты к печально-торжественному холму из венков и живых цветов, возвысившемуся над свежей могилой. Прощаясь с нею, они простились и со всей своей петербургской жизнью.

Через двое суток после похорон композитора Агнесса Лоренс с четырьмя дочерьми навсегда оставили столицу. На пути в Воронеж их догнала телеграфная депеша отца о смерти бабушки Матильды, последовавшей от разрыва сердца перед продажей с торгов имения «Лорка».

* * *

За несколько лет, быстрее, чем можно было предвидеть, Ольга освоилась в Москве и полюбила ее.

Когда Лоренсы переселились в Москву из дядиного воронежского поместья, у всех членов этой семьи вскоре сложился круг добрых знакомых, благожелательных родственников и близких друзей. И хотя девочкам, росшим близ парков Гатчины, Павловска и Царского, сперва как-то не хватало величия и логики петербургской панорамы, они быстро оценили прелесть арбатских переулков, уют хлебосольных старомосковских особнячков, картинность Кремля, обаяние сорока сороков и неповторимую роскошь живого московского говора, которым, впрочем, ни один коренной петербуржец в совершенстве никогда не овладевает.

Старших девочек определили в Петропавловскую женскую гимназию между Петроверигским и Колпачным переулками. Красный дом этой «Петрипаулимэдхеншуле» помещался в обширном дворе строящейся новой лютеранской кирхи, неподалеку от серого здания «Петрипауликнабеншуле». Мужская гимназия выходила фасадом в Петроверигский переулок, где потом и увидели друг друга впервые гимназистка чет-

вертого класса Ольга Лоренс и гимназист восьмого класса Алексей Вальдек.

Впрочем, к тому дню, когда это знакомство привело к обмену обручальными кольцами, Ольга Лоренс числила уже в своем списке женских побед не только Бориса Хольмерса, но и куда более зрелого годами господина Гуссейна Амбар-Магомедова, московского домовладельца армяно-персидского происхождения.

У этого господина Амбар-Магомедова Юлий Карлович Лоренс, сумевший сохранить-таки после продажи родной «Лорки» и ликвидации петербургских дел кое-какие деньжонки на черный день, снял для семьи удобную и недорогую квартиру в старинном двухэтажном доме на Немецкой улице. Так прозвали эту улицу еще исстари, в память о знаменитой Кукуйской слободе, тянувшейся вдоль берегов реки Яузы, уже невдалеке от ее устья. Ходить с Немецкой улицы в гимназию девочкам было неблизко, зато просто и удобно — по Старой Басманной и Покровке — до Петроверигского.

Петропавловская гимназия славилась своими отличными учителями, образцовыми кабинетами и высокой требовательностью к поступающим. Принимали туда с большим разбором! Директриса обратилась к Оле перед ее приемом по-немецки, а будущая классная дама — по-французски. Ответить на двух иностранных языках поступающей полагалось без запинки. Обе старшие девочки, Тильда и Оля Лоренс, были приняты сразу, а младших, Соню и Эммочку, проэкзаменовали и посоветовали отдать в соседнюю, Реформатскую гимназию, что была в Большом Трехсвятительском переулке, на задах, у серого приземистого здания Реформатской церкви, выходившей фасадом в Малый Трехсвятительский. Родители так и поступили. Девочки вместе выходили из подъезда, вместе добирались — когда на конке, когда пешком — до Покровских ворот, а здесь расставались: старшие несли свои ранцы в Петропавловскую, младшие — в Реформатскую гимназии.

Когда Матильда и Оля вытянулись, обрели женственность и превратились в стройных и чинных девушек, их домохозяин, господин Амбар-Магомедов, стал все чаще появляться у окон своего жилища, чтобы полюбоваться, как четверка сестер Лоренс выбегала из подъезда и веселой стайкой летела мимо Богоявленского собора к Разгуляю. Замечено было, что особенное внимание господин Амбар-Магомедов оказывает Ольге. Это уже становилось предметом острот в семье. Ибо господин Амбар-Магомедов был толст, важен, медлителен и, как говорила прислуга, весьма скуповат и прижимист. Но и прислуга подтверждала, что золотоволосая, вся в мать, Ольга нравилась хозяину дома день ото дня все больше. Он и сам старался подчеркнуть это сердечными улыбками и низкими поклонами из окна с неизменно прижатой к груди рукой...

От прислуги он узнал день Олиного рождения и ровно к ее 16-летию прислал с нарочным большую коробку конфет имениннице, присокупив, что конфеты эти — не простые!

Оказалось, что в шоколад был заделан браслет с брелком у застежки, пара сережек, цепочка с бриллиантовым кулоном и перстенок с рубином.

Когда мама Агнесса за утренним чаем извлекла эти драгоценности из их шоколадной оболочки и убедилась, что больше никаких сюрпризов коробка не таит, господина Амбар-Магомедова вежливо пригласили в квартиру и просили забрать назад его роскошные дары, как явно не подходящие для барышни-гимназистки.

Тогда господин Амбар-Магомедов стал в торжественную позу перед Ольгиной матерью (ибо отец уже успел уехать по делам, ухмыляясь в усы и предоставляя супруге самой требовать объяснений у странного поздравителя). Визитер застегнул на все пуговицы свой коричневый

пиджак, прокашлялся и объявил матери, что давно ожидал именно этого дня и повода, чтобы юной русалке (он так и выразился) открылось его большое сердце. Это сердце принадлежит ей, русалке, а он желает взамен получить ее беленькую ручку.

— Прошу не сомневаться, мадам, что при моем состоянии я сумею создать твоей дочери счастье!

— Но она так молода и не помышляет о замужестве! — Агнесса Лоренс с немалым трудом соблюдала серьезный тон. — Вы же, господин Амбар-Магомедов, вероятно, не первый раз задумываетесь о женитьбе? У вас могли бы быть взрослые дети, ровесники моим дочерям? ..

— Ну, был жена, был сын. Какая разница? Жену прогнал назад, к отцу, калым вернул... А сын — Тебризе живет. Чем он мешает? Он свое получил.

— Вы — мусульманин?

— Да. Мусульманин. Шиит. Какая разница для вас, мадам?

— О, как же! Моя дочь — христианка, не захочет отказываться от своей веры.

— Зачем отказываться? Пусть ходит в свой церковь. Какая разница? Я позволю. Это — не против моего закона.

— А... если дети?

— Ну, дети, конечно, будут мусульмане... Какая разница? Закон такой! Но это же неважно, мадам! Важно что? Хорошую свадьбу справить, неделю пировать, танцы танцевать... Потом — Эривань едем, Тебриз едем, у меня там товар, и земля есть, и два дома... По дороге, в Тифлисе, родню мою навестим... Чего долгий разговор тянуть? Где твой дочь? Он не такой дура, чтобы свой счастье не понимать!

И тут в комнате появилась Ольга, подготовленная матерью к этому объяснению, потому что подарок в шоколадном камуфляже не оставлял сомнений насчет намерений поздравителя.

— Вот, Оля, господин Гуссейн Амбар-Магомедов оказывает тебе честь, предлагает руку и сердце. Дай сама ему ответ...

Именинница сделала армяно-персу столь кокетливый книксен, что у того увлажнились и очи, и губы, и даже чело. Он приложил руку с растопыренными пальцами к лацкану коричневого пиджака и выкатил глаза, чтобы отразить в них всю меру райского блаженства, какая ожидает избранницу.

Оля смиренно опустила свои зеленоватые девичьи очи.

— Я благодарна господину Амбар-Магомедову, нашему домохозяину, а сейчас нашему гостю, за честь... Но... мое сердце уже не свободно! Я... люблю другого и... имею его слово! Он будет ждать, пока я кончу гимназию. Мне, право, очень, очень жаль...

Армяно-перс не сразу смог осознать ответ русалочки и все еще продолжал улыбаться. Потом его ноги, толстые, как телеграфные столбы, засунутые в брюки из ровной коричневой материи, медленно подогнулись, как-то дрогнули, и он стал опускаться в кресло. Плюхнулся он боком, мимо сиденья, на скользкую ручку, чуть не споткнулся и, обретя равновесие уже в сидячем положении, поднес к глазам руку с платком. Как бы прикрывая лицо от неслыханного позора, ничем не заслуженного, он еле выговорил трагическим басом:

— Похороните меня!.. Я... умэр!

Уходя, он сунул в карман коробочку, куда Олина мать сложила его подарки. В продолжение всего разговора эта коробочка лежала на самом виду, и он старался после каждой фразы придвигать коробочку поближе к собеседнице. Пряча коробочку, он потрянул ею так яростно, что сережки и колечки звякнули.

Воротившись домой и выслушав всю историю, папа Лоренс все же счел за благо переехать на другую квартиру, тем более что договор с

господином Амбар-Магомедовым скоро кончался. И семья переселилась ближе к обеим гимназиям, в Малый Трехсвятительский переулок на Покровском бульваре.

Совсем близко оттуда, в Яковлевском переулке, жил тот самый молодой человек, кому не нужно было прижимать пальцы к груди и выкатывать глаза на лоб, чтобы заставить Олю поверить ему! В свои шестнадцать она в шутку обещала ему верность до гроба, в девятнадцать надела на палец обручальное колечко с его именем, а через два года стала ему женой. Истомившая жениха проволочка с венчанием вызвана была тяжелым Ольгиным дифтеритом, от которого она долго поправлялась на родительской дачке в Лосиноостровском.

Определилась и судьба остальных сестер.

Старшая, Тильда, обручилась в Москве с сыном голландского банкира, и после недолгой переписки Юлия Карловича с родителями жениха молодых обменчали в московской Реформатской кирхе. Чета молодоженов сразу же уехала в Гаагу и с тех пор... ни сестры, ни мать, ни отец никогда не видели больше в лицо госпожу Матильду ван Донген. Отделил их друг от друга тот неодолимый барьер, что спустя десятилетия получил столь выразительное и точное название: железный занавес.

В один год с Ольгой вышла замуж за военного инженера Санечку Тростникова и средняя барышня Лоренс, Соня. Вся родня сразу же нарекла эту чету «Санечкой и Сонечкой». А еще два года спустя испросил у родителей Лоренс руку младшей дочери Эммы ее гимназический учитель географии герр Густав Моргентау. Сперва ученица влюбилась в темпераментного педагога — в женских гимназиях такое ученическое обожание отнюдь не редкость! — а тот, в свою очередь, приглядевшись поближе, вместо того, чтобы ответить подобающей суровой отповедью, решил, что от добра добра не ищут...

Папа Лоренс, располневший в Москве до неузнаваемости, повесил в своем домашнем кабинете увеличенные портреты Матильды, Ольги, Сони и Эммы и назвал эту своеобразную картинную галерею «выставкой счастливых бесприданниц». Надо сказать, что тестя своего все четыре зятя искренне полюбили за добродушную веселость, коммерческую интуицию, обилие полезнейших знакомств и хлебосольность. Из-за своей необъятной толщины папа Лоренс, страстный театрал, занимал в ложах всегда два сиденья, а когда ехал в театр вдвоем с женой Агнессой, то нанимал два экипажа — рядом с ним на сиденье не угнездилась бы и Дюймовочка! Его появление в любом ресторанном зале пирующие встречали восторженно.

По всей Москве ходили о нем веселые и незлые анекдоты, например, как он заснул на ходу во время прогулки и вернулся к супруге без трости и шляпы, и как потом эти трофеи возвращали ему воры и оборванцы с Хитровки. Они чтили жившего по соседству барина за его всегдашнее сочувствие хитровским старожилам. Юлий Карлович называл их на волжский лад «зимогорами». Частенько целая кучка таких хитровских зимогоров поджидала его под утро в тихом Трехсвятительском переулке, и когда Юлий Карлович вылезал из московской извозчичьей пролетки, чуть не заваливая ее на бок, встречающие зимогоры поддерживали его под локти, открывали парадную дверь и лишь горестными вздохами, весьма деликатно, намекали на свою жажду опохмелиться.

Если барин не торопился лезть в карман, собравшиеся прибежали к последнему средству. Старший из них кланялся низко и с потупленной головой, зябко потирая руки, произносил трагический монолог, никогда не оставлявший барина Лоренса равнодушным:

— Синус-косинус, тангенс-котангенс, секанс-косеканс! Извольте, ваше благородие, пособлезновать на водку бывшим гимназистам!

И их благородие папа Лоренс неизменно соболезновал, хотя бы ему завтра и не на что было взять извозчика.

Говорят, именно папа Лоренс придумал за столиком и подсказал редактору газеты «Московский листок» историю с московским китом. Некогда эта история наделала немало шума! Желая досадить за что-то полицмейстеру Яузской части, Юлий Карлович уговорил редактора поместить в одном из апрельских номеров 1911 года сенсационное сообщение, будто в самый разгар ледохода по Москве-реке приплыл снизу огромный кит и... застрял под аркой Устьинского моста, где, мол, любому желающему не возбраняется увидеть это чудо воочию. Обыватель, расхватав газету, густо повалил к реке и обоим Устьинским мостам, задав полиции столько хлопот, что вся Яузская часть оставалась на ногах двое суток. Редактора оштрафовали, но газета вдвое или втрое повысила апрельские тиражи, да еще сам редактор заработал какие-то деньги на сногшибательных «китовых» пари...

Но недолго суждено было Юлию Карловичу веселить приятелей анекдотами, дегустировать устрицы и любоваться прелестной портретной галереей в кабинете!

Однажды на бенефисе одной из своих многочисленных протеев в оперетте папа Лоренс уже в ресторане, где он сидел как бы за посаженного отца, почувствовал, как сам успел выразиться, «третий звонок оттуда».

Домой, в Малый Трехсвятительский, он однако же воротился самостоятельно и без провожатых поднялся к себе на второй этаж. У матери в гостях оказались Соня и Ольга. Ни Агнесса Лоренс, ни дочери не обратили внимания на не совсем обычное, чуть угнетенное папино состояние, тем более что ароматы ликеров и парижских духов показались им вполне обычными... Заглянув позднее в кабинет, Агнесса Лоренс нашла супруга на полу. Дочери закричали, засуетились, но было поздно! Он успел прошептать лишь несколько слов. Посетовал, что оставляет жену совсем без наличных, а дочерям наказал не поминать отца лихом...

Гости на его похоронах были столь же многолики, сколь и многочисленны. Преобладали в этой толпе черные фраки и несколько вычурные дамские шляпки. Проводить Юлия Лоренса почли священным долгом все свободные от смены лакей и оркестранты из «Славянского базара», «Яра», «Стрельны», «Эрмитажа», трактирные половые от Тестова, Круглова и Мартьяныча, танцовщицы и шансонетки многих кабаре, цыганских и румынских хоров, опереточных трупп. К могильному холмику на Введенских горах принесли немало бутафорских цветов из театрального реквизита и даже венок из пальмовых листьев, сохранивших устойчивый дух ресторанный никотина...

Самое удивительное, что эта любовь до гробовой доски вовсе не зависела от бывшей щедрости покойного — ведь после своего петербургского банкротства Юлий Карлович Лоренс от крупной коммерции отошел и никогда больше не мог свободно сорить деньгами.

Когда же Ольга тихонечко осведомилась у седого метрдотеля «Стрельны», кем же все были оповещены и почему никто не поленился прийти, тот смахнул слезу и пробормотал:

— Кем оповещены? Да по всей Москве сразу разнеслось! Осиротели мы без него. Самый веселый барин был!

3.

Госпожа Ольга Юльевна Вальдек отдыхала на Кавказе.

Из-за перенесенного перед замужеством дифтерита с ослаблением — врачи не советовали ей кормить детей грудью, и свою дочь Вику она передала кормилице через две недели после родов. Но первенца,

маленького Рональда, она выкормила сама... Последствия не замедлили сказаться: ее острейший, тонкий, как у лесного зверя слух вдруг словно притупился и ослаб. Врачи пояснили, что, к сожалению, их предсказание сбывается. Ей посоветовали ванны в Железноводске, воды Кисловодска и морские купания в Новом Афоне. Поручив шестилетнего Роника и полуторогодовалую Вику заботам папы, няни и бывшей кормилицы, молодая мама одна уехала на кавказские воды и уже три недели усердно их пила, в них купалась и про них писала мужу веселые письма. О грозowych тучах, густевших на горизонтах Европы после Сараевского убийства 15 июня, она не слишком заботилась. Даже вести об австрийском ультиматуме Сербии, а затем об артиллерийском обстреле Белграда не очень испугали курортных собеседников Ольги Юльевны — общество еще не верило, не хотело понимать, что все это — начало страшной войны, преступной по своим целям и роковой по своим последствиям. Готовились к ней исподволь европейские дипломаты и военные — для огромного большинства непосвященных она была неожиданностью. В особенности для людей русских.

Про всеобщую мобилизацию в России кисловодское общество узнало к вечеру 18 июля.

Сосед по столу в Ольгином пансионе, пожилой военный инженер, осторожно объяснил Ольге Юльевне, что, мол, супруг ее как офицер запаса, по всей вероятности, уже находится в воинской части или же на пути к ней.

У Ольги похолодели руки и ноги, но ум ее никак не хотел мириться с тем, что впереди — долгая разлука, а может, и кровь, и вдовство, и беззащитность в целом мире...

19 июля было ясным. Утреннее солнце обласкало каждый камень и каждое дерево на улице. Горы голубели. На отрогах Бештау каждая плешинка — след давнишнего обвала или оползня — чудилась манящей лужайкой, и хотелось поскорее туда забраться зелеными каменистыми тропами. В пансионе стояла такая мирная тишина, что Ольга поднялась с постели с легким сердцем и вчерашние страхи показались ей преувеличенными.

«Ведь сообщил бы, — думала она, — если призвали... Это же и соседа касается, Бориса Михайловича Микулина, и инженера Воронина, да многих ивановских... Все они тоже числятся в запасе, неужто так сразу всех и мобилизовали?»...

Ей сегодня назначена была ранняя ванна, потом процедуры у ларинголога. Этим процедурам подвергала ее пожилая медичка-немка, добродушная, веселая и очень ловкая с новой электрической аппаратурой. Ее звали госпожа Таубе, училась она в Германии, и русский доктор Попов подтрунивал над ее педантизмом. За глаза же называл ее золотой помощницей и своей правой рукой.

Процедуры она в этот раз вела с обычной аккуратностью, но без шуточек и болтовни. Прятала лицо, отворачивалась и дольше обыкновенного возилась за перегородкой с приборами.

— Я вижу, вы очень озабочены сегодня, — сказала Ольга. — Может, все еще и не так плохо, ист ниht зо шлимм... Не могу поверить, чтобы кто-то в мире хотел кровопролитием добиваться своих целей, как разбойник на большой дороге. Неужели наш царь и немецкий ваш кайзер не могут все решить между собой мирно и опять отпустить по домам всех, кого вчера взяли от жен и матерей? Я не могу поверить в близость столь ужасной войны, фрау Таубе!

Немка вышла из-за перегородки.

— Разве вы, фрау Вальдек, жена русского офицера, не знаете, что война уже объявлена? Доктор Попов сказал, что я буду, наверное, скоро интернирована, ведь у меня — немецкий паспорт...

В пансионе Ольге вручили телеграмму:

«Призван. Следую через Москву в часть. Остановился с детьми у Стольниковых. Немедленно приезжай проститься».

На кисловодском вокзале была давка и неразбериха, поэтому Ольга села в дачный поезд на Минеральные Воды, надеясь там быстрее взять билет до Москвы. Но и на станции Минеральные Воды, обычно тихой и провинциальной, днем 19 июля творилось нечто небывалое.

В течение двух ужасных часов она наблюдала на платформе под знакомым навесом сцены, какие еще накануне были просто невыслымы. Обезумевшие, растрепанные, сразу потерявшие привлекательность молодые женщины и седовласые старухи рвались к вагонам, а мужчины, еще вчера щеголявшие джентльменством и куртуазностью, беспощадно их отталкивали, пихали, чуть не душили, штурмуя вагонные дверцы. Вопили испуганные дети в нарядных костюмчиках. Сквозь зеркальные окна международного вагона Ольга могла видеть, как плотный восточный человек в белом офицерском кителе без погон уперся локтями и спиной в полураскрытую дверь купе и, держа в каждой руке по револьверу, грозил наседающим: застрелу-у-у!

Ольга поняла: ни из Минеральных, ни из Кисловодска, где прицепляют два-три прямых вагона к московскому поезду, ей не выехать. Но ведь это значит не увидит мужа перед отправкой на фронт! Перед такой-то разлукой! Как же отсюда вырваться — и непременно еще сегодня! — если толпа час от часу свирепеет? Все новые толпы пассажиров приливали к платформе под навесом, грозя затопить ее, будто река в половодье... *

В Минеральных Водах госпожа Вальдек была совсем одинока, не имела знакомых, рассчитывать здесь было не на кого. Ей не осталось ничего другого, как воротиться в Кисловодск и посоветоваться со знакомыми в пансионе. Усталая, присела она на скамью в садике против чужой гостиницы, перечитала телеграмму и заплакала: никому и здесь нет до нее никакого дела! К властям военным нечего и обращаться: что для них отчаяние какой-то дамы с курорта!

И тут сквозь шорох листвы в садике до ее чуть ослабленного уха явственно дошла чья-то речь по соседству... Кто-то произнес слова: «Купе в международном до Петербурга... поезд курьерский... нынче вечером...»

Она даже усомнилась, были ли произнесены сейчас эти наинужнейшие слова или просто ей почудилось, помстилось.

...Рядом, в открытой беседке, сидел в одиночестве гвардейский полковник. А через перила беседки передавал ему что-то из рук в руки станционный жандарм. Он-то и произнес слова о поезде и купе.

Ольга обернулась к ним в ту минуту, когда офицер сунул в карман кителя только что полученные билеты. Жандарм отковырял и зашагал прочь. Ну, помоги, Господи!

Офицер поднялся и уже направился было к подъезду гостиницы, как Ольга Юльевна нагнала его и заговорила умоляюще:

— Благovolите уделить мне несколько минут, господин полковник! Умоляю вас о помощи!

Замедлив шаг, но и колеблясь недоуменно, следует ли принять всерьез это заплаканное лицо незнакомой курортной дамы, полковник смотрел недоверчиво и холодно. Он явно не был склонен любезничать.

— Как изволите видеть, сударыня, я — солдат, и собою, следовательно, распоряжаться не волен. О чем вам угодно просить меня?

— Я — жена офицера... Вот его телеграмма... Если я правильно

* Эта железнодорожная паника, как впоследствии выяснилось, продлилась всего несколько суток на станциях Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск и в еще большей степени — в Батуми и Сухуми. Уже через неделю после объявления войны положение на кавказских вокзалах нормализовалось. — Автор.

поняла, вы нынче уезжаете отсюда, кажется, в Петербург... У вас купе... Бога ради, возьмите меня с собой! До Москвы! Если вы едете с супругой — я готова всю ночь просидеть в коридоре, у проводников, стоять хоть на площадке, где только мыслимо, лишь бы не помешать вам, а самой поспеть проститься с мужем... Если вы — один, может, смогу сойти за вашу родственницу, и тоже позабочусь, чтобы не помешать вам... Пусть меня сочтут, скажем, за сестру вашей жены...

— Я не женат, сударыня, и следую один. Согласитесь, что ехать в моем купе вам невозможно.

Они дошли до подъезда. На пороге швейцар почтительно поклонился постояльцу. Теперь швейцар, человек посторонний, мог слышать продолжение беседы, и полковник торопился закончить ее. Ольга Юльевна, страшась упустить спасительный шанс, перешла на французский:

— О, пардон, месье ле колонель! Де ван ле жен! — она скосила глаза на швейцара. — Я верю, что вы — человек долга и чести! Поверьте же и вы мне!.. Мы с мужем от всего сердца будем всю жизнь Бога за вас молить!

Что-то смягчилось в его взгляде. Эта курортная незнакомка неуловимо напомнила ему одну ушедшую. Мольба ее оказалась искренней. Как же быть с нею?

— Извольте пройти сюда, в эту ожидальню, здесь можете говорить свободно и по-русски... Разрешите осведомиться, кто вы, сударыня?

— Жена призванного из запаса инженера Вальдека. Если вы знакомы с петербургскими моряками, может быть, слышали о контр-адмирале Юлленштедте, бывшем командире балтийской эскадры, теперь в отставке...

— Не только слышал о Николае Александровиче, но и знаком с ним, и с братом его, Георгием Александровичем, профессором Военно-морской академии... Почему вам угодно было вспомнить сейчас этих моряков?

— Потому что это мои родные дяди по материнской линии, старые петербуржцы, как и сама я. А мы с мужем живем сейчас в Иваново-Вознесенске. И должны увидеться в Москве перед разлукой. Муж отправляется в действующую армию... У меня в запасе — считанные часы, а не дни.

— Поклянитесь мне, что вы — действительно та, кем назвались, и что других намерений у вас нет!

— Боже мой! Да какие же могут быть у меня «другие намерения»? Клянусь вам жизнью мужа и детей моих — я ни в чем не кривлю душой перед вами!

— Разрешите и мне представиться: командир лейб-гвардии императрицы Марии Федоровны гусарского полка Николай Александрович Стрелецкий. Извольте. Я готов помочь вам...

Теперь, обрадованная, Ольга Юльевна сдержала слезы (мужчины их не очень любят!), и пока он обдумывал, как действовать, смогла хорошенько рассмотреть полковника Стрелецкого. И поняла, что даже в крайних обстоятельствах не смогла бы рискнуть обратиться к нему с просьбой, если бы заранее увидела ближе его лицо. Потому что преобладало в нем выражение холодной непреклонности. И лишь в самой глубине презрительно-властного взора таилась горечь, нечто уязвимое, некая ахиллесова пята. Ольге припомнился толстовский князь Андрей.

— Успеете ли вы, сударыня, приготовиться к шести часам?

— О, разумеется.

— Тогда ожидайте моего посыльного с коляской. Где ваш пансион?

Ольга Юльевна все объяснила. Стрелецкий договорил:

— Адьютанта своего я отправил нынче утром, денщик с кучером пока остаются. Нам с вами предстоит путешествовать вдвоем. Будем надеяться, что вам по дороге не встретятся знакомые с недоуменными вопросами. Перед поездной прислугой вас, вероятно, придется выдать за мою жену, если вам угодно. Попытаюсь, быть может, составить партию в вист где-нибудь в соседних купе или поищу иной предлог не стеснить вас в дороге. До свидания!

И хотя вокруг вечернего поезда в Кисловодске страсти бушевали еще отчаяннее, чем утром, в Минеральных Водах, спутник Ольги Юльевны очень спокойно, без видимых усилий устроил все так, что никто и не пытался претендовать на их места. В сопровождении того же станционного жандарма, что приносил билеты, двух дюжих носильщиков и еще одного унтер-офицера, послужившего посыльным при экипаже, мнимые супруги были беспрепятственно усажены в двухместное купе международного вагона. Отослав провожатых, полковник Стрелецкий опустил шторы, сдвинул портьерки, запер дверь, чтобы не ломились, и предложил спутнице по ее усмотрению распоряжаться в этой комфортабельной лакированной коробочке. К услугам двух пассажиров здесь имелся довольно просторный диван и еще одно подвесное ложе повыше, под углом к дивану. Пока Ольга осматривала и развешивала вещи, спутник углубился в военные сводки.

Вагон уже качался и уплывал в темноту, как леопольдовский лебедь. Ольга Юльевна умылась и приготовила чай. Робея, пригласила она полковника сесть поближе к накрытому столику, и когда он поднял на нее глаза, всякая робость ее прошла. Была в них непоправленная курортом усталость, было нерадостное предчувствие судеб общих и, пожалуй, доля участия в судьбе спутницы. Он похвалил и чай, и снедь, обнадежил Ольгу Юльевну, что она вовремя поспеет в Москву, и даже взялся сам отправить мужу телеграмму по адресу банкира Стольниковца в Введенском переулке.

И когда телеграмма была отправлена с какой-то маленькой станции, полковник Стрелецкий не вернулся более в купе, оставил Ольгу Юльевну в одиночестве. Она было прилегла, постелив себе наверху, но боялась заснуть, не оттого, что сомневалась в рыцарстве спутника, а напротив, не желая, чтобы из-за своей отзывчивости к ней он терпел неудобства в дальней дороге. В купе слабо горел ночник, вагонная шторка неплотно прикрывала окно, и там, снаружи, в июльском мраке, время от времени протягивались вдоль поезда огненные трассы искр, летящих из паровой трубы. Ей припомнилось, как полковник сравнивал эти огненные полосы с немецкими пулями, будто бы светящимися на лету... Теперь ее милый Лелик, равно как и полковник Стрелецкий, ехали навстречу этим огненным пулям...

Глухой ночью Ольга на босу ногу влезла в туфли, накинула пальто поверх ночного платья и вышла в коридор искать полковника.

Увидела его на откидном стульчике в самом конце коридора: партию в вист составить не удалось.

Еле-еле уговорила она Стрелецкого воротиться в купе. Он шуточно посетовал насчет первой в его жизни семейной сцены, но пришел, когда она снова успела забраться на свое подвесное ложе и даже притвориться спящей.

Ей было слышно, как он осторожно стаскивал сапоги, звякая шпорами, укладывался, гасил ночник. Днем он говорил, что оставил в Кисловодске денщика и кучера грузить в особый вагон свой конный выезд — четверку лошадей и коляску... Господи, сколько хлопот с этой негаданной войной! Стрелецкий уверял, что едва ли в действующей армии ему, кроме верховых лошадей и штабного автомобиля, понадобятся еще выездные лошади с коляской и кучером, но они полагались ему по рангу и должности, он имел право повсюду возить их с собой и... возил! Десятки, может быть, сотни плачущих женщин не

могут попасть на поезд, потому что вагонов не хватает, а вот ненужные лошади Стрелецкого займут целый вагон и потащатся через пол-России за своим владельцем, лишь обременив его еще одной мелкой лишней заботой...

Теперь не удавалось заснуть ей. А он, кажется, затих сразу...

За окном беззвучно пролетали искорки-пули. На потолке двигались полосы света и тени от сигнальных огней на полустанках; ныли и ныли тормоза, и, вторя вагонным колесам, тихонько позвякивали на полу шпоры полковника Стрелецкого. Сам же он, видимо, спал крепко и совсем, значит, о ней не думал... Тянуло заплакать.

И лишь когда щелка между оконными портьерками из черной стала бесцветно-серой, когда на стенном крючке проявился очерк чужого кителя, похожего на Леликов, Ольга вдруг поверила, что и взаправду они с Леликом уже через сутки встретятся, и поцелуются, и останутся вдвоем, наедине, и что произойдет это все благодаря молчаливому, сдержанному, даже как будто чуть-чуть слишком идеальному полковнику Стрелецкому.

Так она незаметно задремала и проснулась уже под Харьковом, при свете погожего дня 20 июля. Опять она оказалась в купе одна — Стрелецкий давно сидел с газетами в вагоне-ресторане.

А поздним вечером, где-то в Курской губернии, где у него была, как он выразился, усадьба маленькая, десятин в девяносто, они наконец разговорились по душам и просидели за полночь. Невеста Стрелецкого умерла от чахотки, он достал фотографию, и оказалось, что у покойницы и впрямь было нечто общее с Ольгой Вальдек.

Говорили о судьбах людских и о войне. Ольгин собеседник, человек, близкий к высшим придворным кругам Петербурга, судил усатого кайзера и его генералов не с той ненавистью, как это делали армейские офицеры, а скорее с горечью и недоумением. Он дал почувствовать собеседнице, насколько трудна для крестьянской страны России война против могущественной промышленной державы. Мимоходом осведомился, помнит ли Ольга Юльевна события девятилетней давности в Москве, после неудачной войны с японцами... Она уловила намек, что пушки и цеппелины Вильгельма могут вызвать в нашем народе потрясения более грозные, чем 1905 год, если российские армии дрогнули бы на германском фронте... Углубляться в эти рассуждения с женой незнакомого офицера Стрелецкий не стал, присовокупив, что ныне для каждого патриота России главное — выполнять свой воинский долг. Дескать, «делай что надо, а будь — что уж будет».

Ольге Юльевне тоже был непривычен разговор с малознакомым человеком о материях политических, и она постаралась перевести его на материи попроще. Напомнила ему о долге семейном. Тот лишь головой качнул — мол, все это для меня уже в прошлом.

— Вы лучше латинскую поговорку вспомните, — настаивала Ольга Юльевна. — Римляне говорили: «Охочего судьба ведет, неохочего — тащит». Значит, лучше уж сознательно выбрать судьбу, чем случайно угодить под неизбежный женский магнит. Ведь утащит. Бог весть куда!

— То, что вы, сударыня, разумеете под магнитом, — серьезно отвечал Стрелецкий, — есть не истинная любовь, какая даруется человеку один или два раза в жизни, а легкая страстишка, притягательная только для легких, вернее, легковесных душ. Металлы же благородные такому магнетизму, думается, не подвержены. Не в этом ли убеждает и наше приятное путешествие, увы, уже близкое к концу. Утром — Москва...

При этих словах он слегка наклонился и многозначительно поцеловал ей руку с золотым обручальным колечком на безымянном пальце.



Перед полуднем 21 июля на перроне Курского вокзала Алексей Александрович Вальдек с маленьким Ронечкой встречали кавказский скорый.

Мимо встречающих прошел, вздыхая, запыленный зеленый паровоз-сормовец, и мальчику почудилось, что паровоз не катит вдоль перрона, а шагает, устало передвигая свои длинные красные рычаги.

Пропустив тендер и багажный вагон, папа с сыном издали различили желтый международный среди красных спальных первого, синих второго и зеленых третьего класса. Пришлось пуститься к вагону бегом. Папа и сын на бегу придерживали свои сабли: папа — длинную, офицерскую, сын — короткую, вчера подаренную, на ременной настоящей портупее.

Они поспели к международному, когда с его площадки уже сходила ослепительно красивая мама в большой шляпе. Маму слегка поддерживал под локоть чужой полковник в безупречно белом кителе и с фуражкой в другой руке.

Мама сначала познакомила папу с этим полковником и лишь потом расцеловала сына. Взрослые, как всегда, страшно долго разговаривали и чему-то смеялись, пока это им самим не надоело. Тогда полковник вернулся в свое купе, а папа, мама и Роник поехали на извозчике к Стольниковым, в Введенский.

День этот начинался для Рони очень интересно. Потому что рано утром, сразу после завтрака с тетей и кузенами, перед тем как ехать на вокзал встречать маму, Роня с папой успели побывать на Чистопрудном бульваре и осмотреть панораму «Бородинская битва». Папа давно обещал показать Роне эту панораму, и наконец-то выбрал для этого утренний час. Панорама помещалась в деревянном балагане на бульваре. Пустили их туда сразу, и народу внутри было немного. . .

То, что Роня здесь увидел, не шло в сравнение ни с чем ранее виденным в иллюзионах, на картинках, в театре или в музеях. В этом круглом балагане на Чистых прудах кипела беззвучная, но настоящая война. Ее можно было охватить одним взглядом, сразу, а уж потом присматриваться к каждому предмету или воину в отдельности.

Здесь сражались, бились, стреляли тысячи людей под ясным осенним небом. Люди были беспощадны друг к другу, и именно в этом дощатом балагане с панорамой на холсте Роня понял, что «взрослая» война совсем другая, чем у мальчишек. . .

Валялась у разбитой пушки мертвая всамделишная лошадь с оскаленной мордой. Рядом лежал наш, российский солдат с землисто-серым лицом, обвязанным тряпкой. Горели деревенские домики, палили пушки, и прямо у ног посетителей раскидано было множество страшнущих предметов — оторванные руки и ноги, окровавленные повязки, сломанные ружья и поодаль — еще несколько человеческих недвижных фигур в пугающих, неестественных позах.

Мальчику очень хотелось спросить у папы по дороге на Курский, предстоит ли ему ехать на такую же войну или, может, нынешняя полегче, но он и сам догадывался, что, верно, именно на такую, а потому и спросить поостерегся. . .

Потом, встретив маму, ужинали за общим столом у Стольниковых вместе с двоюродными братьями — старшим Володей, будущим прапорщиком Сашей, спортсменом Жоржем и младшим — Максом, который был ровно на год старше своего кузена Рони. Кстати, ужинов этих стольниковских Роня не любил. Двоюродные братцы, московские острошловы и баловни, не прочь бывали подразнить провинциального кузена из Иваново-Вознесенска. Да и было им чем прихвастнуть перед небогатым родственником!

Один — Володя — умел отлично фотографировать и даже выстав- лял свои работы в каком-то салоне. Другой — Жорж — был призовым гонщиком на любых мотоциклетах и первоклассным игроком в теннис. Третий — Саша — щеголял военной формой и выправкой. Младший — Макс — прекрасно учился и владел самыми замысловатыми загранич- ными игрушками вроде военного корабля, который сам на воде разво- рачивался по команде, а по свершении полного разворота стрелял из кормовой пушки, с дымом и пламенем.

Впрочем, в этот день и Роня получил от папы «морской» подарок: целую флотилию корабликов с намагниченными носами. Их пускали в ванне, и можно было менять им курс с помощью маленького магнита.

Вечером, при купании в ванне, Ронька был на седьмом небе от счастья.

Кораблики плавали в бурных водах, обтекали струю из-под кранов, были послушны магниту и точно лавировали между мыльницей, гра- дусником и мочалкой. Мама сама мылила Роньку, а папа сидел тут же в ванной и слушал мамин рассказ про то, как ей удалось приехать с Кавказа так быстро. . . Ведь папа-то уезжал послезавтра! Опоздай она на сутки — и встречи у Стольниковых могло бы и не быть!

Потом Роньку завернули в мохнатую простыню, и папа сам пере- нес его в прохладную кровать. Роня взял с собой, конечно, и магнит от новой игры, и один из корабликов, кроме всегдашнего, обязатель- ного белого зайца Бяски, чуть не до плешин протертого в Ронькиных объятиях и поэтому особенно любимого.

Утречком Роня проснулся чуть раньше папы и мамы, спавших здесь, в гостях, на широченной турецкой оттоманке, по соседству с Ронькиной кроватью. Он сперва поиграл магнитом и корабликом, потом разглядел на ночном столике около родителей их обручальные кольца, снятые перед сном.

Мальчик попробовал притянуть магнитом эти кольца — но они не поддавались. Папа с мамой проснулись и наблюдали за занятиями сына.

— Почему ваши кольца не тянутся к магниту? — поинтересовался сын.

— Потому что они из благородного металла, — сказала мама на- ставительно. — Благородные же металлы никакому магнетизму не под- вержены. . . Правда, милый? — повернулась она к папе, и папа засме- ялся и поцеловал жену.

* * *

Но проводы папы на войну затянулись — его уложенный чемодан еще несколько суток простоял в прихожей у Стольниковых. Причина тому была печальна, но об этом — чуть позже. Однако сам папин отъезд и прощание стали символичны в Рониной судьбе.

Со Стольниковыми расстались сердечно, конца не было поцелуям и объятиям. В стольниковском доме нежностей вообще-то не любили, но тут, на этих проводах, оттаял даже суровый Павел Васильевич. Отсутствовал лишь студент, вольноопределяющийся Саша. Его призва- ли на учебные военные сборы, чтобы выпустить, как полагалось, пра- порщиком запаса, однако теперь, по обстоятельствам военного времени, выпуск предстоял уже не в запас, а прямо в действующую армию. Дальновидный Павел Васильевич уже принимал меры к Шашиному будущему устройству.

Стольниковская английская коляска понесла затем папу, маму, Роню и Вику не на вокзал, а сначала в дачную местность Кунцево. Василий-кучер промчал седоков мимо Филей с их стройной красно- белой церковью Покрова, отраженной в зеленоватых водах небольшого

пруда в бывших нарышкинских владениях. Мама глянула на это отражение затейливого храма и сказала: «Какая прелесть!»

Папа изредка украдкой поглядывал на часы — в пять вечера поезд его уходил с Александровского вокзала на запад. . . У мамы под глазами лежали синеватые тени, а глаза то и дело туманились.

Папа велел остановить коляску у входа в старинный смировский или, по-другому, солдатенковский парк. Его высокие деревья вольно разрослись на возвышенности между селами Крылатским и Кунцевом. Внизу, под крутым песчаным обрывом, обозначилась чистой синевой река Москва. И за этой речной излучиной сияли вдали купола кремлевских соборов и колоколен, золотело могучее пятиглавие Храма Христа Спасителя, возносились башенные шатры и верха монастырских стен Новодевичьей обители, фабричные трубы, большие новые дома. Угадывались силуэты остроконечных шпилей лютеранской кирхи и католического костела, легко распознавалась новая телефонная станция в Милютинском, похожая на спичечную коробочку. Ближе стлалась чересполосица огородов в присельях, а среди березовых рощиц, садовых лип и цветников уютно прятались дачи. По горизонту, уже в городской дымке, темнели дальние сосновые леса. Никогда еще Роня так не ощущал огромности Москвы.

Отец довел их до самой кромки приречного откоса, и по утоптанной тропе они все спустились к площадке под деревом-исполином. Такое дерево Роня видел впервые. Это был раскидистый каменный дуб в четыре охвата. Папа очень серьезно объяснил, что его университетский профессор Климент Аркадьевич Тимирязев определил возраст этого дуба в тысячу двести лет. Так вот куда, оказывается, привез папа своих близких проститься!

Они недолго посидели под кроной дерева, полюбовались на Москву в полуденных августовских лучах. Роня задира л голову к зеленому куполу кроны и голубому зениту. Он заметил, что глаза отца — одинакового оттенка с московским небом, а глаза мамы ближе к цвету древесной листвы, пронизанной светом. Мать все порывалась перевести беседу на домашнее, семейное, грустное. . . Но Роня мешал матери, он был слишком захвачен красотой Москвы, привольем, а главное, так сильно осязаемым здесь веянием крыльев таинственной Музы Истории.

Отец улыбался матери, держал ее руку в своей, но обращался больше к Роне и, кажется, был им доволен. Он старался открыться сыну, что такое тысяча двести лет. И Роня чувствовал, будто приоткрывается ему глубочайшая пропасть, где струится во мгле река времени.

Кунцевский дуб зеленел здесь, чуть ниже кромки приречного холма, когда еще не зарождалось государство Киевская Русь. Ведь считается, что России исполнилось десять с половиной веков (хотя есть города и постарше, Новгород, к примеру). Дереву же на кунцевском откосе — полных двенадцать!

Значит, когда Юрий Долгорукий посылал сына, Андрея Боголюбского, строить дубовую крепость на лесистом кремлевском холме при впадении рек Яузы и Неглинной в Москву-реку, верстах в двенадцати отсюда, этот несрубленный, уцелевший тогда дуб был уже старым, четырехсотлетним великаном. А потом он видел и татар, и поляков, и французов, помнит Пушкина и Тургенева, уцелел в пожаре Москвы при Наполеоне, должен теперь выстоять еще одну жестокую войну. . .

Жители к нему привыкли, крестьянские девушки водят здесь хороводы и гадают о суженом, старики же рассказывают страшные истории про этот парковый холм с дубом-великаном.

Потому что это вовсе и не природный холм, а насыпное городище древних финских язычников. Они жили здесь за тысячи лет до прихода славян-вятичей и их соседей — кривичей. Городище над Москвою-рекой в Кунцевском парке — самая старая крепость во всем ближнем

Подмосковье. Финские языческие племена насыпали его четыре тысячелетия назад, в те времена, когда египтяне на Ниле возводили свои пирамиды и высекали лики сфинксов.

На самом же верху городища некогда пробилась холодная ключевая струя, и построили там по чьему-то обету небольшую церковь с колоколенкой-звонницей для освящения родниковой воды. Только дела здешнего причта оказались темными, грешными. Постигла этих греховных служителей кара: провалилась церковь со всем причтом в самую глубь холма, под землю ушла! Доселе, если ночью приложить ухо к земле, — услышишь глухой звон погребенного колокола: это грешники молят о спасении душ своих. . .

Роня сейчас же попробовал вслушаться, но различил только слабый шум листвы и звуки городских окраин.

— Днем-то не услышишь, — сказал на обратном пути Василий-кучер. — А в полночь — беспременно разберешь, что звонят снизу. У нас Даша, горничная, ездила сюда летось трамваем. Чуть со страху не обмерла, как прислушалась. . .

Папа отвечал шутливо, в уступку маминой сухой трезвости и несклонности к фантастическому и таинственному. Она была смолоду чужда всякой мистике. Но чего папа не подозревал, так это Рониной склонности к необъяснимому, мистическому. Сколько новых ночных теней привели эти папины рассказы в Ронину спальню! Однако не этим стал для Рони символическим и судьбоносным нынешний кунцевский полдень!

Именно в этот час, когда под тысячелетним московским дубом прощалась семья с отъезжавшим на войну отцом, проснулось в мальчике чувство шемящей, болезненно сладкой любви к Москве, к России, сознание сыновности. . .

И он примирился даже с папиным отъездом, понимая, что отец едет спасать отчизну от подступившей беды.

Глава третья ОТЧИЙ ДОМ

1.

Первой жертвой войны среди близких маленького Рональда стала его бабушка, Агнесса Лоренс.

Мальчика привезли к ней на дачу в Лосиноостровское перед самым папиным отъездом в действующую армию. По дальнейшим печальным обстоятельствам и был отложен на трое суток отъезд поручика Вальдека.

. . . Вечером, когда ничто еще не предвещало близкого бедственного события, бабушкины гости ужинали на дачной террасе под старой люстрой, случайно уцелевшей от петербургской лоренсовской мебели.

Прощальный семейный ужин бабушка Агнесса устраивала в честь отъезжающих на войну зятьев-офицеров: Олиного Лелика и Сониного Санечки Тростникова.

На проводы приехала из московской казенной квартиры — в Дегтярном, близ Курского, — младшая Ронина тетка Эмма со своим веселым, всегда оживленным брюнетом-мужем Густавом Моргентгау. Как гимназический учитель, к тому же негодный к строевой службе по близорукости и астигматизму, он призыву не подлежал и испытывал чувство неловкости перед расстающимися.

За стол посадили и детей: Роника и Вику — под присмотром суровой бонны фрейлейн Берты; долговязую и озорную Сонину дочку Валью

и даже годовалую А дочку Моргентау. Мама Эмма держала свою девочку на коленях, оберегая от ее хватких пальчиков тарелку и угрожаемый участок туго накрахмаленной скатерти.

Недоставало за столом только старшей, Матильды, но и та недавно писала матери с модного бельгийского курорта. Письмо это было о парусных яхтах разного фасона, об экстравагантных нарядах, выездных лошадях, пикниках и прочих радостях Матильдиного беззаботного, бездетного, нерусского супружества. Однако это надушенное дамское письмо шло из Бельгии в Россию что-то необычно долго — может, и его путь уже пересекся где-то с маршрутами маневрирующих армий на европейском театре войны?

Разговор за столом показался Ронику не особенно содержательным. Сам он по дороге к бабушке только что пережил массу интересного и готов был поговорить об этом даже со взрослыми, хотя они обычно лишь притворяются, будто им интересно слушать маленьких.

Поделиться хотелось очень важными впечатлениями. Когда он приехал с родителями в Лосинку от Стольниковых, два часа назад, на перроне стояла группа нарядно одетых дачников — дамы в широкополых шляпах и господа в котелках, канотье и летних костюмах, а чуть поодаль от этих господ маячило несколько жандармских чинов и штатских личностей, подозрительно взиравших на собравшихся. Оказывалось, ждали царского поезда. Среди дачников была и тетя Соня с дочкой Валей. Роня стал просить папу и маму, чтобы и они остались встречать поезд, но фрейлейн Берта с маленькой Викой на руках побоялась одна идти к бабушкиной даче, и Роню оставили на станции под присмотром тети Соии.

Как только родители удалились, появился поезд. Он шел к Москве. И хотя двигался он мимо перрона довольно медленно, Роня не успел пересчитать вагоны, потому что вглядывался в каждое зеркальное окно, чтобы узнать царя. У Рони уже зарябило в глазах от мелькания этих плывущих мимо вагонных окон с поднятыми и опущенными шторами, как вдруг в одном окне возникло как негаданно-нежданное видение лицо очень красивого мальчика-подростка. Роня отчетливо разглядел нежную линию шеи, вырез отложного воротничка матроски, а позади — женскую фигуру вполоборота и смутно белеющее худое лицо под высокой прической. В толпе на перроне закричали, замахали букетами; Роня, провожая взглядом цесаревича, упустил из виду следующее окно, и когда тетя Соня дернула его за руку, он различил только плечо белого кителя с офицерским погоном и русую бородку в облачке папиросного дыма.

Когда поезд миновал стрелки, в толпе все еще крестились, а станционный жандарм в мундире со шнурами так и застыл навтыяжку, не опуская руки от козырька фуражки. . .

Вопреки Рониным ожиданиям оба отбывающих офицера толковали не об аэропланах «Таубе», не о подводных лодках, а о том, что и так ясно без лишних слов. Дескать, Вальдеки ли, Моргентау или Тростниковы — все одинаково чувствуют себя в опасный для отечества момент людьми русскими. Все, мол, коренные москвичи, всем дорог родной русский язык и народ-страдалец. Только вот служить отечеству каждому приходится по-разному: кто едет к войскам в готовности пролить кровь на полях славы, кто впрягается в военно-тыловую лямку, а кого война будто и не коснулась пока.

Роник заметил, однако, что бабушкина горничная Мавра, меняя тарелки и прислушиваясь к застольным разговорам, как-то насмешливо поджала старческие губы, будто не очень-то признавая свое единокровное родство с лютеранскими семействами Моргентау или Вальдек. Да и Ронина бонна фрейлейн Берта тоже как-то все больше глядела в сторону, вздыхала и отмалчивалась. Поддержать патриотическое за-

столье она уж никак не могла: русский она понимала лишь настолько, насколько успела перенять у своего подопечного Роника. Родом она была из курляндских немцев, а в Москве ничего, кроме Петропавловской кирхи, покамест еще не видела.

Еще один застольный эпизод показался Ронику странным и не совсем понятным.

Дядя Саня Тростников в офицерской форме с погонями прапорщика поднял бокал, протянул его папе и провозгласил с деланной серьезностью:

— Ну, Лелик, за веру, царя и отечество!

Смотрел же он при этом с некоторой скрытой шутливостью. Папа ответил таким же скрыто веселым взглядом, и два офицерских рукава — один с красной, другой с зеленой окантовкой, сблизились, два офицерских взора встретились и обменялись как бы тайными улыбками.

Мальчик глянул на дядю Густава — а тот и вовсе улыбался открыто иронически. Зато тетя Соня, мама и бабушка, бледнея от волнения, встали со своих мест, чокнулись с серьезными лицами и в один голос сказали что-то вроде: Господи, наших-то спаси и сохрани! Тут-то потеплело и Маврино лицо.

Сразу после фруктового мороженого фрейлейн Берта повела старших детей умываться и укладываться в маленькой гостиной, превращенной в детскую. Роня, как обычно, повиновался безропотно, его двоюродная сестричка и ровесница Валя — с капризами и хныканьем. Самых маленьких девочек — Вику Вальдек и Адочку Моргентау где-то уже баюкали их мамы и папы. Фрейлейн Берта проследила, чтобы перед сном Роник прочитал по-немецки «Фатер унзер» и стихок «Их бин кляйн, майн херц ист райн, ниманд воонт дарин алс готт аллайн», принесла в комнату маленькую лампу с жестяным щитком, прикрутила в ней фитиль, сказала старшим детям «гуте нахт!» и оставила их одних.

Роник мирно повернулся на бок, а его предприимчивая кузина Валя немедленно пустилась в похождение: выскользнула из постели, прокралась в коридор, оттуда — в одной рубашке — на задний двор дачи. Там она постаралась всполошить давно спавших хозяйских кур. Воротясь из своей экспедиции, она похвасталась Роне, что куры раскудахтались и разлетелись по всему двору, и теперь обозленная дачевладелица непременно должна прибежать к бабушке с жалобой. Посему Валя поторопилась задуть робкий огонек в лампе и спрятаться под одеялом.

Мальчика эта история растревожила. С открытыми во тьму глазами он все ждал причитаний хозяйки, женщины пухлой и доброй, днем поившей Роню и Валю липовым чаем. Да и жаль было перепуганных кур, клевавших зерна из Ронькиных рук вечером. В этих треволнениях он незаметно уснул.

Под утро что-то негромкое и опасное все же в доме произошло. В комнатах, где спали гости, послышались голоса. Кто-то посторонний прошел коридором к бабушке, заговорил мужским басом и как будто не о курином переполохе. Несколько этим успокоенный, мальчик глубже ушел в сны о царском поезде, а после пробуждения обрадовался, увидев в комнате совсем одетую маму. Но лицо у мамы было застывшее и чужое. На соседней постели уже сидела Валя и одевалась сама, без капризов и без посторонней помощи. Видимо, что-то случилось. Мама выговорила сдавленным, тоже не своим голосом:

— Дети, собирайтесь быстрее. Пойдемте к бабушке проститься.

— А разве бабушка тоже уезжает на войну? — глупо удивилась Валя.

Мама утирала глаза Рониним полотенцем. Она сказала про бабушку что-то не очень понятное, но по коже его пробежал мороз, будто в комнату ворвалась зима.

Мальчик содрогнулся. Не вчерашняя ли шалость причиной несчастья? Он страшился перевести взгляд на Валю — ей-то, прямой виновнице, каково сейчас на душе? Но и сам он не мог уйти от ощущения соучастия, он же ничего не сделал, чтобы остановить Валю, отговорить ее... А та вдруг спросила маму обыкновенным скучным голосом:

— Тетя Оля, а бабушка насовсем скончалась?

Мама ответила отдельно, как на уроке:

— Стыдно тебе, Валя! Большая девочка, должна понимать, какое горе... Все это война наделала. У бабушки... сердце не выдержало.

* * *

В большой гостиной, на двух составленных вместе и укрытых белыми пикейными одеялами ломберных столах, лежала бабушка.

Из-за опущенных штор в гостиной был непривычный полумрак. Висящее в простенке зеркало укрыли белым вместе с овальной рамой. В головах у бабушки стоял массивный подсвечник, но горела в нем тоненькая восковая свечка. Принесла и зажгла ее заплаканная Мавра. Она прислонила к подсвечнику еще и маленькую, обтертую от пыли иконку из кухонного угла.

Соня и Эмма с такими же застывшими, как у мамы, лицами убрали стол и бабушку садовыми цветами, еще чуть влажными от росы. Незнакомый мужчина прятал в карман складной аршин, кланялся папе и уверял, что часа через два все будет доставлено в лучшем виде.

Мавра взяла Роника за руку, подвела к бабушке, шепнула ему:

— Молись, внучек, за бабушку, чтобы и она, милостивица, царствие Божие узрела. Поддай ей, Господи, за жизнь ее праведную!..

Теплый отблеск свечи ложился на бабушкин лоб. Мальчика поставили на стул. Теперь он глядел на бабушку сверху.

Она лежала причесанная, от груди до ног прикрытая белым, и Роне указали на сложенные бабушкины руки, чтобы он поцеловал их. Губы его ощутили холод, но прикосновение не напугало, потому что, целуя неживую руку, он успел хорошо разглядеть и узнать каждую черточку привычно милых бабушкиных пальцев.

Осмелев, он приблизился губами и к недвижному лицу. Черты бабушкиного лица хранили выражение глубокой сосредоточенности на чем-то столь важном, чему мешать невозможно и грешно.

Он не отважился погладить ей волосы и поцеловать в лоб, чтобы не потревожить бабушкиной отрешенности.

* * *

Во двор въехала лошадка и возчики пронесли что-то продолговатое в бабушкины покои. До самого вечера на дачу приносили и привозили венки с лентами, осенние букеты, хвойные гирлянды, перевитые цветами.

В комнатах толпилось великое множество народу. Приезжал в коляске лютеранский пастор в черном одеянии с белыми ленточками, ниспадавшими с воротника на пасторскую грудь. Узнал Роня в толпе тетю Аделаиду Стольникову и очень серьезного Павла Васильевича.

Поздним вечером венки и цветы зачем-то вынесли из большой гостиной на террасу. Сонина девочка Валя ни за что не соглашалась лечь отдельно от матери и страшилась даже прошмыгнуть мимо дверей в большую гостиную. Роня же сам пошел туда проститься с бабушкой перед сном, как привык делать это каждый день. Ему и в голову не приходило бояться неподвижной бабушки, а такие слова, как «покойница», «гроб», «могила» не задерживались в его сознании и еще не смущали его духа.

Но мама сама увела его из комнаты с постаментом и сама уложила в кровать, вместе с ним помолилась на ночь и в этот раз оставила спать в соседстве с фрейлейн Бертой.

На следующее утро длинная процессия экипажей медленно двигалась из Лосиноостровского к Лефортову следом за белым катафалком. Путь показался Роне очень долгим. Мальчик ехал в хвосте процессии вместе с Бертой, Валей, Викой и тетей Соней. Они все чуть-чуть оживились, когда извозчик должен был остановиться, чтобы у колонки напоить лошадь, а потом, наверстывая, поехал вдогонку за остальными экипажами рысцой.

Прощальное богослужение в кладбищенской церкви шло с певчими, под переливы небольшого органа. За толпой взрослых мальчик не видел того, что происходило перед алтарем, скамьи для прихожан из-за тесноты пришлось убрать и люди стояли, как в православной церкви.

Более всего запечатлелись в памяти мальчика две большие кучи желтого песка и промеж них — глубокий, тесный, черный провал.

Пастор произнес по-немецки молитвенные слова, толпа сгрудилась, блеснули лопаты. Мальчик видел маму, рыдающую на самом краю, и только теперь понял, что бабушку привезли сюда, чтобы закопать в этой глубокой страшной яме. Ему сунули в руку совочек, велели зачерпнуть песку и бросить вниз, на гробовую крышку, уже почти засыпанную.

Очень быстро вырос продолговатый песчаный холм, и тут же он исчез под множеством венков и букетов, превратился в зеленую горку со слабо реющими шелковыми лентами, колыханием черных и золотистых букв. Из этих венков и зелени невысоко поднялся деревянный временный крестик — чуть в стороне от гранитной плиты с именем дедушки Юлия Лоренса, которого мальчик не помнил, равно как и дедушку и бабушку Вальдек, тоже упокоившихся лет пять назад здесь, под березами Иноверческого кладбища на Введенских горах, в Лефортове. Возникло это кладбище еще во времена Кукуйские. Неподдалеку от Вальдеков лежал в земле сподвижник Петра Лефорт.

Когда все провожающие уселись по экипажам, мама с папой взяли Роника к себе и уже велели было ехать, но маму потянуло побыть у могилы одной. Сын тут — не помеха, она и его повела за собой по тем же аллеям и дорожкам. На кладбище он был впервые за всю свою шестилетнюю жизнь и только начал постигать, что происходит с человеческим телом, когда покидает его невидимка-душа.

Они с мамой сели у зеленой горки с шуршащими лентами.

Пахло сырым песком и растоптанной хвоей. Было тепло и тихо. Мальчик разобрал надпись на белой табличке, приделанной к новому временному кресту:

«АГНЕССА АЛЕКСАНДРОВНА ЛОРЕНС, УРОЖДЕННАЯ ЮЛЛЕНШТЕДТ»

И тут пронзила мальчика невыносимо острая жалость к зарытой бабушке. Он с внезапным прозрением осознал и ужас, и непоправимость смерти. Он прижимался к матери и плакал неутешно.

А мама опустила на колени, не страшась холода и сырости могильной земли. Она молилась о возносящейся душе матери и к ней же зывала о заступничестве перед силами небесными.

Ведь завтра, Боже мой, уже завтра она сядет с детьми и бонной в поезд, идущий до Иваново-Вознесенска, но двумя-тремя часами раньше они успеют проводить другой поезд, что увезет их папу далеко на запад, под немецкую шрапнель.

(Продолжение следует)

Ольга Постникова

ИЗ КНИГИ «КРЫЛАТЫЙ ЛЕВ»

МОЛОДОСТЬ В СТАРОЙ МОСКВЕ

Утешь меня, хоть плачется легко,
Когда душа спокойствия полна,
Когда свеченьем белых табаков
Напоена ночная тишина.

Свет лампочки меж балок и столбов
Все трещины прошьет, как по канве,
Когда почти случайная любовь
Единственной становится навек.

И низок и как будто невесом
Над головой провисший ветхий кров,
Вещания кузнечиков и сон,
И труб водопроводных скорбный зов . . .

1970

* * *

Воображение, желанье,
Пустое тело озноби,
Где ясно не воспоминанье,
А лишь до-виденье, до-знание,
Предвосхищение судьбы.

Преодолеть свою ночную
И темноту, и нищету,
Чтоб ощущать до поцелуя
Его немую теплоту.

Что я скажу, что ты ответишь,
Давно подробно знаю я,
Когда уснешь и не заметишь
Границы слов и забытья.

И каждый стон, и шепот влажный,
И чернь полузакрытых глаз . . .
Как я люблю все, что ты скажешь,
Что мной угадано сейчас.

1972

* * *

Дитя Пречистенки, соенок, мой ребенок,
Рожденный меж застиранных пелен,
Едва коснувшись барабанных перепонок,
Навеки плач твой во мне запечатлен.

Взросленью твоему душа противится,
Ты в каждой радости и в каждой мольбе.
И бабочки — не шоколадницы, а крапивницы —
Опять садятся на пальчики тебе.

Не вырастай — вот от войны спасение,
В касанье вечном, в приниканье, в позе тесной,
В той теплоте, что на иконе «Умиление»,
Щека к щеке, румянец кожи диатезной.

1981

КРЫЛАТЫЙ ЛЕВ

Дырявой крыши муторный распев
Наперекор перепую — и легче!
А за окном — торец стены поблекшей,
Взлетающий оскалившийся лев.

Когда стихает вдруг октябрьский ливень,
Что было в жизни у меня счастливей

Вот этого трущобного стиха,
Вот этого полуживого года,
Когда ознобом женская природа
Изнеженные сводит потроха!

О, вытянешь ли ты, мой альт осенний,
Недели целые до воскресений!

Мой дом от экономии зачах,
В горячке от младенческих прививок,
Но греет лев свой гипсовый загривок
С таким глубокомыслием в очах.

* * *

Я выберу из всех твоих «не надо»
Какое-нибудь самое больное,
Смешное, если снова повторить.

Так в переулке просят прикурить,
И навсегда лицо запоминаешь,
И держишь на сетчатке, и не знаешь,
Зачем тебе так нравится оно.

Я выберу из всех твоих «не надо»
Какое-нибудь малое одно.

Я повторю и теплых рук обеих
Не выпущу, от щек не отниму,
Счастливая — тем счастьем Ниобеи —
Еще смеюсь сомненью твоему.

* * *

В окошке своем однорамном
Я вижу крылатого льва.
Я плачу — и значит, жива.
И странно, что не было снега
Давно уже, с Покрова.

Я стану опять вспоминать
Ушедшей любви вечера,
Летающие в гушу двора
Кленовые семена.

СЫНУ

И опять для стихов
у судьбы уворовано время:
Начинаю бубнить,
пропускать остановки в метро,
Начинаю дышать — до сопенья —
так женское бремя
Дурнотой и блаженством
немое сжимает нутро.

И по-рыбьи глядеть,
и гортани удерживать корчи,
До постели добравшись,
лежать и почти завывать,
Вспоминать и твердить
и свои одинокие ночи
Вновь ночами любви — о прекрасными! —
именовать. . .

Этот плач бесконечный —
начало вселенского воя,
Это плачет душа о себе
по причине простой:
Над толкучкой вокзала,
одышкой, табачною вонью,
Просто газа глотнув
над потухшею грязной плитой.

Но из этого мира
уже никуда я не денусь.
Сколько я заплачу
за последний, за вечный покой!
Оттого за стеной
мой несчастный рыдает младенец,
Голубые глаза
раздирает невинной рукой.

* * *

Опять семья, опять работа
И слов привычная борьба.

Как недодержанное фото
Моя приличная судьба.

Допросы, обыски, облавы
Не мне в страницы собирать...
Ты видел, как, хватив отравы,
Выходит крыса умирать?—

На самый свет, под ноги людям...
А мы в свой старый дом придем,
Уткнемся в рюмки и забудем
На миг о том, что мы живем.

Крысиным туловищем бьешься,
Вороньей мечешься душой,
Невольным стоном отзовешься
На плач непонятый чужой.

Какой счастливою любовью
Ты превозможешь эту мглу?—
Чтоб умереть от полнокровья
В своем пречистенском углу.

1978

* * *

Ты не велел мне читать «Генетику»:
«Зачем дилетантство?»
Но я узнала счастье монаха Менделя,
который всю жизнь
скрещивал горох с белыми цветками
и горох с красными цветками.

Вероятность сохранить белый цвет —
всего одна четвертая,
то самое расщепление 3 : 1
(три к одному),
но рецессивный ген белизны
остаётся,
затаенный для будущих жизней.

Так я думала каждый раз,
покупая лущеный горох.
А вчера, когда нарвала
у дороги красных цветов
неизвестно как выросшего
душистого горошка,

вспомнила расщепленные деревянные подпорки
в нашем старом доме
и мое безделие за учебником генетики
перед рождением сына,
который похож на тебя
больше, чем это может быть.

* * *

1

Москва моя, Могильцевского тишь,
Где в барельефе Гоголь на фасаде. . .
Вот в переулке Левшинском стоишь —
И от весенней сажки горло саднит.

Нет, я не из церквей твоих расту,
Московских я церквей почти не знаю,
Арбатскую я знаю суету,
И я верна пречистенскому раю.

Где бело-розов патриарший сад,
И мостовых булыжники нагреты,
И лестницы пожарные висят,
Как допотопных ящеров скелеты,

И тайные всячие сады
Не могут спрятать вытянутых веток,
И длинные подземные ходы
С квадратиками кварцевых просветов

Дворы соединяют напрямик,
Прохладою и теменью пугают,
А в доме угловом живет старик,
Евгеники знаток, и власть ругает.

И, зеркало вертушкой раскрутив,
Выходит он, устав от преферанса,
Выводит свой картежный коллектив
В Чертолье, в прибережные пространства.

2

Но львицам в обрамлении ворот
(В ленивой позе, с грацией микенской)
Цементом синим так забили рот,
Что морды грустью тронуты вселенской.

И дом Цветкова кажет изразец —
Особый, твердый, хромом зелененный,
Но мимо не проедет мой отец,
И друг мой не спешит, еще влюбленный.

Места прогулки пушкинской к друзьям
И герценовских мыканий, и место,
Где каждой арки мне знаком изъян,
Где пахнет навсегда ванильным тестом.

Где сын мой на зеленом пятачке
То крошит хлеб, то воробьев считает,
Где счастье в среднерусском языке
Сверчком поет и дятлом прилетает.

И знаю, что на Каменном мосту
Две трещины в гранитной облицовке,
И я бегу на солнечном свету
От мужниной хибары в дом отцовский.

Под крик ворон, вне пешеходных зон,
Сквозь этот мир, насмешливый и шаткий,
В лицованном пальто, в хохлатой шапке,
Красива, точно Берта Моризо *.

СТАРЫЙ ДОМ

Я стою персонажем Сидура
С обобщенным железным лицом.
И грохочет чугунная дура,
И громит счастливый наш дом.

Он гравюрами убран по стенам,
Многослойно в обои зашит,
А бульдозер, ни трешкам, ни стонам
Не внимая, опоры крушит.

Но бумажный скворечник, смотри-ка,
Не поддался ручищам стальным,
Лишь качается в матерном крике,
А казался трухлявым, больным.

И сверкает, и не умирает
Изразцовая белая печь. . .
Да, конец беззаконному раю,
Будут в ночь его жэковцы жечь,

Чтоб тепло обреченного дома
В кровь ребенку навек перешло.
Цепenea в угарной истоме,
Мы не ждали, но вдруг рассвело.

Но утру предназначено сбыться,
И младенец в руках моих спит.
То, что мягко, не может разбиться,
Нежелезное дольше горит.

1990

* Французская художница, упомянута в связи с тем, что на Пречистенке находится Музей современного искусства.

Виктор Соснора

БАШНЯ

Так рассмотри надежду и желание вернуться в первое состояние, подобное стремлению мотылька к свету. Человек с непрерывным желанием и всегда с радостью ожидает новой весны, всегда нового лета, всегда новых месяцев и новых годов... И он не замечает, что желает своего разрушения; но это желание есть квинтэссенция, дух элементов, которые, обнаруживая себя запертыми душою, всегда стремятся вернуться из человеческого тела к своему Повелителю.

Леонардо да Винчи

Если тебе доведется узнать, что некий... рассказывает о неведомом таинстве, то верь этому, ведь вера в это не отяготит тебя.

Ибн Сина

4 дек, 1

— Кто Вы?— спросил голос, мужской жук.

— Я сказал, кто я. Никто.

— Где Вы находитесь?

— В РФИ,— сказал я.

— А точнее?

— Точней не скажешь.

— Адрес, друг!

— Римская Федеративная Империя, г-д Д-л, дом 3 дробь 2, комната 891.

— Где это?

— Угол проспекта Удавленников и шоссе Энтузиастов, от Финального вокзала автобус 2 бис 8.

— Молодец! Ум ясный.

— А ты что говоришь как из дула— в затылок? Покажи морду, может, я тебя знаю?

— Зачем тебе моя морда?

— Хоть плюнуть, что ты меня каждое утро пытаешь? То ты, то девка.

— Она — врач-психиатр.

— Она психопутка, ее голос мужской, но женский. Как ее зовут?

— А вы не сказали, как вас... .

— Авы! Аве! Тебя зовут Мария? Я буду звать Аве, Мария!

— А ведь Вы не сказали, как вас зовут... А ведь... .

— А у тебя двойное: Аве-Аведь! — врач-психопутка! Какой у тебя цвет лица?

— Здоровый.

— А у меня?

— Нездоровый.

Рассветает, радость-то! На переплетах рам сидят чижы. Каплет с неба звонко, в стекло, за стеклом туя и рябина. Я лежу ногами к окну и смотрю двумя глазами в окно, а оно во всю стену, лишь полметра внизу батарея парового отопления, золотой цвет, то ли покрашена, то ль золото настоящее, от нее вьются такие же трубы, вверх, вдно, что горячие. За окном воздух, а над окном шарниры, а на них золотые шторы, как плюш. У окна стол под зеленой плюшевой же скатертью, на столе пишущая машинка Гермес Бэби, никто на ней не пишет.

Я не пишу, я лежу.

Грозовое небо в фиалках. Ворона летит вращаясь. Тревожно смотреть мне в небо, как в смерть. Это синие, синие дети поют, взявшись за

руки,верху, дети в синем, а один из них дитя в красном, как Данте, крольчонок.

Я лежу и вижу: слева в воздухе белая скала, незаселенная, строят шестнадцатый этаж, с цифрой, красивый кран ходит по крыше, никелированный, как ажурные ножницы, на нем юноши в шляпе, в голой майке — сидя пьют кефир, в кепи. А справа я вижу колонну, это обыкновенный красный кирпич, сложенный вверх, в ней живут и строят же рабы-римсы, все белокожие, они стучат мастерками, как блестящими стальными сердечками.

Я вижу это, потому что я лежу.

Я знаю, чья это комната, что моя. Мои книги в темно-зеленых переплетах с золотым тиснением букв, мой хронометр с большими цифрами висит на серебряной цепочке, моя пепельница, серебряная же, она же дегустационная кружечка, мерка; картины на стенах; тут много моего, и зеркало в раме с деревянными ангелочками, мордоскопами, позолоченными, я смотрю на себя в сей кристалл, вставая,— я толст, лыс, глазаст, щеки львиные, вырез в носу. Я брит.

Я болен.

Я был болен. Я есть здесь!

Я знаю, я помню, как сверлили вены под ключицами и вставляли в них трубки, а в живот в стеклянных трубах вводили активированный уголь. Я помню, как в ноздри мне вставляли индийский лотос — трубку сквозь ноздри в желудок, восемь врачей держали, а я их бил в беспомощстве по медным пенсне, пока не сделали уж такой укол, что отнялись обе руки, чтобы не бил и схватило параличом заодно и ноги. Четыре с половиной месяца я лежал на танкетке в реанимации, весь подключенный, искусственные легкие, почки и т. д. Искрил только пищевод да иногда включалось сердце, а потому нельзя было меня выбросить в мусоропровод. До чего ж я им надоел.

Я рассказываю себе, что со мной, а сам не знаю, что.

Я знаю т. ск. техническую сторону дела: было девять операций внутренности, была клиническая смерть, а затем смерть без вмешательства клиники. Но я давно себя разделил на сознание и тело, это все было с телом, и названия болезней, и боль, а со мной ничего особенного не было, я сознавал себя.

Да и тело я разделил на две половины. В животе и у корней ног жили близнецы, принцы Мекленбургский и Вюртембергский, а над ними в груди их няня, кормилица, фрейлина Агнес. Откуда они там взялись, это уж им знать, я их не выдумал же. Свои проказы у них, свои капризы. Бантики на пупке завязывают, на швах, из лигатур. Каждый орган у нас оригинален. Например, рот. Рот мне порвали умельцы, вставляя шланги дышать. Но вот спросили, чувствую ль я, что мне порвали рот, а я им никак не объясню, что рот порвали рту, а не мне, я тут пятая спица, пусть спросят рот, а я от этой сути — отсутствую. Или уши. Они считают, что я оглох и что уши мои не слышат. Все кричат мне в уши, прокричали. Я им объясняю: какое мне дело до ушей, может быть, они и не слышат, я-то слышу, вот ко мне и обращайтесь, а не к ушам. Лично я, как таковой, все вижу, слышу и чувствую четко: в два часа ночи еженощно во рту шестой справа вверху зажигается кинжал. Он горит нестерпимой и антисладостной болью, резкой, как огонь электросварки. От этого зуба зажигается глаз, и я закрываю его влажным полотенцем, платком, чтоб не сжечь ресницы и брови, и кудри, которые вылезли и обнажают лысину. Глаза же, горя, вспоминают разные эпизоды жизни и смерти, но не меня, а то того, то другого члена. Но не буду же я публично называть левую ногу Марьей Дмитриевной, а нос Константином Багрянородным, так можно и табуретку переименовать в лютеранку, а толку-то что?

Тут утром солнце восходит. . .

Оно сверкает в стекло, и на белой скале смеются юные рабыни-высотницы, в майках, с каймой губ на лице, а у красной колонны — от белокожих слепит, дергается хрусталик, набегают влажные волны. У комнат — каменная болезнь. Перечислим симптомы: четыре блока — это стены, их состав — железобетон, ничем не обшиты, ни дуб, ни палисандр, они оклеены легко — тончайшей плевои обоев, на которых наштампован типографский рисунок листов. Но фиговые листки сии не цветут и не греют. Таковы три стены, а четвертая — вообще стеклянная, она — окно, стекло в сучках, кривое. Две железобетонные плиты — пол и потолок. Так сказать, твой пол, мой потолок. На полу тончайшая плева из хлорвинила, встань ножкой на голый пальчик — он примерзнет, и долго потом будешь отмачивать ногу в мертвых и живых водах, срезать ножом обмороженную кожу и мясо, пришивать кожу новую и мясо новое матросскими нитками, главной иглой. Заживет.

Для того же, чтобы не переохладиться на полу, по ТВ продают ковры, они теплы как костры, и стоимость одного ковра как цена жизни одного раба. Купи ковер и куй на нем! Куплю.

Утро. Дом погружен в солнце. Прямо — пруд, в нем голубой дуб, тополя. Козак не может жить без тополи. Из разных окон смотрит он в пруд, и скажет: — О то моя тополя! — и смахнет ус. То козак Золотозуленко, товарищ из кургана. О нем речь ниже.

Тут по скале звонила рабыня Р, со жжеными волосами: — Пруд — памятник старины, не рубить тополи! Никто не ломал дуб, пруд не пьют. А наоборот — плавают в пруду чайки-утки, а вороны, как неводо-плавающая тварь, ходят вокруг пруда, комично бия толстым клювом в землю, как железные заводные игрушки больших размеров. Из окна, если сильно скосить глаз вправо, между колоннад у домов перейдя — цистерна, крашенная серебром или из серебра, в ней молоко, выстраивается с 6 утра очередь в 500 женщин, с бидонами. А в бидон им цедит из шланга негр как гром, с зубами как звезды. Нацедит кувшин и вылетит им на голову. Как в Америке! Я считаю: сколько утром идет на работу? — Двадцать. Остальные стоят за молоком. Иной раз рабыне И стоять не захочется, с ног свалится. Потом эту соседку поднимают в сорок рабочих рук (те, двадцать). А пьяных — один. Ходит по лестницам, вопя, что раньше и что теперь, была бормотуха, теперь синюха. — Синюшник я! — говорит он. — И сын у меня синюк, и баба синюля, и мать Синильда Синедрионовна! — А сам и вправду, будто о синюю стену щекой терся, и зубы синие, будто синим огурцом закусывал.

Я пишу уже, раб-римс — мой читатель.

От их начитанности деваться некуда. Войдут, начитанные. Сядут на кухне и будут весь день менять комфорки к электропечи, как граммофонные пластинки. Деньги потребуют и почитать на дом прессу или Пруста...

Больше вокруг меня ничего нет. Под окном асфальт, немножко шоссе и много грязи. Пейзаж не нов, но реален. Да, еще прямо небольшая каменная башенка, тесанная из камня, там жгут кошек; подходят фургоны и выгружают кошек в мешках, из трех труб вьется дымок, жгут и никому не жутко.

Как имя мое?

А вечером — начинает играть за стеной лира, круглая, как луна, и ходит внизу по ступеням слепой гуцул Стефан-шотландец, но играет не он, а радио друидов, и грустно мне у струн тех.

И я лежу, и свободную мою голову сжимает шлем.

Я лежу ногами к окну, голова в шлеме. В окне — золотые полосы созвездий, тысячи окон, мертвый мир, натюрморт тьмы, корабль уже летал и видел все это всюду, выброшенные кем-то большим в форточку.

Была-плыла танкетка, я лежал, зашитый дважды металлическими скобами, кляп из пробки, сквозь него вдет шланг в рот, мундштук, а вокруг — солдаты и матросы в белом, в шинелях, в красных пилотках. И все меня кололи шприцами, все. Ни один не прошел мимо, обязательно уколёт, всадит шприц в грудь, в просверленную дыру, и я задыхаюсь. И задохнувшись, я всхожу на башню, где на каждой площадке сидит девица с красным крестиком на лбу, медсестра, и в руках ее спицы шприцов, сверкают, а пред нею вьется, кружится карусель из конфет, разноцветные, красивые. Жизнь вяжут медсестры на спицах, и у каждой никелированный чайник с мороженым, оттуда тянет холодом и водой, пить очень хочется. Мне не давали ни есть, ни пить, кормили шприцами. И дрожали ступени подо мной, восходящим, и сердце во мне сотрясалось.

И взойдя на башню, и сосчитав этажи, я удивлен был вновь, как быстро выложен еще этаж. Барьер, катапульты из самых больших шприцов — и ничего нет, ни видимости, ни пустоты.

Однажды я прошел этим туннелем вверх, на сей раз сестры т. ск. освеживали один труп, мужчину — толстый, телесного цвета. Ему подрезали бритвой пятки, сняли тонкую кожу, содрали т. е. кожу с живого человека, лежащего на высших ступенях реанимации, нарезали лентами, намотали на катушки и спрятали в шкаф. Вошел главный хирург Г. Рурих, как Сибелиус. Он подозвал одну девушку, раскрыл на ней халат, обнажилось крупное, сильное, женское бедро, а также ляжка, влекущая. Хирург Г. Рурих выломал у девицы и ляжку, и бедро, т. е. по кулинарии — заднюю ногу он отвинтил от нее, как у страуса, вынул толстую расческу с мелкими зубиками и стал расчесывать ногу (волоски на ней) у себя на коленях. Расчесав ногу, он пришил ее иглой, белой нитью к паху того, ошкуренного реанимата. И тот стал лежать уж с тремя ногами, и без шкуры. Внешне эти действия не имели смысла: зачем шкуру с человека — медсестры? Зачем третья нога — этому? И как будет жить без ноги девица? — думал я на танкетке. Но сейчас я думаю не так: многое, непонятное мне, совершенно ясно другим.

— В ножи! — кричат хирурги, и в этой технике есть что-то рациональное. Голубь белый — это нож у индусов, а нож белый у финнов — ласточка. Но все крылато — и птица, и ножи. Народы любят летать. Если б я был писателем, скажем, Вильгельмом Мейстером, я б описал: эпизод — однажды я очнулся, это было где-то в конце моей жизни, а предо мной на двух табуретах сидели двое: хирург Г. Рурих и Аве-Аведь, психопутка, а поодаль штук двадцать халатов мужского рода, они передавали из рук в руки ребенка, совершенно голую девочку, и кололи ее по своему обыкновению. Но передавая и тыкая иглой, они не спускали глаз с меня. А я с открытыми глазами, и ничего нет во мне, а оставшиеся две губы говорили быстро и внятно, и я их слышал. Они выговаривались.

О том, что... но я и не помню, я не умею говорить, — если б мне быть Иваном Ильичем, тут уж я пошел бы врать, как вратарь Петр, но у меня все еще мало слов, и не хочется ставить их неправильно. ТАМ — то, что незнакомо здесь.

О девочке. Она еще вот-вот вышла из живота, а у нее уже пузо. И с меня не сводят глаз медхалаты — не скажу ль я, что хочу жить сначала? Хирург Г. Рурих уж точит скальпель о венерин бугорок, чтоб вмиг вскрыть пузо богородице и вынуть меня, для новой жизни.

— Хочешь? — гремит в рог Голос.

— Нет! — не хочу я.

Но по небосклону горит уж звезда Вифль, чтоб ее, а не нож вонзить в пузо, чтоб я воскрес. Но я не хочу ничего заново, консерват. Лежу я ТАМ, в некоем светящемся объеме, в естественном мире, а то, что тут, — неестественно.

Лежится мне само собой, и кто-то невидимый по небосклону чертит круг справа налево, светящуюся кривую. И Голос говорит ясно; по слогам, что круг жизни моей в моей власти, он замкнется от не хочу.

Я говорю:

— Не хочу.

Круг не замыкается. Его линия останавливается, не замыкаясь с верхней. Что-то я тут недоделал, назад, на стул! Я не хочу назад, жить. Но Голос говорит — смотри! Смотрю: судя по всему, это срок, остаток, мне даримый. Но может быть и наоборот: если взять за мою жизнь эту минимальную пустоту, то остается вон какой грандиозный Светящийся круг в 330°! Живи — не наживешься!

Хирург Г. Рурих говорит:

— Ты удостоился встречи с Ним, будь же достоин Его и молчи. Смерть кончена, увы, начинается жизнь.

Я не осмелюсь описать весь вид аудиенции и как я сброшен был на койку, и как очнулся с памятью о недочерченном круге. Ту хорду заменил пунктир, тоненький, но светлый тоже.

Хирург Г. Рурих сказал, что приборы зафиксировали смерть, и я пребывал в этом состоянии больше, чем полагается.

Выпали все волосы, я сел, держась руками за голову, мягко мне, в подушке сидящему, я плакал дико.

— Печаль моя — свекла! — кричал я.

В тот день отнялись ноги, потом занялись огоньком и пошло выздоровление. И пропала память. То есть, я все помню, но все не то. Смешно, у меня осталось щенячье желание любить женщину, но не идеально, а эротически. Уж в клинику мне приводили двух женщин на поводке: у одной был белый пудель и она говорила по-немецки, а у второй — черный, эта по-французски владела.

Я помню, что мы ели.

Я ем плохо и мало. Наверное, меня из комнаты унесут, где я буду есть больше. И это темнеет небо, и я как летчик, ем шоколад, красную икру и булку с изюмом и маслом, желтым. Шатает меня на простынях, тошнит. Копья поют, копыа летят в гнезда, на Дунай, мне худо, халдеи!

— Какой у Вас цвет кожи? — спрашивает Аве-Аведь, психоподонк.

— Здоровый! — я говорю. Потом смотрю под одеялом в зеркало, цвет кожи у меня красивый, многоцветный, но, судя по линиям рта и узору надбровных дуг, я персонаж незаурядный. Иначе — зачем я отпущен обратно, да еще и не рожденный дважды, а в своем теле? Давно ль я не жил? Вспомнить бы. Пошел на кухню, сжег левую руку, положил ее на плиту. Дымится (рука!). Ничего, обойдусь пока правой.

Вверху стучат молотками. Взять, постучать тоже?

По вечерам свет слабый, нужны б сильные лампочки. Пошел в ванну, помылся, смотрю в окно — комар приближается с воем, как паровоз! И без звука летит самолетом под окном — как цветок!

Ничего не помню.

Хрусталь — это стекло и свинец, охота пить! Пей из серебряной рюмки, серебро — антисептик. Молоко смотрится в чистом стекле, а пьют из керамических форм. Парное молоко пьют рабы, оно слабит, выпил кружку от бешеной коровки и через 7 минут уже свободен внутренне, спи чистым сном.

И сплю.

15 дек, 1

Винцо пьют.

Ни к чему пить на улице, из горла, взбалтывается, невкусно и ненадолго. Вижу: сильный, рогатый раб-римс, пунцоволицый, крутит у скалы бутылку и, подняв на высоту вытянутой руки, вылил в рот. Он

позабыл, что это не фокус, а водка. Раб распахнул волчью шкуру, рванул грудь и пошел.

Он дошел до светофора и упал на шоссе.

В этот момент зажегся зеленый свет — шла колонна танков, всегдашним маршрутом.

Головной танк ткнулся в тело, распластанное на шоссе, покрутил гусеницей, пошипел изнутри мотором; заглох. Не переехать. Не потому, что слабая техника. Техника тут китовая. Не потому, что командир танка подкапитан Силлябэк не давит гусеницами, а потому, что тело раба ожелезенело до такой степени, что его не взяла б и электросварка на распилил, чтоб пропустить вперед колонну; ей пришлось идти в объезд. Раб сам отошел, когда пришла пора, встал и, быстро-быстро перебирая руками и ногами, согнутыми, побежал на юго-восток, туда, где, говорят, стоит еще цистерна, а у нее стоят люди в запое — похмелянты.

Винцо все ж пей из простого стекла, залпом, без выкрутасов, стакан об стенку, огурец в угол рта, как сигару. Почему не пьют тут так? Может быть, не было учителей?

Может быть, это и путь — пить.

Но мы пойдем мыться в ванне, в Дунае. Баня — утоление грусти (по латыни). А по-римски: — Затопи ты мне баньку по-черному, я уж белому свету не рад!

Затопи ее морем тоски скота моего.

Говорят, помогает человеку в росте вода: выльешь на голову ведро воды, — раб растет, человеком становится.

18 дек, 1

Хирург Г. Рурих сказал, что мне б носить бандаж, чтоб брюхо не выпало на пол, швы загноились и разошлись, ране еще заживать.

Слишком сплю, быстро устаю. Люди быстро стареют, но этой девочке было от 10 до 20 лет.

Глаза — как полумесяцы!

Были днем, дали банку паюсной икры, в стекле.

20 дек, 1

Во сне:

Группу мертвых (я в их числе) свезли в ГДР. Ходим по магазину, где рубашки, у которых восемь дырочек. Я хожу вне режима и подозревают, что я не покойник.

Но действие в 21 веке, все, рожденные в первой половине 20 века, — мертвые несомненно. А я вроде и нет, аргумент повис в воздухе. Некоторые подозревают, что и они — нет. Но отличить нас по степени живизны — трудно, трудно.

Еще снилось: моря и горы в ГДР. Есть ли они — наяву?

21 дек, 1

День рождения И. В. Сталина. Кого ни вспомнишь, все Пушкиным занимаются.

22 дек, 1

То же.

24 дек, 1

Я помню, как цветет кактус на подоконнике 24 дек., — 9 бледно-фиолетовых цветков, омерзительной красоты.

Пью чай. Звонит кто-то. Возничий? Ремонтируют ступени в скале.

Не открыть рот, каплет, льется с потолка.

Смотрю на руки (свои), люблюсь: вот бы такие руки вору!

Я живу среди святых. Куда ни плюнь — святой.

31 дек, 1

Помылся, где можно и где нельзя — спиртом. Т° вдруг подпрыгнула до 38,6. Надел чистую рубашку и галстук. Аве-Аведь танцевала перед глазами. В 24.00 выпили по рюмке сока манго.

Аве-Аведь все расспрашивает. Я:

— Пифагор — математик, астроном, спортсмен, музыкант. Первый, предположивший, что Земля — шар. Аристарх Самосский — в 3 в. до н. э. объявил, что Земля вращается вокруг Солнца и измерил расстояние между ними. Потом начался бред — Галилей плюс Тихо Браге плюс Иоганнес Кеплер. Сколько ни иди вслед за луной, придешь туда, откуда вышел, а не на Луну, нет. Потому что путь по Земле не прям, а кругообразен и не выводит за купол земной поверхности.

Из Кодекса якудза:

«Пистолет холоден. Пистолет — это механизм. В нем нет персонификации. А меч — продолжение человеческой плоти, и я могу передать всю глубину ненависти к противнику, когда клинок моего меча пронзает его тело. Погружая руку-меч в тело врага, нет большего наслаждения произнести: СИНДЭ МОРАИМАСУ! (прошу Вас умереть! — японск.)».

1 ян, 2—3 ч 12 м

— А Вы? — не отстают Аве-Аведь.

— Что я?

— Вы — музыкант, спортсмен, математик, астроном?.. Или же Вы — шар? А ведь я не шучу, конечно!

А у меня крестец ломит. В ране много крови. Во сне:

Всю ночь у Сталина. В его роковой квартире — проезд МХАТа. Мебель на месте, посетители те же. Я — ему:

— Ну что, Иосиф Виссарионович, катапультировались?

А Иосиф Виссарионович этого слова не знает. Усов у него нету. Смотрим, радуемся, что сбрил. Сталин без усов, ниточки на губе, как у немчика.

Сколько лет осталось до 3-го тысячелетия?

В окне над цистерной зажегся неон:

ТЕНЬ ГОРДАЯ ДРОГНЕТ

7 ян, 2

Здравый ум и здоровый ум — есть разница?

Стол для письма — не конь кому попало. Дай коня, не побоюсь брюха, пойду снимать головы, воюя. Но писать, подвязав кишки бинтом, не пишу.

Пошел-ка ты по шопоту!

10 февр, 2

Отличие людей от искусств — у одних есть, у других нет юности. Фараону подкладывали девочек, чтоб юная энергия переходила к нему. Так объясняют теорию геронтов на троне — массы.

Одни жрецы знали, чем убить фараона — девочкой. Юное мясо умеет лишь поглощать. Женщины, высасывающие из фараона жизнь, не стоят благосклонности медицины.

Думать, что ничему нет возврата — неправильно. Из прошлого возвращаются все, легко и видимо, но реже этим нужно заниматься. Не тошнит от каш, фруктов и соков.

17 февр, 2

Письмо.

Обращения нет, подписи нет, текст:

«... и снова (в который раз!) околдовало меня мрачноватое очарование Вашей личности. Магия слов — вот что можно сказать о Вас. Мне 75 лет, и я кое-что понимаю в различных магиях... Ваш образ, встающий за всей живописью легенд о Вас, говорит, что Вы — все же человек. Угадала? Или нет? А кто я? Ведь надо ж отрекомендоваться. Я — Агасфер женского пола, вечная странница Духа. Потомок травников-колдунов, а посему и сама тоже травница-колдунья. Ныне нас зовут экстрасенсами, поносят... и боятся. Если есть у Вас какая ни на есть хворь — помогу.

В середине апреля я уеду в Пентагон, где буду собирать молодые побеги кустарника — ломонос виноградолистный. Настойка из его побегов задерживает рост раковых опухолей, равно как и сок из стеблей черных гладиолусов, как корни розовой герани, как сок чистотела (травы и корней), как шалфей, выращенный на почвах Афганистана, и т. д., и т. п.

Ох, зря ощериваются аллопаты на гомеопатов и травников!

Фитотерапия скажет решающее слово в борьбе. Травы творят чудеса, о нервных и психических болезнях и говорить нечего.

Вам необходимо знать некоторые особенности функционирования Вашей нервной деятельности, Вы — это... Вы, и поэтому у Вас изменен порог чувствительности. Иными словами, настоящие... (Вы!)... относятся к сенситивам и экстрасенсам особого класса.

А пока.

Купите в аптеке настойку перечной мяты. Несколько пузырьков. Утром после умывания сядьте на кровать, расслабьтесь, закройте глаза. У Вас в руках блюдце, в нем чайная ложка кипяченой остуженной воды, к ней добавлены 3/4 чайной ложки перечной мяты. Закрыв глаза, на ощупь вмажьте кусочек мяты в эту смесь и мажьте лоб, виски, за ушами, затылок. Остаток жидкости выливайте на темя. И сидите так отдыхая 7—8 мин. Это проделывать каждое утро. Если есть у Вас молодые подвижные женщины, пусть поедут в лес и привезут ветви можжевельника. Пусть лежат у Вас под кроватью — и те, и другие. Каждое утро надо взять несколько веточек, положить, сбрызнуть их слегка водой и зажечь на металлическом подносе — гольден. Сырые веточки будут куриться. Этим дымком покурить во всей квартире.

Купите красную и розовую герань, и пусть стоят горшочки во всех комнатах. Это — великая целительница от многих.

Пейте только серебряную воду.

В графине с кипяченой или сырой водой (это как Вы привыкли т. ск. в ванной) должна лежать чайная серебряная ложечка старого времени, не теперешняя, или же старый сикль (лучше б II—V вв. до н. э.). Постарайтесь чаще бывать в розарии и погружать лицо в розы. Дайте приказ собирать опадающие лепестки роз. Сушите их сами, в тени, заваривайте одну чайную ложку сухих лепестков стаканом кипятка, и в течение дня это выпить.

Пейте чай Авиценны».

20 февр, 2

Котлеты из капусты; бутерброд с маслом и черной икрой; студень из севрюги и, — все сходится, мой скромный завтрак. Смог побриться.

21 февр, 2

Ну и что? Через полчаса — 22 февр, 2.

22 февр, 2

Сегодня рванули рану; поменьше. Тяжело проходят зимние месяцы. По ТВ:

Играет образцово-показательный оркестр комендатуры Московского Кремля.

Щупаю голову. Волосы в сохранности.

Больной — непрестижный тип. Сварил суп со свежей грудинкой, говяжьей. Чистый суп, многовато лука.

Господи, взгляни на меня!

1 март, 2

Льет отовсюду, — третий день.

Лед тает, но не слякоть, а ледяная скользь.

Внизу — все падают. Все дышат ртом. Взглянешь в окно, ждешь луны, а там сверкает топор!

Кто заинтересуется моей жизнью, тот уж не найдет меня.

По ТВ: самое страшное в цирке — детей нет.

Утречко, 1 марта — 1-й час Дракона 1-го дня Дракона 1-го месяца Дракона.

9 март, 2

Скажи, что тут еще ликера нет.

Штаны б зашить. Но лежу без штанов, а встану к окну — ну, и кто видит? Завтра зашью.

Торфа нет, топим воду шоколадом.

У кого яркие глаза? Осмотрись — ни у кого. Тусклые у всех.

Аве-Аведь; сказала — был бред. Вопрос:

— А Вы что, грек?

— Нет, я только говорю по-древнегречески, все время, как дурак!

— А ведь Вы и по-другому можете?

— Не могу.

10 март, 2

Солнце — как улица!

Почему в книгах любят ночью? Потому что днем и смотреть-то друг на друга противно.

Омерзенко и Отрицаило — ковбои.

Синичка свистит; в ухе.

Мылся хной. Терпи, терпи. Из кухни пахнет ей и ой — свежей жареной свининой. Галлюцинации нюха. Я терплю. Тело тиранит, мое, родное. Говорят, я похудел в больнице на 30 кг. Может, это слухи, и это — не 30 кг, а 30 г?

11 март, 2

Одно к одному!

По ТВ, из ВНИИРГЖ (куриц выводят), диктор:

— Курам предложили сбалансированное питание и искусственно регулируемый световой день. Путем тщательной селекции. Она стала очень нервной и чувствительной, любые нагрузки приводят ее в состояние стресса.

Как обо мне.

Всю ночь — бенедиктин.

Не малага, не портвейн, не констанция де кло, вино цвета луковой кожицы, слегка пережженное, со сладковатым букетом, — бенедиктин снился.

У моей простой кровати с геральдической спинкой — сидели: Архелай, Альберт Великий, Люлль, Арно де Вилланова — доктора каббалы и оккультных наук. Пред ними — стояла: бутылка! — темно-зелень, брюхастая, с печатью из красного воска, на нем — три серебряных митры на лазоревом фоне, она — прикреплена к горлышку, как булла,

свинцовыми связками с ярлыком, на нем на пожелтевшей и будто б выцветшей бумаге по-латыни:

лигуор монахорум бенедиктинорум Аббативе Фискавензис

Под аббатской одеждой с меткой крест и церковные инициалы, сдавленной пергаментом и лигатурами, как хартиями, дремлет шафранного цвета — ликер. Он издавал аромат дегтя и синего зверобоя, смешанный с морскими травами, иод и бром, и смягченный рафинадом (несладким).

8 апр, 2

Завтрак — каша жемчужная (перловка!), бутерброд с зеленым луком.

День начинается с ночи.

Ходят в жути эти сночи, я смотрю на жизнь, как на цепь сумасшедших среди безмолвия.

Всю ночь сидела женщина, черная, как буря, — Марья, по-моему. Сидела в ванне, воя, с ластами. Сказала Мария, что в ванне у нее эротизма более, чем на кровати. Я ответил:

— Человек несет себя, где бы он ни был, и ложь свою несет с собою.

Мария вынула свистульку, маленькую, утку, белую, алебастровую, а нос у свистульки красный, на левом плече мишень, кружочек с дырочкой. У утки сердце — слева?

Мария чешет волосы с 9.00 утра. Сейчас. 24.00. Пятнадцать часов прошло, а не расчесала и половины.

20 апр, 2

Снег. Большой и белый, идет.

Снега нет, растаял. Пиши, пиши.

Блюдо: картофель, тушеный с луковицей, круглый перец, горбуша в банке. Живется по-своему.

Уж полдень!

Сидеть в комнате, днюя, и писать, что в окне, — не Шекспир ли я? Купить золотое перо, у машинки стук по строчкам, звонок у нее заумный.

Мысли:

1. мир устрашающе юн и стар, нет середины

2. юноша принес в подоле ребенка, — мир меняется

3. от мужчины до женщины — один шаг

Ум мой, как у «Таймс»!

В окне бежит собака, голова по-рыбьи болтается меж ног; вот выпал язык, не подняла, бежит далее.

Был хороший чай, и ел мороженое палочкой, как японец.

В раю будут люди неизвестные, а в аду известные. Потому что — первое известие о человеке — его грех.

— Еще не повесился? — спрашивает Бог.

— Нет еще, — отвечают трое: Каин, Иуда и Брут.

И Бог говорит:

Так что ж ты медлишь?

Если любовь к людям свойство авантюристов в политике, то жертвенность — это уж дело отпетых негодяев.

Заходил Саша Пивенштейн, мясник, сказал:

— Помоги нести меч в ночь!

Я не согласился, болен. Он заявил, что он раввин, еврей, и душа его как меч. Я сказал:

— Раввин — священнослужитель, а не еврей. А ты — мясник, и твой меч мясной.

Но он:

— Еврей — выше всех, високосный, потому его и бьют. Вот я лягу в лужу, как раб-римс,— сказал он,— лежачего не бьют.

— Почему ж не бьют? — возразил я.— Если гад лежачий, ползучий.

Я помылся. Когда я моюсь, в ванне все у меня как у красивого человека. У всех в жизни очень много евреев.

Снял книгу на инглиш, раскрыл наугад:

— Коварная насмешливость британского правительства ни в чем не выражалась так ясно, как в одной особенности нашего содержания: нас брили всего лишь дважды на неделе. Можно ли придумать большее унижение для человека?

30 апр, 2

Входит в моду бархат.

В ванне девушка, в малиновом берете, бархатном. Сидит под сенью берета, это медсестра, оказывается, она перевязывает.

Я вхожу и смотрю, как снайпер на птицу. Я смотрю на губы, чтоб пригубить. Наши губы — как два сердца, красных, прижатые друг к другу. От пыла обмахиваются малиновым беретом.

Переключил программу. В Америке ежедневно бастует только один человек — специальный корреспондент советского телевидения.

Прилег.

1 май, 2

Что дал день? — Ошибку, не верь: то, что нарисовано в виде Бога с ребенком,— еще не Бог. Это краска. Не путай и не ругай художника.

День идет к центру. Съел салат с рыбой (рыбкой), сырник.

Есть нечего, а хотелось бы. Сварю сосиски.

И вчера не ел. А не поем — буду смотреть на ров с водой, вдруг овечка выскочит, на огоньке вертеться? Я ел бы баранину. Мне видится карп, увешанный золотыми монетами; и сковорода — видимая. Мне мнится мясник-антисемит с секирой на плече, а еще когда от тяжести рыбины рука опускается, как от утоленной любви (сексуальной).

Варю вермишель.

Не хочу я гуся в мармеладе, я хочу простую кефаль в ручьях, белые грибы из лесу, как розы, под елочками, Бог разводит.

В ванной у женщин глаза золотятся, как у близнецов.

5 май, 2

Скала стоит в квадратах, как таблица Менделеева; пустует. Скоро заселят элементами.

По тучам идет свинья. Из лужи торчит перископ подводной лодки. У лужи ребенок в гипсовых сапогах, и песок, как свекольник.

Скала — Константинополь, в белом блеске.

Солнце вышло в 20.30, а откуда, никто не ищет, классицизм.

Я выхожу в полном блеске, плоские ногти, на ту дорогу, где путь лежит к сердцу. Парус,— ну их на шхуну! Всех этих хеттов и женщин.

Я как цветок распускаю чашу, становлюсь электрическим.

Аве-Аведь говорит, у меня грубая психика, хоть память энциклопедична.

Я говорю:

— Вы судите правдиво, но сделайте скидку на возраст.

Аве-Аведь с озлоблением:

— У Вас нет возраста! По виду Вам сто лет, а ведь Вы развратничаете, как сто молодых бегемотов. Вы растляете женщин в соку! Вы губите всех подряд. Вы ванну превратили в Нил!

Женская логика, она считает, что много женщин в ванне — это психическая неполноценность. Ошибочно.

Аве-Аведь, психоаналитик вечерних кровей. В рисунке ее тела красоты нет, одето оно. Полноты в ней маловато и тысяча плоскостей. Ум — как у мухи, жесток.

Не води невод, а омой двигатели рук и ног.

9 май, 2

По ТВ то солдаты, то колосья; скоро война.

А потом по ТВ говорят «кара-колпак», и ничего не показывают. Читаю книгу «Мозг и алкоголь».

— В ядрах варолиева моста — распространенный кариоцитоз и нейронофагия.

Сильно сказано. И страшит.

Далее:

— Структура нейронов черной субстанции колебалась от случая к случаю.

Художественно.

Черная субстанция, гибель всех клеток и таинственные тени мести. Липофусцин — кто это? Если б я пил, то перепугался б... Если рожденный в год Крысы боится крыс, это — самобоязнь.

Н. Федоров пишет:

— Самоосуждение — начало приготовления к Воскресению.

Значит, у меня началось с самоосуждения. Когда-то. Иначе б я не воскрес.

Я много читаю, ни к чему. Много читать — усталость для тела.

Пойду, лягу.

Денек! Я маюсь то в комнате, то на кухне. Взял помаду, нарисовал женские губы на стекле и запечатлел на них страстный поцелуй. А потом смысл это.

По ТВ солдаты поют, от полнокровия.

14 май, 2

Всю ночь снились латинские надписи и что я примпил.

Примпил — командир первой центурии первого манипула первой когорты в легионе, он главный начальник триариев, самых опытных, не моложе 45 лет — солдат, которые в бою находятся в третьей шеренге. Когда перебьют новичков и уже мнут молодых, третья шеренга, как один, — делает шаг вперед и, сотрясая землю, кричит: — Здесь триарии!

Кто не знает этот крик, и мир пятится, пораженный... звоном голосов и шагом ветеранов.

Во сне же — дают мне высшую награду Хаста Пура, копьё без железного наконечника и муральную корону, — за храбрость. Мурус — стена, это дают тому, кто первый вошел на стену, вражью. Корона муралис украшена зубцами той же формы, как у зубцов стен, с нее рисовали королевские короны Средневековья (1518—1917).

Во сне же: император Веспасиан шел с бревном на спине. Сон подтвердит запись Светония: «Приступив к восстановлению Капитолия, Веспасиан первый своими руками начал расчищать обломки и выносить их на собственной спине». Это было в субботу 1 юл, 71.

Во сне же — бродил по Северному Кладбищу, ища, где я и кто же?

Надписи на могилах:

«Императору Адриану, который первый и единственный из всех императоров, отменив долг императорской казне в сумме 900 млн сестерциев, превзошел и современников, и их потомков, которые будут жить от щедрости».

Еще надпись...

Речь о Каракалле, любителе бань. Прапрадед его Адриан подарил римскому народу свободу от долгов ценой в 900 000 000 сестерциев, что в нынешней сумме нечто вроде триллиона долларов, а праправнуку Каракалле народ пожертвовал 2400 злотых, да и то убив его.

Иду, читаю. Второй камень Каракалле: «...дорогу, ранее бесполезно вымощенную и пришедшую в негодность, на свои средства вымостил новым твердым камнем, чтобы она была прочной для едущих по ней». А его считали извергом; видимо, потому, что часто мылся.

От горчичников — гул в ушах, оркестры. Или же от голода. Ел пудинг из пшеничной каши с черноплодной рябиной. Вкусная гадость. Нельзя включать ТВ, чуть что — поют. Или говорят на всю громкость бабы с зубами.

Вон родословная Каракаллы — сколько имен, сколько сестерций. А я?

22 май, 2

В окне, внизу — школьник. В цистерне — свежие газеты для обертки. Медсестра Лылова обернула в свежие газеты и облепила горчичниками. Я пел, как павлин:

— Жили-были три китайца:

Гуднайтик,
Зибенахтиг,
Бенаматик
и их папа Гийевик.

И больше ни слова.

25 май, 2

В окне, внизу — школьницы играют в классы, а на устах у них печать гибели. На цистерне зажегся неон:

НИКТО НИКОМУ НЕ НУЖЕН — ПРИПЕВ С ПЯТЬЮ Н.

В цилиндрической вазе — нарциссы, снего-белые. Кто-то купил японскую шкатулку, пуговичную. Купили: легкий портфель и туфли, полусапожки, зимние.

Я рад.

В зеркале я похож на военнопленного, высший офицерский состав, красив, куда ни глянь; тело в зените ума.

Вдел ножку в сапожку, взял портфель и пошел в ванную, из ванной в уборную, из уборной на кухню, а на столе в керамической кружке — пять роз, колючие, сволочи, прелестные, бархат бордо, винные, бордосские! К ним бы шпагу и крест серебряный. Они не опадают, а засыхают, изящен рисунок засохшей розы, и цвет изысканный у нее, у сухой. О свежей и речи нет! Король Альберт, изобретатель сонета, писал: — Роза — жезл женщин! — И это был смелый комплимент.

Прошел я коридором своим по вьетнамской циновке в комнату сквозь стеклянную дверь, а на полу две девы, посланницы дьявола, сидят, чешут волосы, как совы, как бешеные. Только гребни свистят, как весла.

По ТВ показывают вице-президента АНРФИ, вид у него смысленный. Он говорит, что у чехов ничего не взять, кроме Чехословакии, эфиопы в сифилисе, как сильфиды. — Чего ты, чего ты? — пугается диктор. А президент: — Нет плаща у меня, вот и ругаюсь, как друг.

Купят ему плащ.

У пионов лепестки опали, огромны. Хожу босой.

Рабыни И говорят о растенье малолетних детей, это модно. А есть ли дети многолетние? Или это травы?

Продают алмазы. Готовимся к борьбе. Ни одну рабыню без алмаза в мочке не пушу. А на обуви пусть носит рубины вместо шнурков с железными наконечниками.

Настала ночь.

В ванную вместо полотенца взял зеркало, без рамы. Зеркалом и вытирался, гладным и сексуальным. В космосе взошла звезда Альдебаран — сердце Быка.

По ТВ: Кладбище Северное — излюбленное место отдыха рабов-римсов. Никто не должен спать на широкой кровати — разболтается.

Всю ночь опять снились надписи.

К примеру:

— Секундин, лекарь мулов, соорудил себе вечный дом.

— Марк Огульный Руфион, вольноотпущенник Марка, находится здесь и нет его здесь.

— Луций Цецилий Флор, вольноотпущенник... прожил 16 лет и 7 месяцев. Кто здесь справит малую или большую нужду, пусть на того разгневаются боги всевышние и подземные.

— ...Юлии Рестуты несчастнейшей, убитой в десятилетнем возрасте из-за украшений. Юлий Рестут и Стация Пудентилла, родители. Над цистерной зажегся неон:

— **ОБЪЯВЛЕНИЕ. В ШКОЛЕ № 177 ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В НУЛЕВОЙ КЛАСС — НА 01.09.02 ДОЛЖНО БЫТЬ НЕПОЛНЫХ 6 ЛЕТ, СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ШЕСТИЛЕТОК СОСТОИТСЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ.**

Квиндецемвир — член коллегии пятнадцати жрецов по священнодействиям и хранению сивиллиных книг. Я — квиндецемвир.

Все книги не накопишь и не напишешь.

По ТВ: генералы и штатские поют в хоре, стоя. Рты громадны. О чем они поют?

2 юн, 2

Чудесный день. Хоронили Ингваря Кузоева, труп несли. На Северном Кладбище золотой юн, светлые птицы, много солдат, караул, студентки в касках. Хорошо у них.

Умер Ингварь Кузоев — Император, художественный руководитель РФИ. Его несут вперед ступнями по ТВ, ноги, как у гимнаста, в кровоподтеках, еще бы — 97 лет шел к смерти, бежал со скоростью рыси во главе легионов.

Лучше, чем наяву — на кладбище. У входа скульптура Родина-мать, изображение женщины из камня, образ римского рода. На лице полные губы, боевые, в глаза вставлены лампочки, чтоб видеть в ночи. Высота 98 м, вес 590 000 тонн.

Гремит траурный рог. В могилу кидают зѐмли рабыни, молодые и заплаканные. Гроб не швырнули, а опустили на боевых ремнях.

Во время грома и труб мы сидели в ванне с женщиной в синем, свеча горела.

Мы бросились к ТВ: хоронят Ингваря Кузоева, речей уж нет, да похороны и так сами за себя говорят. Женский оркестр, духовой, со стабильными трубами во рту играл музыку, гремящую. Все встали в круг, взявшись за руки. И мы встали с женщиной в синей вуалетке.

Пели: — О те, кто потерял тебя в пути!

По ТВ показывали и широкий план, я обратил внимание на могилы, понравились: стоят рядами лохани из цемента, в них кости плавают, из крематория. Я спросил, можно взять на память, не берут, кладовых нет. На Кладбище Северном лежит 5 млрд. трупов, не смешиваясь. Ассимиляции костей здесь нет.

Деревья спилили, стоят портреты Императоров. Чайки садятся, клюют. Что? Им виднее, они с моря. На портретах сидят по три пестрых вороны, этим не удивишь и живых.

На могилу Императора ставят бетонный бюст, прощальная песнь: — До свиданья, Ингварь, до свиданья!

Пришли танки и разогнали толпу плачущих навзрыд.

А потом — по ТВ:

Молодой негр боксер с римсом бились в бокс. Римс ранен в нос, а негр никак не добьет, ибо добр он. В таком темпе даже мух не бьют. Негр из Венеции, потомок Отелло, что ли? Мнятся мне всюду потомки, ибо безроден, беспамятлив. Нет, он из Венесуэллы (на майке надпись). Ничей он не потомок. Зовут Поль Езус. А раба-римса Александр. Оба мальчишки, но большие. Победил наш... Почему? На ринге опять двое: негр и не негр. Но эти — живые, резкие ребята. Негр только с волосами негритянскими, а морда и бедра белые. Забавно: римс наступает, изо всех сил вертя руками, а негр отступает. Но негр этого вертиручку — бьет. Гарсиа Карлос, испанский негр с белой кровью, Куба. А белый, битый, полуримс, югослав. Пузонч Мирко. Негр мне милей, хоть он и не негр; вон ему морду губкой скребит, как коню. Потом поднимают руку: Карлос с Кубы побил Мирка с юга.

На ринге двое белых. Не разберешь, кто-кто. Оба звери, угловаты. Все в нос друг другу бьют снизу. Носам не позавидуешь с клецкой. Первый № 832, а второй № 336. Заключение. Номера тюрем носят на майке. № 832 — зверюга, но и № 336 сопротивляется.

№ 832 — Кошкин, СССР. Худы дела № 366. Страшно бьет его этот Кошкин, с двух сторон у рта усики. Побил. А кто ж № 336? Пишущая машинка работает во всю мощь. Земля крутится вокруг пальца. Сюжет 2 юн, 2 завершен: похороны Императора и бокс.

Остается отметить: какой свекольник, на три С, с зеленым луком и яйцом. Со сметаной. Сейчас буду есть уху из мороженого окуня.

5 юн, 2

Цистерну раскрыли, дают кости, — с чьей-то груди сняли мясо и дают ребра с пленкой. Грудинка? — смело и модно, но более похоже на решетку в психбольнице, со стеклами вместо мяса.

Толпа женщин, берут решетку двумя руками, обезмясненные кости животного, м. б. от громадных лебедей до н. э.? Не знаю, что несут. Дают за деньги, мужчин нет, значит, это любимое женское блюдо, что-то вкусное, если в тесноте стоят и тащат домой на поднятых руках. Берут ребра! В небе белые нарциссы и желтый тюльпан.

По ТВ хор рахитов поет:

— Бросай свое тело, в поход собирайся! — марш мертвых душ.

Наполеон Бонапарт, стрелок по врагу, перед стрельбой из мортиры пересчитывал ядра в ящиках. А у певцов за плечами Артиллерийская Академия, с дипломом. Радуют душу — после войн тел не остается. А души? — о да, души, в них вновь разовьется генетика.

Я надену новую рубашку, а на день рождения — чистую, в тот день они уничтожат меня исподтишка.

О Ф. М. Достоевском я скажу одно — это Монте-Кристо со всей гадостью душевной, римской, гений пера.

7 юн, 2

Я найду чистое слово.

Проснулся Муж человеческий — я. Ночь, ночь, кормилица тел, а день — транжир. Ночь ушла, я умыт мылом МД; как в тучах, звеня под одеялами, встречаю мэтра из ремонтников пишущих машинок. Саул Рижик, раб-римс, ирландец. Руки трясутся — от утренней свежести. Я пощупал стекло. Неужто холод 5 юн, аж до дрожи? Стекло горячее. Я измерил температуру — 37,7. От такой стекло не раскалится. Работать С. Рижик не мог, руки деть некуда. Я принес электрокамин, зажег спирали. Он отодвинулся. Тепла нет.

— Иного тепла нет, — сказал я.

— Ну да, нет! Есть! Есть!

Дежурит сестра Натэла. Двумя руками она внесла большой-таки стакан с водой (по виду — вода!) и дала в рот С. Рижикю. Долго ему вливали.

— Закусить? — сказал С. Рижик угрожающе. Натэла полезла в молитвенник искать рецепт свекольника. Он уж вынул нож.

Он утер рот и всадил нож в машинку. Не до диеты!

Долго он ломал механизм. Ломая же, ел манную кашу с вареньем из стальной банки — мой обед. Недаром всю ночь мне снилась милицейская машина и в ней милиционеры.

Наконец машинка заработала, и Саул Рижик пошел под стражу.

9 юн, 2

«Человек состоит из мельчайших частиц, из них же состоит и горная гряда, и лес, и вода. Почему он одушевлен, а они — нет? И они движутся.

Мертвая вода будет лежать в земле и разлагаться, а она бежит, журчит, поит все земное — чем? мертвечиной? Нет, вода, жива и живет куда больше, чем человек.

Камни тоже кормят минералом, но большей частью они стоят. Если б они были мертвы, стали б они стоять в домах? Не стали б, у них же распад. Ребенок с годами обрастает клетками, скелет крепнет, мясо толстеет, и это есть возраст, он достигает расцвета сил. Пик. И вот идет распад клеток, и человек умирает от их разъединения.

Это нормально.

Но о насильственной смерти.

Все частицы организма налажены и работают, и вдруг в грудь бьет пуля. Она пробивает насквозь грудь и сердце и пролетает в дальнейший путь. А человек убит. Это неестественно.

Это нематериально.

То есть, это доказывает отсутствие материальной смерти. Объяснимся.

Многие миллионы частиц живут дружно и работают вместе в одной системе. Попадает пуля, вырывает несколько десятков, уничтожает, — и весь организм распадается в один миг! Что ж связывало, что склеивало миллионы все время, если вдруг пуля в одну секунду уничтожает — что? материю? — но так мало, а что же — клей? Весь клей жизни во всем необъятном теле?

То есть, пуля убивает не сердце как таковое, материальное, а весь клей, стекающийся к сердцу, его мы можем назвать как хотим: соки жизни, клей для клеток, жизненная энергия и т. д. Но мы знаем, что это нематериально. Этот «клей» — не кость, не мясо, не кровь, не лимфа, не нервы и т. д. — а это то, что держит все элементы в состоянии равновесия, то есть в жизни. Раз человек распадается вдруг и тотчас же, теряя все, значит, только это было импульсом мысли и двигателем членов».

Потом я продолжу.

Розы после смерти цветут. Человек после смерти не цветет. Ногти растут, волосы, но это не цветы. Некоторые после смерти живут, но это в веках. Или как я, но это искусственно, химия и нож — весь возврат в мир. А как я живу? — сплю сидя, ладошки вверх.

По ТВ:

Сидят на стульях люди в возрасте, но без корон. Наши императоры похожи на народ — они незаметны, то сидят на стульях по ТВ, то висят на стенках головой вверх на фотографиях, лица у них в целлофане.

Продолжаю.

«Люди любят жизнь на плоскости. Она такая и есть — тот отрезок жизни, проходимый, выгибается вверх, но так незаметно и необязатель-

но, что по сути это умозрительная хорда сойдет на плоскость. Почему ж человек, живущий на плоской и скудной Земле, вообразит, что он живет на некоем роскошном шаре?

Да и книги, они рождаются в пространстве, а пишутся на плоскости. Даже самые шаровидные из книг — плоски. Книга — существо времени, одна из частиц сути, но не вся суть. Но в ней много мастерства, а без мастерства сути нет. Вот почему государства, где позволили убить мастеров, дурачат низшие касты дна — рабы».

В окне горит созвездие Телец — с апреля! — и мне кажется, оно мое. А в нем звезда 1-й величины, желтоватооранжевый Альдебаран, бог навигации, космический лоцман. Это я был бы — если б вспомнить. Не помнится. Не вспомнить мне свой путь с жизнью. Хотя я помню ж, что в созвездии Телец (Я!) есть некая крабовидная туманность, это остатки сверхновой звезды, вспыхнувшей в 1054 г. Мои уши остры, ведь помню: это — священный бык Апис. Что я есть сила, созидающая силу, что это мой фаллос создал всех животноподобных, и все ж! —

Почему ж я иду в ванну, и там женщина лежит, как блестящая торпеда, я раскрыл перед ней холодильник и она пила алкогольные напитки, белые и слащавые. И глаза у нее неалкоголизованные, как магнитные волны, и противный рот. Не божественна она.

— Самое главное в любви, — сказал хирург Г. Рурих, обучая меня, — это ни на минутку не забывать, что горячо любимая тобою женщина есть блудь.

Чай индийский, 1-й сорт: голубой слон, на нем жокей в голубой чалме, в красной куртке, тут же минареты, все это на желтом фоне, — красивая коробочка. А чай, как ячмень, пивной какой-то.

Как бы мне отремонтироваться? Перекроить бы зашитый живот... и вспомнить о себе. Я не любопытен, не вспомнится.

Вспоминаются отдельные слова, из словаря: плаководец. Кто он? Тот, кто видит плачущих, а не плачется. Тут же напрашивается: плаховодец. Ведущий всех на плаху.

Я ел щук. А теперь они не плавают, то ли перевелись, то ли пишут Красную Книгу, как я — эту.

Спрошу в ванне ту, торпедистку:

— Кто ты? Ты-то хоть помнишь, кто ты?

— Я — биохимик НИИ разведения сельскохозяйственных животных.

— Как ты сюда проникла?

— Я еху мимо на службу и зашла к Вам в ванну.

— Вместо службы?

— Нет, со службы. Нельзя не зайти к Вам, проезжая мимо.

— Но многие не заходят! — возразил я.

— Они останутся без судьбы.

— А ты нашла здесь судьбу?

— Я нашла.

— А как тебя зовут?

— Мое имя Вам ничего не скажет.

— А мое имя?

Она посмотрела на меня, как в посмертный список, и заплакала. А я закрыл дверь, пошел пить чай. На кухне все белое, как в реанимационной, шкафчики висят рядами, холодильник источает холода, еды нет. Все идут в ванную найти судьбу, о пище не думают. Над столом висит фарфоровая люстра со стеклянными папильотками, зелененькими, она мило светит на стол, а на столе в миске лежит цыпленок,дохлый, конечно же, съедобный, если его обжарить на огне.

Открываю дверь в ванную:

— А что ты делаешь в своем сельскохозяйственном животноводстве? Цыплят не жарить на огне?

— Я животных не мучаю. Я исследую молоко и пью его.

Молока нет. Никто не принес. Да мне и нельзя пить на поджелудочную железу, и ее резали нещадно, долго, как шею пилили Людовику и как ломиком били под коленки Николаю. Тех-то я помню. И еще: как наклоняется врач и колет иглой в лоб, не страшно, но необычно. Почему? Ведь разрублен живот, лоб цел. А живот стал толст, шарообразен сильно, но физиономия нетолстая, видно, что были тонкие черты, без мяса. Глаза тоже тогда я видел — один как конь, другой как лань, в одной тележке бегают исподлобья. Ведь глаза — это зеркало души лишь у душевнобольных. Остальные делают их такими, как хотят. Самые умные глаза у тупиц.

Хирург Г. Рурих говорит, что живот защит и зажил, в нем все есть. И еще: что женщин мне многовато. Я этого не нахожу.

— Ты спелся с психопуткой! — отвечаю я.

Но он:

— Береги себя, позволяй х... все же болтаться, а то он у тебя все стоит и стоит. Какой бы эвфемизм выдумать тебе для х...? — размечтался хирург Г. Рурих, — чтоб ты и в живой речи не ругался и в книгу б про х... с нравственностью писал.

— Пусть х... останется х..., — говорю я, — если уже ты пишешь о х..., то не называй его по латыни, а то люди х... знает что о нем подумают. А на х...? Все, что есть еще во мне, нужно называть своими именами, а х... - х...

Ничего нет вкусней на свете, чем щучья уха и черный сухарь к ней! и тут вспомнишь Кенигсберг и Канта с его идеей называть вещи своими именами, интересно, как бы он назвал меня?

17 юн, 2

В пруду плавают уточки и селезни.

И селезни — лоснятся от корма, молодые, негодяи, сильные, славные! Пожить бы еще немного у пруда... И чайки!

И голубь, посмотрелся на утку-чаек и над прудом взвывает толстый хвост, как утка, как чайка, — о, обезьяний образ!.. Хорошо, у пруда нет скамеек и нет детей. Построят скамейки, придут дети, и уйдут птицы, и пруд будет без волн. Опошлят тополию. А сейчас она идет цветным пухом, как лебедь.

В синем небе глаза у коз и цветов. Женщина в жестком пальто несет нарциссы. И они в небе, в голубоватой, стеклянной воде увяли, цвет грязный, газетный. Пасмурно.

Молния блистает в глазу. Подошел к зеркалу, посмотрел в окно в небо — и там! Кто-то стучит в дверь, кричу ДА, никто не входит, а стучит. Открываю дверь ванной — никого нет. Смотрю в окно — стук и по нему. Гром это.

Капли по стеклу, как по фото пленке; все цветно-цветным. Ясно над домами, в молниях, вьются они и в пруду. В гранитной воде ныряют птицы. Э, я люблю эту шумиху. Может быть, от электричества, но в грозу не тошнит. Схватит дождь, если выйти. Вот выйду — и дождь нахлынет. А вы — воспоминания...

... По утрам я одеваюсь. Сам. Слуги спят. Их не тревожу. Семь желтых ромашек в синей вазе!

19 юн, 2

На рынке редиска 8 млн. иен пучок, но зато что ни штучка, 7 штук-чек купили, теперь свекольник с редиской.

Было 7 ромашек, я не заметил еще бутоны, 5, они распустились к вечеру (21.20). Еще молоденькие перышки чеснока в свекольник. Можно ль научить ходить льва по проволоке с зонтиком и розой в руках, как по ТВ? Можно.

Свежие простыни пахнут свежей рыбой и свежим же пивом.

Аве-Аведь ходит по комнате, щиплет траву. Сосет из трубочки сок из батарей парового отопления.

Я — тот, кто живет тем, что записывает, просыпаясь и т. д. и засыпая — что было за день? Вообще — что было, не с ним. К примеру: А.—А. ушла, А.—А. пасется. Я не боюсь, что и это — иллюзия?

По ТВ:

Пожилой уж художник М. М. Дубиноид рисует мясорубку, торчат человеческие руки вверх, называется «Апартеид давит». Лысый вьетнамец, тоже живописец, показывает картон: 3 голубя летят в неизвестность из дали в даль. Надпись: «Равенство». Дети в шляпах с римскими лицами на свободе, а дети без шляп с иностранными лицами за колючей проволокой. Надпись: «Детям нужен мир». И много, много рисунков о будущем.

У всех одно будущее — смерть. У всего сущего. Иного будущего ни у кого нет. Что ж так страстно стремятся к будущему целые народы и страны? Что им не терпится здесь, на земле?

Некуда себя деть. Ну и что ж — хожу по углам под молниями. Я — опиум для народа. О чем бормочет человечество?

19 юн, 2

Помылся, как помолился. Вчера свекольник был — редис, чеснок в стрелках, зеленый лук, а сегодня еще и колбаса, яйцо выпуклое. Кто-то принес скворешник для орла, антикварный. Называется аптечка. Кто прилетит, устроит в аптечке дом?

Прочитал в книге: «Он не пил ничего, кроме простой и чистой воды». Ничего себе ничего, где взять простую, чистую? Желтая ржавчина идет каплями в суп. Дальше автор пишет не о воде, по-моему, а о себе: «Как я пил, эту героинку горя знают лишь я и Господь Бог. Я ставлю себя на первое место, потому что мне досталось больше». Рассудительный. И тут же в книге приписка от руки: «РОД и РОК, читай наоборот — КОРИДОР».

Щека болит, за ней жив зуб, он не увеличивается, можно побриться. Побрился. Если зуб зайдет, я знаю, где зубодробилка. Вырвут они все, что еще есть во рту.

Опухоль сама по себе не спадает, бывают случаи синильного психоза. Будем надеяться на лучшее — вырвут, это он горел в больнице, как кинжал, во рту. Вырвут, как вырвет сердце для народа молдавский революционер, как вырвет кочан капусты из горной гряды ночной вор-цыган и побежит варить в воде с кипятком, в костре, в луне. И оживится чело вора, когда в котле накопится пар, станет он есть сладкие стебли, говоря так:

— Сама по себе материя мертва, но проявление ее, энергия — божественного происхождения.

Но кроме кинжала во рту, какие были фрукты в больнице, как груши! А какие кошмары! Почему в кошмарах преследуют не львы, не слоны, не орлы, а — крысы! Потому что крысы не дарвинисты.

Не нравятся мне люди.

Идет море дождя. Всю ночь, всю ночь!

20 юн, 2

Я встану рано, в 11 час. Встал.

Я встал, сел в стул. Годы мои, воды мои, — утекающие.

В окне — чьи-то глаза, как из-за угла, психопатические.

Болеть — это значит быть умным, учиться. Я и учусь, с Ю. Буква Ю важнейшая исторически, но мало изученная в алфавите. В слове Юбка что-то маньчжурское. Это маньчжуры Темуджина распространили юбки. Юла — осиное гнездо врагов по-римски, Юлий Цезарь — месяц лета. ЮАР — исконно римские земли. Юрий и Юсуп — основатели Москвы.

А какие в римском языке гениальные слова:

— Взвизгнется!

Или уже известное:

— Восторжествовать!

А ругательства, куда лучше явных:

— Ну их на кол!

— Ну их на ух!

Ингаляция: над кипящей капустой я дышу, а в ней вертится мята и трава дуралей, что ли. Запах приятный, а пар неприятный. Скоро я напишу про Аве-Аведь. Это мужчина.

22 юн, 2

Нет людей в душе.

Дежурная мед'с Метеа гремит утюгом. Сделав кислый укол, и сходит с меня, как с трона, жду, уйдет. О нет.

Три мака в вазе, а листки елочные, колючие.

Метеа садится ко мне:

— Погладь меня по голове. Я хочу.

Я глажу.

— Погладь хорошенько.

Я беру утюг и ставлю на плиту.

— Тепленько погладь. Лучше!

Я беру раскаленный утюг и глажу. По голове. Ей удовольствие. Смотрит милоство. Я дарю ей сюртук...

Тем временем она с балкона, плачет, без сюртука:

— Их бы в самую высокую тюрьму, в самую низкую яму!

— Кого — их?

— Воров. Все упрут, и сюртук, и воздушный замок, и дождь с балкона в лохани стащат, для питьевой воды. Придется Вам пить непитьевую воду. Водку будете?

— Что лежит в основе алкоголизма? — спрашиваю я.

— Существует мнение определенной группы врачей, что в организме каждого человека есть алкоголь, как, скажем, сахар, кислоты, соль и т. д. Когда содержание алкоголя в организме недостаточно, возникает жажда выпить водки. Двое из пяти злоупотребляющие спиртным будут алкоголиками.

— Куда ж денутся трое?

— Трое продолжают пить как ни в чем не бывало. Они подвергаются соблазну. Каждый из них — это потерянный для общества человек, утраченный раб, часто способный. Появление алкоголика в стране — тяжелое горе, страдание.

— А нет лечения алкоголизма?

— Методы есть, чудес нет. Лечение алкоголиков — дело не врачей.

— Может быть, и лечение меня — не их дело, вон повырезали все изнутри.

— Вас врачи не лечат. К Вам приставлен один невропат, да и то психопутка.

Ваша врач интересуется, что Вы пишете на столе — вензель, инициалы, геральдический знак? Она ж и сама пишет.

— Верлибры?

— Досье. На Вас. Это Медицинская Карта. Но Внутренних Дел.

— Что это?

— Аббревиатура. МВД — Мир Внутренних Дел, НИИ по изучению внутреннего мира.

— Всех изучают?

— Всех. Но досье на особо опасных. Собственно, только на НЛО.

— Это я? Ведь я — неопознан.

— Это Вы.

— Почему я летающий?

— Летальный исход уже был, милый. Вы возвратились. Они думают, что Вы не человек.

— Кто ж?

— Объект.

— И я подхожу под эти... мысли?

— Нет. И это их смущает.

— Что их смущает?

— Секс. Вы ведете себя как чистая особь, человеческая. После смерти Вы возрождаетесь, а при Вашем здоровье после смерти у вас, на их взгляд, многовато женщин.

— Их подсылают?

— Ну да! Сами идут, бегут, гребут! Не меньше двух в день, одна другой кудрявей. Если б не болезнь, Вам приписали бы сексоманию, чтобы лечить стерилизацией. Но все списано на возрождение. Посмертная жизнь путем секса. Что может быть естественнее? Вон пришла, как шелковая, легла в ванну и шипит, как таблетка. Пойдете?

— Потом. Если узнают, кто я, они что ж, убьют?

— Хуже. Дадут паспорт и пенсию.

— А если я не вспомню сам? Подскажите.

— Как я могу подсказать? Ешьте, любите, читайте Библию.

Я поел, сходил в ванну, стал читать.

Книга Эсфирь:

глава 1, стих 8: — Питье шло чинно, никто не принуждал...

глава 3, стих 15: — ... И царь и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении.

глава 5, стих 6: И сказал царь Эсфири при питье вина...

Одно и то же.

И в Новом Завете пили в ту ночь много. И тут Иисус взмолился, увидев чашу, неодолимую, и сказал вслух: — Чашу эту — мимо, отдай другому. Вообще-то у Христа много от дендизма, его лучших традиций — темность речи, выдержка одежды, посадка на осле, ученики, Марфа, Магдалина, вино с утра, Нагорная Проповедь, парадоксы и афоризмы. Это не была заря дендизма, на заре сидел Сократ, босяк, а за ним Платон, полубог.

24 юн, 2

День уйдет, останется суть дня. Суть дня сегодня:

— Шире шаг, шире шаг! — идут солдаты в белых шинелях; колонны их. Вечер, вечер, дождь в желтом.

Ряды фонарей, как ножки циркуля, чертят световые дорожки. Следы невиданных — это мои, а море вскрыто.

Самое важное — видеть и не лгать, что не видишь. В чем смысл, что орел — одиноко? Отчего живет столь высоко и не спускается ни к кому? Почему орел с орлом — не говорят? Мистика? О нет, глухота. Орлу не дан слух, почти, слабый. Его молчание — это буддизм, он — буддийский монах, одетый в красные одежды на голое тело. Орел составлен весь из твердых треугольников, у него и глаза ромбовидные, двутреугольные. Он герб чуть не всех империй и царей, потому что живых и пламенных орлов бьют подчистую, а оставляют одних рисованных.

Останутся на земле три зверя на К: крыса, курица и кошка.

Недаром и по ТВ, и в одиночку так панически фотографируют кинофильмы про все, что движется, так бывает перед крупным уничтожением: я тебя убью, но я же тебя и сфотографирую на века.

Как просто у Н. Федорова:

— Причины неродственности и смерти одни и те же, т. е. равнодушные, недостаточная любовь.

Ничего чище о жизни я не читал. Комментарий здесь глуп, всякий. И еще он сказал:

— Только цель дает смысл жизни; человеку ж нет надобности искать цель жизни, если он сознает себя сыном и смертным.

Н. Федоров, треугольный орел, трагик, перечитавший все книги мира, дошел в своей святости до простоты, живет и не шелохнется, до того живой. Рабам он неведом, а художественным руководителям со скалы — незнаком, а солдатам в белых шинелях, спроси их, ответят: кто он? уж не подводник ли фьордов, уж не капитан ли он первого ранга св. Августина Кьеркегор? Уж не тот ли он парашютист, майор-антикантианец, который скрестил имперфект с императивом? Не он ли считал нули в баллистике у Николая Кузанца и Сквороды? Ах, это игрок в Сократа, нищий бильбаотекар, Петербуржец и неприятель Льваниколаевича, сына Микельанджело по бородистике.

Стоп.

27 юн, 2

Куда ни гляну — у белой скалы, у пруда, у тополи, на шоссе у светофора, у цистерны — всю ночь стоят по два солдата с собакой.

Ладно.

Всю ночь (тоже) под окном — двое близнецов, рыжие, бледнозеленые, за плечом по рюкзаку, стоят, запрокинув лица, и смотрят в мое окно. Если я не сплю и смотрю вниз, они смотрят вверх; они не спят никогда. Собак у них нет, костюмы лиловые, сапоги как у двух герцогов Саутгемптонских, смазанные дегтем, широкие шляпы, а на них белые шелковые ленты и надпись: «Эмигранды».

Почему буква Д в этом слове? Ошибка? Или это — два дьявола?

И загорится розовоперстая заря Эос.

Мне нужно много женщин, чтоб прийти в себя. Девы — это диалоги. А мне — шлюхи с синими шкурками на ребрах. Девки мои — матросы зари, кудрявые други! Женщины, жгущие мою собачью бессонницу! Людоядки, долгоносые дубли!

Я писал, что Аве-Аведь мужчина, говорит:

— Временами мне кажется, что я не женщина. А потом опомнюсь — да нет, женщина я. А Вы, как Вас зовут?

— Кто тебя нанял, Аве-Аведь, и на что тебе мое имя?

— Потому что Вы скрытничаете. Человек может все забыть, всех, но не себя. Он и о себе забудет, но не себя.

— Что это — себя?

— Жизнь своя.

— Дожить бы до жизни! Смотри: лист кленовый припал к стеклу, лежит вертикально, как пятерня. Книгу писать ему не хочется. Смотри: к нам идет человек с лопатой, раб первой гильдии.

— Ошибаетесь, человек с лопатой у нас означает одно: могильщик.

— Ах, Аве-Аведь, а что если тебя зовут Нюшка, что изменится?

— Шалите!

— О да. Если у женщин коленки утолщены, то это сестры. Сейчас сестры надевают на талии абажуры и ходют. Жизнь — это механизм для художника.

— Видите ль внизу море дождя?

— Лужу вижу. Ботинок живет в луже, я снял с него шнурки. Один ботинок, один, а купается, как бутуз.

Ночь светла.

20 юл, 2

У скалы — собачья будка.

Снилось, что сердце встает, ослабло, рот полуоткрыт, и стаи ночных чудовищ вылетают из книг и хозяйничают, нет слов, чтоб изгнать

их. Это уж утром человек родится, поговорит и сдохнет. Хорошо жил, добрая ты душа.

У женщин нет рас, а есть окрас.

Гулял по ванной с дамой в черном, блондинкой; мы ели лепестки роз, хрустящие. По вкусу — приятнее малосольных огурцов.

О чем же пела из уст женщина, двухцветная? О том, что чувство цвета воспитать нельзя, не зависит оно и от остроты зрения; это новая формация души.

С человека всю жизнь сходит кожа, а змея сбрасывает ее сезонно, и это считают капризом. Ненаблюдательность. Жизнь — одно из состояний, но не система метаморфоз.

Красный и белый пионы в воде. Коробок спичек, ножницы и машинка. Помылся, как поумнел. День клонится к вечеру. День чудесный, а чем? Ходит песик Мури по шоссе, римский, пегий, здороваётся лежа. Вошел в будку. Кошка Щёлка ловит сразу трех мышей, хватает в зубы за хвосты, перебрасывает через плечо и бежит в низ скалы, чтобы кормить. Я и не думал, что кошки кормят котят молодыми мышами, уже все привыкли, что из соски.

Дождь, котик сидит у собачьей будки, лапу внутрь сует. С грозой пса поздравляет! Кость в бурю принес — пососать псу?

Улитки выходят на дороги, как быки с дугой на голове и с барабанами.

Я сложил руки на закате. Открыл Библию, и сразу же:

— Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою (Эккл, гл. 4, с. 5).

Обо мне. Пойдет дождь.

Котику в дождь дают колбасы.

По ночам на скале сидят хозяева жизни. Ночью вверх лучше, чем вниз. Полночи ловил жука, чтоб выбросить.

Утром дал хирургу Г. Руриху кусок сыру. Прибежал он ко мне, кричит: — Дай есть! — ну и дал сыру.

Корова под солнцем ест.

Жить грустней, чем в графине джину. Купил калейдоскоп.

Ужин: холодная жареная телятина, отварной картофель: молодой; помидор, сырые яйца.

29 юл, 2

Двор похож на Карфаген.

В луже был ботинок, он и сегодня в ней, но без шнурка, кто-то ночью расшнуровал шнурок и унес.

Помылся, памятный день; вод-то и нет в доме — ибо дом у озера, пруда стоит. Биограф Данте честно пишет:

— Каким образом Джемма, подарившая Данте четырех детей, могла стать символом божественной мудрости, я затрудняюсь объяснить.

Розги созревают в роще (как и соловьи!).

Пруд погибает. Иссох весь, мумифицируется. Тополя трещит, листьев нет, даже дубовых. Да и не нужна тополя, сюжет с ней отжил. Гроза была чудовишно чистая, родниковая вода.

В небе ни тучки, ни точки. В пруду лодка лежит, как человек, с головой, на спине; лодка без хозяина.

Но и времена врут.

Хорошо б в кладовой открыть конюшню. Розги б я вырезал сам — из дикого шиповника, соль выпарил б в мешок из воды морской, арифметику я разработал бы слабую, щадящую, к примеру, за каждую минуту опаздания — 1 розгу. Вот Аве-Аведь, министресса здравоохранения меня, не идет уж 55 минут, — 55 розог, смоченных в соли с уксу-

сом. Это вместо ругательств. Я дам ей переодеться в одиночку, чтоб женщины ее не смущали.

Еще о женщинах. Комары кусающие — это женского пола, самки. Комары очень любят сидеть на зеркалах — женщины же.

Джонни Бурбон признавался:

— Бывает день, когда лучше надеть синий костюм. Пусть в воздухе нет синевы, а на улицах никого в синем, что-то внутри говорит: надо надеть синий костюм.

Дело не в Джонни, а в синем костюме. Я бы надел тотчас же, да нету. Я куплю, но их нет. Блекло-осенний я купил, но недостаточно дорогая ткань, не оправдывает цвет. Без синего же костюма я чувствую себя не в своей тарелке. Пошел в шкаф.

1 час. 43 мин. ночи. Много чего висит в шкафу, хоть бы синий пиджак найти и надеть. Любые штаны, лишь бы синие. Синего цвета хочу, мил мне. Я напишу эпистола Сэмюэлу Коэну, отцу нейтронной бомбы!

А в окне круги нефтяные.

Моя фигура окружена голубой мандолой, обозначающей мою божественность, принадлежность к небесному миру. Гулял, спя, по кладбищу: гробы открытые, стоит дерево, похожее на голубую лошадь. На нем висит хрустальный октаэдр, стальной. Октаэдры имеют большое будущее, хотя число 8 не по мне. Что-то в нем претенциозное, изошренное. Четные числа — антивозвышенны, под настроение. И не читай на ночь Четьи-Миней.

2 авг, 2

Не звонят в дверь, а толкутся в коридоре.

А открою дверь — бросаются, как волки, лижут руки. Я сам невзначай лизнул свою руку: соль! обе руки соленые. И пот до того просоленный, кристаллы на майке, как у коня. Конь ведь тоже вегетарианец, как я; диета. Доколе?

Жара.

Жара не дает работать.

Почему щеки симметричны? Хорошо иметь неукротимый нрав — царю. Мы кто? Мы лошади, молящиеся. Утром меркнет туман, а извне — солнце. Моюсь росой — воды нету. Испортился насос у нас. Вчера кормил фрау Эм мясом — как куру. Чем плоха вода в пруду? Тем: плавают головастики. А караси были ль? Синие мухи носят корсеты и кружевные юбки, как из кордебалета. Кто они (мухи) — мне? Все мы друг другу никто.

Где год? Ничего уж тут нет.

Сниму с колен блюдо и положу книгу.

Книга Даниила:

глава 4, стих 13: — Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.

стих 22: — Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травую будут кормить тебя, как вола... и семь времен пройдут над тобою...

Куплю хрустальный стакан: 24% плумбум, 24% силикат, остальное стекло. Запонки серебряные застегиваю на манжетах в 23.12 — закат на исходе, а запонки — горный хрусталь, вправленный в серебро, ему нужен луч луны.

Куплю и рюкзак, цвет золотой осени, блеклый.

А надо мной — темно-синее небо, как море, из чистой меди полная луна, а внизу под ней — стальная звездочка.

Холодно, в августе я чувствую себя рыбой, а до какой степени — не знаю.

Хорошо на коляске повезти б мед продавать, в бидонах, двух, по 40 л! Что останется в памяти от этого дня? Жасмин облетел внизу под

окном, жасмин облетел за день. Остались два цветка, молодых. Их принесли мне. Я их съел.

Будильник стучит сильновато.

12 авг, 2

Весь день не шла вода.

Кровь из носа пошла. Смыл слюной. Это кто-то курил, а на меня действует, я полотенце вывесил, мокрое, съедает дым табачный. Зажгу свечи, запишу. Цветок на столе повернул мордочку к лампе, я вызываю у него живейший интерес. Пахнет белым бельем. Каждую рубашку мужу — жена гладит в Заливе Слез. Внизу пьяница бьется рогами в дверь, между рогов кудри. Заботливый капитан; всех выбрасывал за борт, а корабль тонет; морс — морской напиток.

Одни боги обращаются друг к другу на ты.

Хроника Хуторов:

«Тили-тили, тесто»... Замесить тесто для первого семейного хлеба — такое свадебное задание дается невестам, а женихи в это время рубят дрова. Этот шуточный, но не без смысла ритуал совершается в местечке Юленурме. Интересная традиция родилась на острове Сааремаа. Здесь реставрируется средневековая крепость по приказу баронов — рыцарей из карьера Каарма. Небольшие по размеру молодожены торжественно закладывают в стену новобрачных.

Голубая сельдь, эмалированная! Селедку мне есть нельзя и некому отдать. Тоже тема для новеллы. Если б написать в Газете:

— Есть селедка, одна, эмалированная, и некому есть ее! — началось бы!

Простую ХБ рубашку очень оживляют изумрудные пуговицы.

Комар с ледяным спокойствием долго прокалывал кожу (мою), пока я его не убил. Я убил его. Кожу он так и не проколол. В этом нет моей заслуги.

Жизнь-то жестче все ж, чем женщины.

Жизнь жестче у женщин.

Женщина Литта Грязногого.

Моя любовь к людям достигает апогея.

На скале часы еще не бьют, их привезли на танке и подняли краном. На 9-м этаже, если смотреть с кровати, — огонь, оранжевый. Не электро, а огонь, настоящий, пламя не лампы, по балкону бегают фигуры и не поймешь, то ли они полуодеты, то ли полураздеты. Не то лунатики. Никто не стрелял.

Пламя пожара, пламя пожара!

Конечности мои, холодного копчения.

Как симпатично пахнет дыней! Дыня пахнет дыней — ах! И как невесел запах вяленой свеклы.

В некоторых районах РФИ запретили охоту на эстонцев; они расплодилось: бегают по шоссе со сверхъестественной скоростью.

По ТВ: солдат поводит бровью. Что это он?

22.40. Вода горячая в ванне. Грязная и жирная, псовая вода! Как мыться ею?

По ТВ: меццо-сопрано, итальянка, морда пропойцы.

Мы обращаемся к Богу в суете, будто Бог многосерд, многогуб, многоглаз; будто ОН всех знает.

В юности все слишком стеснительны, чтобы жить.

Почему Царь из Тысячи и одной ночи убивал наутро своих любовниц? Ответ один: он был импотентом.

Второй пример: царица Тамара бросает живых любовников в ущелье Дарьяла. Почему? Один вопрос, один ответ — фригидка. Лирик я, женоненавистник, я не топтал конем цветы.

В ванне вода смоляная.

Пламя из скалы сейчас не вырывается.

Мои лампочки ввинчивают в застольную лампу. Вот сегодня день какой-то не деньской. Грущу. Не будет больше оранжевого пламени. А может... Нет, уж поздно, не будет. Не будет из скалы огненных языков.

Пойду и повешу в ванне красное одеяло. Пошел и повесил. Жду быка. Чтоб проверить — не я ли это?

Девушка Дина Балконя принесла счастливый автобусный билет: 922355. Белая шкала оживает к ночи. В руках у сварщика звезда первой величины.

Дождь на балконе, хороший, широкий; электричество и дождь. Жара. Золотые батареи топят на убой. Бананы лежат как змеи на кухне. Голоден я.

На скале открывают часы, вспыхивают на световом табло лозунги-глаголы: ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ! ВЗВИЗГНЕТСЯ! Вниманье! — 00 часов, 07 минут, 00 секунд — МИНУТА МИНОТАВРА!

Все встают и воют.

6 авг, 2

Воспитание — это возраст и костюм. Снимем с солдата и выбросим его пули в море. Что это — солдат, у моря, в цветастых штанах на голубом заду? Если не расстреляют, то ему тут же попадетсЯ женщина, вышедшая помыть ногу в волне. Станут ли они вдвоем? Или солдат вспомнит о долге, нырнет за пулями, вынет их и швейной иглой пришьет к сапогу. А женщина? увидев солдата, уйдет ли в семью, откуда вышла на минутку, чтоб мыть ногу? Нет, они лягут и будут лгать, что он — чемпион по чаю, а она свободна от свадеб.

Чтоб жить, в каждой стране меняя костюм, одевайся заново. А ветхие одежды сними, упакуй и отошли по своему адресу. Одетый заново, ты получишь еще удовольствие и дома, по приезде — посылку, будто кто-то заботится о тебе издалека; распакуй и развесь свои ветхие одежды в шкафу, чтоб не портились в пакете.

Говорят: бездушная государственная система. Интересно, что началось бы, если б она стала душевной.

Я вижу века, а слышу стук костюмов.

Лебеди — страшные птицы; очень уж у них человеческое тело.

14 авг, 2

Свет висит.

Чай в большом бокале, как закат; на серебряной цепочке заварочный дирижаблик, блестящий.

Аннабель Уль, из Петропавловска-на-Майне. Консервы Римская закуска. Жгучая брюнетка, как черный баран. Я не ем банки из жести.

Звенел будильник.

А. У. — романтическая персона, я мог бы погибнуть.

24 сент, 2

Новую книгу начну новым пером, а эту уж доскриплю. Экклесиаст писал мемуары дум, а я встал и за стол, я сидеть не мог до июля. Я лежа писал, и грудь полна, я писал о себе, как есть, а о других — щадящей душой.

Или я никого и не встречал? Нет, встречал, но другой угол шага был у меня.

Смотрю на себя: сажу, ноги светлые, как сосновые бруски; день пройдет и этот. Трасса трезвости, свист ввысь.

Страна, где заводят друга, как танк в броне и с пушкой. Где крыло гуся похоже на отрезанное ухо Ван Гога. Где грянул грудень. Что за

лекарство от людей — людерин? Где иностранцев любят, как редких собак, залетных. Есть еще зверь — иностранцевия. Это — я.

— Бриться братцы! — вот клич Петра I. А не бреется народам с тоски по ласке.

Какова доза женского тела в мужском и на сколько ее хватит?

26 сент, 2

Моя сутки занимаются, как в астрономии, как у богов — с 00.00.00. Уже в 00.20 я ставлю на плиту супик в латке, скоро поем. Был разговор об Аве-Аведь. Хирург Г. Рурих знает ее с пеленок. Гармоничная.

Осмотрю хозяйство, не ударить б в грязь (пред судьбой). Не беден: три кастрюли — белая, кремово-розовая и салатно-серая с красным цветком по ободу. Открой крышки, в каждой по супу: борщ красный с мясом, щи с зеленой капустой и суп бобовый с мясом. Еще студень в двух тарелках, на завтрашний день. А как пахнет баранина в 00.27 пополудни! .. Диета снята почти.

Насушу сухарей, черных, положу в фарфоровую миску, пусть лежат. Сухари сушат с перцем.

Поем, спать пора. Придумал афоризм: — Нет гармонии и в морге, — это обо всех.

27 сент, 2

Богатые долго не живут, свой срок. Нищие живут долго; они живут мало, но вечно.

С шумовой листвою березы, дылды, белокожие, холеные, толстова-тые, болотные, в золотой стружке.

Ходят по лесу синие пилы, блестя.

Во дворе над прудом чайка, размах крыльев больше 1 м. Эх, младая моль! И воздух цвета молодой лягушки. Пруд мой, пруд, вдали лес воздушный. Ель — это щука, сидящая на хвосте, а я по комнате и в кухню вьюсь, как лебедь.

Птично.

У пруда сидит дама, на бревне, у дуба, в черных очках и резино-вом пальто; она вдыхает несоленый пар от пруда. Бессолевая диета. С кустов диких роз снимают плоды в лекарство, его готовят в аптеки, суша.

В небе что-то, чайки — белые мазки.

Вдали вол синее. Вороны чудовищные.

На горизонте синела баба. Врач Г. Рурих зашел с тростью, лазерной, пьяный, да он всегда спиртоват. Ах, как у вора, синее у него спереди глазки. Какую бороду он отпустил, борода и алкоголизм делают человека похожим на зонт, никакой дождь жизни уж не вспугнет.

Пиши, петушок, и спи с пиковой дамой.

28 сент, 2

Борода оттягивает лицо, парализуя мимику; бородатые круглогла-зы; китайцы носили бороду из века в век, и глаза их вывернуты наиз-нанку, но китайцы носят и косы, отсюда и косоглазие; коса оттягивает кожу со лба, что молодит, но сужает веки. Лучшая борода — бирюзо-вого цвета.

3 окт, 2

Снилось кольцо, золотое с кораллом, и женские руки, идущие на двух мужских ногах. Женские рабочие руки. Снилось нить жемчуга стоимостью 1500 фунтов стерлингов. Руку вывихнул, что ли, в борьбе, во сне? Пришли четверо с отвертками и помогли вставить лампочку. Ну их в нюх.

Дождь пошел в пруд.

Я, прижизненный, как призрак брожу по полам.

Оттого что было плохо, я поел дыню. Стало еще хуже. У меня — неразделенная любовь к себе.

— Если я неправ, я признаю неправоту, — сказал Корнелий Непот и приказал дать уксус спорщику.

Завтрак: сайра, сельдь рубленая с яйцом, запеченная треска. Голубой чеснок. Кофе с искусственным молоком, сладостный.

Сквозит!

Скудный ужин: лапши три ложки, морковка с яблоками. Съел чеснок с хлебом и помидор.

Ночью — обморок, двойным ударом; невзначай уйдешь в мир иной; я не против, но лучше идти зная, куда.

Какой толк от октября?

Над цистерной зажегся неон:

— ПРОШЛА ЖАТВА, КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, А МЫ НЕ СПАСЕНЫ (Иеремия, глава 8, стих 20).

Бог сделал так, чтоб каждый побывал на Земле в шкуре Бога. Рабы идут по шоссе с нарезанными помидорами на тарелках — вечно и в ночь.

4 окт, 2, 04 ч 24 мин

Это — сон. Я иду следом, но их след простыл — я шупаю след, холодный, никуда не ведет.

Пруд зеркальный, ходят, бряцая оружием, толстопузые голуби с кларнетом в клюве.

Каменотесы рубят скамьи из камня, — у пруда. Светлоглазые каменотесы. На скале два башенных крана вешают плакат:

— МЕНЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ, НО НЕ ЖИЗНЬ.

Огневидная женщина О-Го, рабыня-бурятка.

Открываю второй том своей души, листаю страницы.

Ем много свеклы.

Сижу за машинкой голый, как у моря.

Вероятность существования люди принимают за закон существования. На скале сидит за машинкой раб-руберионд, ему несут стакан шипящей пшеницы, — такие у нас законы жанра. Но эти зеркала обманы. Художник живет в одном времени, а люди в другом.

Еще разоведемся так: сидит раб за машинкой, друг рыб из Лондона, палит костер электросварки, жжет шкуру природы — скала — бела; у всех шпионов ранняя седина.

От шипящей пшеницы до шпиона! К нам проник рабовладелец из Лондона, и куда — на самый верх иерархических ступеней скалы.

Можно додуматься и далее, были б предпосылки, а вывод найдется и оформлен.

Говорят, море уходит, еще ушло, м. б., и совсем уйдет отсюда.

Что видя рисует художник? Предмет или образ предмета? Вот разница между художником и людьми, люди предметны, художник — обретен.

А реализм спекулятивен есть.

Светило шло, а еще светало. Дождь, слякоть, цветы.

Я видел Его, и Он строг.

Сосна, как золотой туз трэф, ствол длинный.

Аве-Аведь, звезда утренняя! Если б у меня был женский тип лица, разве я сидел бы, как судия?

За цистерной справа, где колоннады у домов, — стоянка автомобилей. Круглые сутки они стоят, уезжают ночью. Я высмотрел: из машин смотрят закат. Приедут с разных концов Земли, открывают дверцу, садятся там, где руль, и смотрят в стекло, вроде меня, в подражание. У руля есть кнопка — это включают спец-вмонтированный

снизу домкрат. Машина поднимается метров на 300 над уровнем моря и лже-шофер, художественная натура, нео-японец смотрит на закат, будто у нас конец света. Он смотрит, как солнце заходит в синий пруд; и дальше, в море, — огромное, литое, раскаленное. Как стекло у стеклодува на конце трубки!

Солнце уйдет в воду, как римская монета в щель телефона-автомата, зритель заводит мотор, опускает свой зад на домкрате вниз, а солнце уходит насовсем, как аэростат пылающий!

Как кукушка со своим счетом, неспроста, не проснешься, — времени нет, ночь. У пруда лодка лежит, сторожит воду, как пес, на цепи. Холод, ты в шубе, а дождь бушевал. Дождь жмет, нажимает на жизнь. Шоссе волнистое.

Свечерело сразу, свет снизу хороший, — дрянной. Пищит птица, голубь — мой Яго.

Мне тьма мила.

Ворон у берега, как водолаз в резиновых ботфортах. У тополи в пруду стоял юноша в свитерной кофте, с льняным чубом, и лил с тополи в пруд. Длинный фонтан, парабола, серебряная т. ск. 'звонкая струя. Больше никто не струил. Мы видим: фонтан не только взвивается вверх, но и срывается вниз. В пруду ни корабля.

Говорят книги о том, что красивая женщина не нуждается в одежде. Но будучи нагая, она скиснет от скуки. Душа черна, как ручная.

18 окт, 2

Медсестер нет, шлют рабынь.

Снег выпал, вон он — идет.

Свистят синицы, бесстрашные. Каштан бел, сосна со свиной щетиной.

— Ты пойдешь на кладбище? — спросил я Ы — рабыню.

Не идет на кладбище, чтоб привести мне свежемороженую гроздь рябины. Я останусь без ягод. — Больна я! — говорит Ы. Оговорки, болезнь — не причина, чтоб не ходить на кладбище. Ходить, ездить, летать туда. Одумается ль? Она сказала в запальчивости, что и впредь не пойдет. Это уже мятеж. Я-то стерплю, но — против природы? Нельзя не ходить на кладбище, пока цел.

На кладбище все кладут яйца. И щебет шей — на кладбище.

Прощай, Ы. Закрою дверь свою, как дверь преисподней, на ключ. За стеной муха шумит, как море.

Дятел с гренадерской, красной суконной грудью бил штыком в окно. Чайки бросились в пруд вплавать.

Выпал уже не первый, а настоящий снег. Как могут жить без снега индонезийцы, такие умные, проникательные.

С крыш крупные капли.

Ко мне тянутся дети; псы, верблюды, идут караваны ко мне от цистерны. В цистерне продают землю. Все идет ко мне со своей землей, чтоб одарить. А у меня земли полно — Земля.

Запомнится это утро. Снег-снег сквозь стекла — ослепляет! Стволы, отлитые из золота с позолотой, отлитые листья и чеканка их, желтая кожа стволов и листья — литые, тяжесть их. С нами снег! Листы в белом.

Старухи съедают снег... Не дать им съесть. Их три, по 55 им, пожилы; 1 — Гусова, 2 — Роза, 3 — Бетси. Из них выдающаяся чем-то Роза — голопупая, жирная, янтарный животик, красная пятка. Бетси — черная овчарка, поющая, шотландка, скотч-виски, с сандаловым телом под шерстью. Семейка.

Пруд заледенел. Тополя была, и ее нет, без листьев, как без формы. Кран уж не ходит вверх.

Не завидую владельцам красивых женщин... Некрасивых тоже.

Нужно учиться ходить босиком.

Что вспомнится человечеству воочию через 500 лет? — о нас? О нас им вспомнится Нюрнбергский процесс.

— Чем вспомнится Нюрнбергский процесс? — спросит лектор, и брат четвертого раба в шеренге скажет:

— Это был первый в Истории процесс над ню.

24 окт, 2

Пруд растаял, бурлив, все тонет в монастырской ряске.

Отчего ж бурлит пруд и пишется новая книга, не выше, не ниже, а иная ипостась?.. Сейчас достаточно быть нормальным человеком, чтобы прослыть оригиналом. Хозяйство земное — форма жизни, вот и прописали себя люди к Богу в слуги. Нужны ль Ему слуги, если жить — ждать.

Дамы — большие охотницы до ядов. Дама Дояда.

Женская рука, холеная, заголяет ногу; нога на второй ноге на сиденье кресла. Вторая нога под пальто и с нее рука снимает пальто с золотым кольцом, рука ноги, принадлежащая Даме Дояде, нога холеная. И по коже это видно, и по конфигурации руки, снимающей, и ноги женской, что Дама Дояда. Пальто отошло, юбка завернута, и чулок, его нет или внизу, ниже и тут от голого колена — вся ляжка на всеобщий обзор.

Зрю.

Всеобщий обзор ноги, голой до пупа — один я. А рука похлопывает ногу по ноге — рукой с кольцом, выше швейных строк, и так щеки светлы, как у налива женского пола. Загар, брови, губы, лелеемые, все в коричневой коже, с шеей. Эта делает мне знак, чтоб я взял рукой ее ногу. Что ж я буду делать с ногой — тут, на сиденье? Как быть с ногой? Ногу-то не отвинтить, женщина завизжит, живая. В другой раз продолжим эту связь.

Негры ездят на такси, как ястребы.

Во дворе варят в бутылках яйца — они; приехали развиваться — ездить на такси, носить одежду. Скорлупу они любят есть яичную. Бутылки из-под молока, отварят в них яйца, во дворе, на костре, у пруда и выбрасывают яйца в пруд, чтоб развились в воде вареные цыплята. А бутылки разбивают о бетонные камни и едят осколки, как сушки.

У травки глаза волооки.

Стакан до того пропитался крепким и сладким чаем, нальешь кипяток — и чай готов, ничего не нужно.

Всю ночь: на двух плечах бревна, ворочал еще белые с боку на бок, их бы в речку, умыть, ноги у них ожирели. Потом пылал, мылся в холоде, чистил зуб.

На цистерне типографская надпись: ОРУЖИЕ.

Продавали булки, завернутые в маркизет.

Сколько человеко-девок можно отработать за день?

Борщ требует смелости. Мажа Сухофрукт, вчерашняя, в черном жабо, как обиженная, в пудермантеле — швыряет в борщ все, что попадает в руку. Я спас утюг, веник и тряпку для трик-трака, выхватил уже из кастрюли горсть гвоздей, банку меда и карандаш МЗ — это на лету, я, м. б., лишил борщ нескольких пикантных вкусовых свойств, но зато он чист и вкусен. Только что за нитку я вытащил катушку ниток из кастрюли. Нитки — ничего, тянутся, а катушка не проварилась, крепка.

Вытянул из борща пук горящей соломы.

Бублики обкусываю плоскогубцами.

Вельвет пахнет Тель-Авивом.

У любви нет алиби.

Одна посредственность относится к своей работе, как к священнодействию.

В цистерне: День Ретро — вермут, грузинские вина, мускат, хозяйственное мыло — 19 центов, сушки простые с маком, разливное подсолнечное масло.

Что умиляет мужчин в девушках? — . . .

Шум, бурление, пруд во дворе разливается к ступеням. Скала достигла цифры 16.17.30., а еще не темно, светло.

1 ной, 2

Пруд чист, влажная прическа.

Цветы растут, как дети на кухне, боятся, что их выгонят из дому. Как дети в чужом доме.

Ш-рабыня дала интервью во все газеты, что не собирается и в дальнейшем делить со мной ложе. Как будто я — император Нерон, что со мной всякая Ш может делить ложе. Или ж это Калигула делил с лошадью Ш ложе.

Жимолость над ложем.

ТАМ — нет и нет человеческого хотя бы потому, что ты перестаешь быть человеком.

Девица, красная, как вепрь. Все красное: глаза, нос, губы, зубы, шея, грудь, кофта, юбка, живот, пуп, ляжки, трусы, чулки, туфли, лодыжки, пятки, зад, земля под ней красная, стоит она, и лужа под ней красная, поставлю в тамбур ведро для луж. Пойдут они, томимы, гремя кандалами (я о женщинах и ведре). Лежа на ложе, эта красная новь только и шла под себя. Я не стал в ответ. Взял чая и скользящей походкой — в уборную. Взял я кусок сахара, сел на железный фаянсовый унитаз и кусал.

— И Вы бросите в меня камень?

— Я не камнемет.

6 ной, 2

Сутки туза пик.

Утро белое.

Внизу: баба в красной шапке везет тачку с воблой на помойку, четыре колеса, в ящике с красным крестом. За ней идет побитый, муж в синем костюме с синей косой, и усы, как у Мюнхаузена.

14 ч. 20 м.

У кошачьего мавзолея — дог, ноги, как у венского стула. Красная карамель — машина скользит в снегу. В небе — бронзовая звезда.

У горя нет исхода. Горе — это геометрическая прогрессия.

Как красиво звенит на кухне — как в кастрюле.

Теперь у нас пища — для размышлений.

Кто качает Золотой Маятник мира?

Серый рисовый день, бумаги. Нужно заводить новые цветы. Золотой Маятник звенит, дом мира одинок, нужно жить в скромной роскоши. Не хочу есть ничего, кроме красного яблока. Ем с хлебом. С этим яблоком мы и голода не боимся. Если б у каждого имелось одно яблоко! — не быть бесхлебью!

Засыпаю, а еще 19.00. Жестокий звон у жизни на краю.

Где галеты?

Внизу — старушка в толпе матросов (черных) бежит, как цветочек, аленький. Зеленые, незрелые лица — здесь. Золото маятника вверх и теплый шаг толп по полям, не знают, где звон. Что ни шаг, то штык.

Синий цвет очищает краски; если синяя лампа — это море, то она море, синее. А лисать? — с языка наизусть на стол.

Внизу — гробница с отверстиями для печи (угли горят, рабы греют пиво!), четыре египтянских мазанки с железной крышей (для жилья), одна к одной, как в геометрии. Здесь будут жить прорабы. Прораб — это предок рабов. Проехал, виляя задом, грузовик, толстозадый, он идет к цистерне, где яйца в разлив и сметана с мутью... Проехал грузовик с расстегнутой ширинкой. Трактор за ним проехал трагедийной походкой, голос, как плоскогубцы.

Холодное, красное, отлакированное яблоко — ночь.

Кто-то идет по шоссе под дождем. Руки в брюки.

23 ч. 00 м.

Посмотри в окно — выпал первый снег (?).

Внизу: свет оловянный, номер на нем.

Внизу ж: собака в белом, в бобровой шапке, игольчатой, прыг на освещенные колеи песка, пса вижу впервой. Лужицы жмутся водичкой. Луна в форме черного орла, лежащего в плоскости.

На песках белые камни, кресты арматуры, слева выложенная из булыг жаровня, для нео-Христа. Варит в ней раб кипящие щи по ночам. Что ж, говорю я с горечью, черепаха тоже плаксива.

По этому двору ездить бы татарским телегам — не наездиться. Я смотрю из окна, и за мной кто-то смотрит. Из окна. Целит готовую уж стрелу из арбалета.

Притаился с бритвой арбалетчик. Да уж и дождь идет, шины на шоссе, в луже, в синей вазе орхидея, белая. Уйду от окна, приду к нему. География зеленого цвета — внизу, по шоссе ходит часовой с саблей наголо, в шелковой шляпе. Столб с лампой на слом. На жаровне для нео-Христа кто-то жарит ружье. Чтобы избежать стрелы (пущенной!), не высовывайся в окно. Сейчас больше бьют из арбалета, пуль нет в тени; стрелок — гладконосый монгол.

Погасишь свет и уж лежишь, как в глубине трансконтинентального вагона, а в смотровом стекле во всю стену — проносятся окна планет.

И луна — как кольцо, красная.

Окно — мой экран. Варю форель. Получается уха. Попробовал уху: ох-хо! если б укропчику!

Беспричинный страх от шоколада. По шоссе — милицейская машина с двумя красными глазами на затылке, как у пьяницы. Что мне шумит, что звенит — это скребет кастрюли отроковица О. Она дышит ртом, а я холодею.

Кто-то идет по шоссе, и его секут наискось.

21 ной, 2

День с тучей, темноватость. Дог в черном одет, как священник, уши капюшоном. День не колышется. Свист солнца на бис — о роза безумья! Черный дог в капюшоне похож на ку-клукс-клановца, или же на буденовца.

По грязи (погрязая) к подъезду скалы идет раб в чадре, как от пчел; на фоне луж незаметен, вот он и ходит. Может быть, это нео-ангел с золотой трубой. Болтаются косы, немолод, пятьдесят лет — возраст преступника. Холодно мне.

Хоть бы снег выпал.

Не выпал. Только солнце сверкает — сверк! сверк! — как фотограф. У воды привкус лекаств и граната.

Образы: гугенот танцует, влетая, как выстрел. Это Карл стрелял, как никелированная ложка. — Кто тут? — Это я, молодая девчонка. Семья — как набор золотых ложек, все сволочи.

Это я смотрю в пруд и не вижу ни одного знака препинания, одни инверсии.

С цистерны сняли надпись ОРУЖИЕ, теперь висит ИНСПЕКТОР.
Вывод: с оружием провал, контролируют. Все тротуары завалены тру-
пами кур. Автобусы едут по яйцам, с хрустом.

Красное яблоко на белом, блестящем.

Красное яблоко на белом, блестящем табурете.

Закрою очи и вижу — японцы и японки едут на паровозике, ны-
ряют на рельсы, а паровозик их давит, как диавол.

Ковер, залитый вином, посыплю солью.

Пошлая погодка. Морось. В ушах шумит. Внизу машина, красный
крест на правом глазу. Медицинская цивилизация. Со скалы льют ки-
пящую смолу. На кого ж? Штурма нет, штурмовых лестниц нет.

По ТВ: солдаты 28, . . ной, 2. Орденов-то, хо — как в Золотой Орде!

Здесь и в домах-то лестниц нет. Если б не лифты!

Ты думаешь, само собой разумеется, что встретишься с тем, о ком
мечтаешь, на том свете? Вспомнишь меня — а захочет ли он встретиться
с тобой — ТАМ? Вдруг — нет?

Могут ли дети рождаться от людей? Могут, и помногу.

У Петра I от Марты Самуиловны были дети: Павел, Петр, Екате-
рина, Анна, Елизавета, Наталия, Маргарита, Петр, Павел, Наталия,
Петр, Павел.

(Продолжение следует)

Валентина Гридасова

ПАУЗА

* * *

Неодолима зима на Москве!
Вихрь, карусель, балаганит массовка.
Плачет, хохочет, пирует на все —
ярмарка, голь, попрыгунья, мотовка.
Весь, до копейки — двугривенный век!
Кто там гроши бережет-экономит?
Нынче метель перебелит нас всех,
вновь переметит и перезнакомит.
Ты из какой стороны-старины
выдернут ею на это похмелье?
Мы ль не с тобой у зубчатой стены
в давешний век друг на друга глазели.
То-то метель распушила свой хвост,
ластится, стелется, смотрит лисою,
и твои щеки румянит мороз
красной московской морковной красою.
Та же зубчатка. И то же лицо.
Память, зубрилка, в заплатках обновка!
Чертово, беличье мчит колесо,
где-то зарыта в снегу остановка. . .

ПЕРЕКАТИ-ПОЛЕ

С поземкой наперегонки,
вприпрыжку,
вихрем,
кувырком. . .
Повремени, передохни,
колючий шар,
дремучий ком!
Клубится стая,
в ней вожак —
лохмач, лихая голова.
Не усмирить, не удержать —
бунтует прошлая трава!
Свою оседлость расшатав,
сорвался — вьюга впереди.
И жизнь не сложно прожита,
осталось поле перейти.
А поле — осень да зима.
А поле — поздний спор с судьбой.
А поле, поле — вся земля,
где относителен покой. . .

МЕЛЬНИК

*О чем ты воешь, ветер ночной?
Ф. Тютчев*

И ветер перемен, и ветер ночной
вращают крылья мельницы одной.
И жернова размалывают зерна
проворно и покорно.
Все перемелется — и семя сорняка,
и чистый злак — под этими крылами.
И мельника могучая рука
разделит брашно пухлое меж нами.
Крутись, ветряк! Помол горячий сей
сквозь бытия прожорливое сито.
Корми своих взыскующих детей —
вечно голодных или вечно сытых.

* * *

За то, что искала сама
любви и желала прозренья,
лиши меня, мать, ума
и плоти. Не дай мне рожденья.
Пошли мне смиренный покой.
Во чреве кормящей вселенной
толкаюсь — о твердь головой,
о бездну коленкой.
Я плоть с эмбрионным челом.
Пусть кровь материнских сосудов
людским меня дразнит теплом,
смущает мыслительным зудом,
пусть в млечном бездонном краю
сулит мне земную транзитность —
я знаю предельность свою:
внутриутробную сытость.
В скупых кулачках темнота
зажата — мирская синица.
На мне ни греха, ни креста.
Еще раз — мне страшно родиться.

ЛУНА

Выпадала всегда на орла
и в приливы своих новолуний
самой смелой вещуньей была,
самой щедрой из праведных лгуний.
Два каленых клейменных крыла,
свет рассеянной в мире удачи. . .
Заходила, всходила, плыла —
ничего, кроме жизни, не знача.

* * *

Собашница, сообщница бродячих,
 потатчица забав-забот ребячьих
 о робких завсегдатаях помойки,
 в ком узнают бездомие по морде.
 Греховна безымянная забота.
 Опасна, как бездомная свобода.
 Но тянет пообщаться со своими,
 пооткликаться на любое имя.

ЗЕМЛЯК

Земляк мой, житель земляной,
 дружок за тридевять земель,
 хлебать седьмой воды кисель
 сегодня будешь ты со мной.
 Я земляков ужасно чту.
 Я светляков моих зажгу!
 Я пол и потолок мету
 и землю мою, как могу.
 И камни темные топлю,
 И капли теплые коплю.
 В моей землянке на лежанке
 тебе как гостю постелю.
 Ведь ты ко мне не на постой,
 хоть скоро загорюешь ты
 от жизни постной и простой,
 от этой черной чистоты.
 Что ж, брат, такие, знать, дела,
 ну а пока, ну а пока —
 нам и землянка не мала,
 и вся земля не велика.

РОЙ

В кругу земли, в краю сиюстороннем
 еще возможен зной.
 Овей меня, окутай душным роєм,
 окно открой.
 Безродная разменная комета
 считает наши дни.
 Но плавится, клубится, вьется лето —
 туда меня смани!
 Пороша, марево. Слоится и роится,
 и роется в пространстве винтовом.
 В кругу земли еще возможно длиться
 и клясться на потом.
 Изгибчивые шалевые лени,
 светосмешенье перелетных звезд,
 и млечное смирение сирени,
 и ласки влет, и лепестки внахлест.
 Окраина роящегося рая.
 Свиданье крыл, свечение плеча.
 Пыльца непрожитая, пропасть даровая.
 Дотронусь — горяча!...

ПАСТОРАЛЬ

Одуванье дуновенье.
 Так немало для начала.
 Одуванье оперенье,
 одуванье опахало.
 Желто-шелковый, складной
 знойный веер продувной.
 Хор цветов и ветра ворох.
 Вдохновением хранимы,
 шаровой слагают шорох
 созревающие нимбы.
 Одуванье одеянье,
 обаянье, тюль июля. . .
 Здесь устали от гулянья
 и однажды мы уснули.
 И однажды мы проснулись.
 Постарели пасторали.
 И домой к себе вернулись,
 занавески постирали.

НА МИРУ

И крепок сон мирской, да краток.
 На площади — пока ты спишь —
 обрывки обветшалых радуг,
 клочки знамен, газет, афиш.
 Светают пестрые народы.
 Витают постные свободы.
 Глядит лукавая заря —
 как вера в доброго царя.
 Свежо газетное преданье.
 Старо народное гулянье.
 От века празднует уезд
 и благовест, и манифест.
 От Рождества ль того Христова,
 от сотворения земного,
 от растворения во мгле —
 до пробужденья на земле.
 Молитва, клятва, молотьба,
 Отчизна, воля, плоть, судьба.
 Клубок, циклон, веретено.
 Дано. Добыто. Суждено.
 Пыхтит сейсмическая лава.
 Льстит историческая слава.
 И Бог восходит на мощах
 и дух возносит на вожжах.
 И начинает круг привычно,
 орбитку грамотно кривя.
 И на миру красна прилично
 жизнь всенародная моя.
 Светает. Муторно и смутно.
 Смекай, кто мир сей посетил, —
 пока петух, приспешник утра,
 орет в провал меж двух светил!

* * *

Свитки нераскленных афиш,
слепки неосвистанных ролей.
Как нетеатрально ты стоишь!
Пауза в комедии твоей.
Незадрапированный антракт.
Зрелища толпятся в зеркалах.
Стеклами размноженный закат
затекает сумерки в углах.
Окна, окна, окна. Нет дверей.
Действом остывающих химер
дразнит — преломленный лицемер
и прямолинейный лицедей.
Сонную играет тишину,
дует в затухающий оркестр...
Шаг один к ближайшему окну,
паузой вымученный жест.
Крест окна двустворчатый разъят.
Луч двуликий изломав и скомкав,
сотвори закат или театр
из бездарных солнечных осколков!

ФИАЛКА

Она меня искала
в лесу, что был далек,
а после мне послала
лиловый фитилек.
И все за мной следила,
когда ты уходил,—
чтоб я не загрустила,
слезой не замутила
фиалковых чернил.



Марина Тарковская

ОСКОЛКИ ЗЕРКАЛА*

ВГЛК

Таким сокращением называлось учебное заведение, где учились родители. «Высшие Литературные Курсы при Всероссийском Союзе Поэтов, находящиеся при Москпрофобра». (Эта «Москпрофобра» — чудовищная и безграмотная аббревиатура — обозначала, видимо, «Московский профсоюз образования»).

Литературные Курсы с правами высшего учебного заведения возникли на руинах Литературного института, созданного В. Я. Брюсовым и после его смерти закрытого. Курсы, как и Брюсовский институт, готовили профессиональных литераторов — прозаиков и поэтов. Многие преподаватели, приглашенные Брюсовым, остались работать и на Курсах. Среди них были такие замечательные ученые как пушкинист М. С. Цявловский, философ Г. Г. Шпет, литературовед И. Н. Розанов.

Папа приехал в Москву учиться из маленького городка степной Украины Елисаветграда, через который совсем недавно прокатились волны гражданской войны. В 1924 году город был переименован в Зиновьевск, в честь родившегося там вождя, не отличавшегося излишней скромностью. (Стоит сразу сказать, что в 1934 году он из Зиновьевска стал Кировоградом и называется так до сих пор).

В Зиновьевске остались папина мать, Мария Даниловна, родные могилы — деда, отца, брата — и женщина, которую он «горше всех любил».

В Москву папа приехал с тетрадью юношеских стихов, он твердо знал, что станет поэтом.

Экзамены при поступлении на Курсы заключались в чтении абитуриентами своих произведений и в собеседовании о литературе. У папы экзамен принимал поэт и теоретик поэзии Георгий Аркадьевич Шенгели, ставший его наставником и старшим другом.

Папа поступил на первый курс в 1925 году и учился вместе с Марией Сергеевной Петровых и Юлией Моисеевной Нейман, с которыми его связала на всю жизнь и человеческая, и творческая дружба.

Мама в том же году поступила на подготовительное отделение Курсов. Она окончила школу в городе Кинешме, что на Волге, где жила с матерью и с отчимом.

Слушатели Курсов должны были изучать гуманитарные дисциплины, хотя на подготовительном отделении и на первом курсе в программу были включены экономическая география и биология. Изучалась русская литература (преподаватели — профессора Орлов, Розанов, Шамбинаго, Цявловский), европейская литература (Верховский, Коган, Рачинский), греческая и римская литература (Ермилов, Грушкá), история искусств (Сидоров), языковедение (Каринский), психология художественного творчества (Бережков), эстетика (Шпет), поэтика (Григорьев), прозология (Локс), стиховедение (Рукавишников), клубоведение (Ребельский).

Обязательными предметами были также политэкономия, история ВКП(б), история классовой борьбы в России и история западно-европейского революционного движения.

* Продолжение. Начало см. «Согласие», № 1, 1992.

Заведующим учебной частью был поэт Захаров-Мэнский, большой оригинал, погибший впоследствии в лагерях, как очень многие из профессоров и слушателей Курсов.

Мама училась на одном курсе с Наташей Радченко, будущей писательницей Натальей Баранской, с Ниной Лурье-Алексеевко, с Надеждой Лапшиной-Терпсихоровой.

Занятия на Курсах были платные, а жили родители, как тогда говорилось, «на фу-фу», то есть на то, что им присылали из дома. Маме помогали больше, ее отчим как врач зарабатывал неплохо. У бабушки было свое хозяйство, и мама часто получала посылки. А еще мама была счастливой обладательницей своей собственной комнаты.

А вот папе приходилось совсем худо. Мария Даниловна жила на маленькую вдвоем пенсию и помогала ему очень мало. Жилья у папы не было. Одно время он снимал комнатку на Двадцатой версте Белорусско-Балтийской дороги, потом жил в какой-то развалюхе возле Таганской площади. На время его приютили Георгий Аркадьевич Шенгели и его жена Нина Леонтьевна Манухина. Папа жил в их комнате в Борисоглебском переулке на Поварской под столом, и, как он вспоминал, у него там была даже своя электрическая лампочка.

В феврале 1924 года родители поженились, и папа со своим «приданым» — голубым ватным одеялом, подушкой и стопкой книг — переселился к маме в Гороховский переулок.

В 1929 году Литературные курсы были закрыты властями, но студентам было разрешено сдать зачеты и экзамены при I МГУ.

К тому времени папа был уже сотрудником газеты «Гудок». Туда его привел Шенгели, который писал для «Гудка» стихотворные политические фельетоны и вел раздел судебной хроники. Георгий Аркадьевич решил уйти из газеты, а на свое место порекомендовал папу. И папа оставил Курсы, чтобы работать, писать стихи и заниматься самообразованием.

Но мама хотела доучиться. Ей было обидно бросать, проучившись три года. К тому же она понимала, что диплом о высшем образовании поможет ей в жизни.

Мама писала стихи и прозу. Друзьям нравилось, как она пишет, и один из них даже прозвал ее «Толстой в юбке». От ее работ остался лишь небольшой набросок рассказа, остальное мама уничтожила. О ее литературной одаренности можно судить по ее замечательным письмам и по отрывочным дневниковым записям. Вот одна из них, из которой можно многое понять в мамином характере и в ее судьбе.

«. . . Я теперь поняла в чем весь кошмар: я — «натура» (мама ставит кавычки, потому что не любит высоких слов) творческая, то есть у меня все, что должны иметь творческие люди — и в отношении к окружающему, и способность обобщать, и умение процеживать и, самое страшное, требования к жизни, как у «творца». Не хватает одного — дарования — и вся постройка летит кувырком и меня же стучает по макушке, а требования мои никогда не смогут быть удовлетворены, потому что они мне не по силам. Т. когда-то мне сказала, что она мечтала быть другом, правой рукой какого-нибудь большого человека, а я удивлялась, потому что я хотела сама быть создателем.

В 14 лет я писала:

Я хочу музыки дикой и властной,

Я хочу жизни широкой, опасной,

Я не хочу на земле пресмыкаться,

Я хочу с вихрями, с бурями мчаться.

Это смешно, конечно, даже стыдно писать это и об этом, но в таком детском бунте — мысли-то мои, пусть бездарно оформленные, — и заключаются дальнейшие несчастья: я думала, что хотеть — значит мочь.

Быть приживалкой чужого дарования! Надо иметь дар самоотре-

чения. И насколько в жизни и в быту он мне свойствен по полному безразличию к тому, от чего я с легкостью отрекаюсь, настолько я жадна к своему внутреннему миру, и попробуйте сделать из меня святую! Потому-то я и не смогла бы быть ничьей нянькой и вот поэтому-то я и не могу никак изменить свою жизнь».

Вот такой была наша мама. Андрей не читал этих записей, но он хорошо ее понимал и чувствовал. Поэтому в финале «Зеркала» старая мать ведет маленьких детей не с добрым и нежным, а с напряженным и суровым лицом. Она выполняет свой материнский долг, она любит своих детей, но только в этом не может заключаться смысл ее существования на земле. А самое главное в ее жизни не состоялось...

Но вернемся к истории с Курсами. Наступило лето 1930 года. Папа уезжает со своей тещей, маминой мамой, к ней на Волгу в село Завражье — ему надо было отдохнуть и поправить здоровье. Мама же, оставшись в Москве, должна была дней за десять досдать необходимые экзамены и приехать к ним в деревню.

14 июня папа, бабушка и собачка родителей Туська отправились в дорогу. Ехать им надо было через Кинешму. По прибытии туда, 15 июня, с вокзала папа посылает маме открытку с просьбой о скорейшем ее приезде к нему.

16 июня мама пишет папе письмо, в котором она очень разумно обосновывает необходимость закончить Курсы. Папину открытку она еще не получила.

Примерно 18 июня она получила эту открытку, а вслед за ней и телеграмму, в которой папа умоляет ее бросить все и немедленно приехать.

24 июня мама выезжает из Москвы в Завражье, так и не сдав экзаменов, необходимых для получения свидетельства об окончании Курсов.

Зато папино двадцатитрехлетие они отмечают вместе.

Вот так закончились для мамы занятия на ВГЛК. В анкетах при поступлении на работу в графе «образование» ей приходится писать «неоконченное высшее». Поэтому работала она корректором в типографии и даже не пыталась устроиться редактором — без высшего образования на эту должность не брали.

ЧЛЕН СЕМЬИ ПО ИМЕНИ АННУШКА

Однажды летом 1906 года в дом нашего деда, судьи Ивана Ивановича Вишнякова, который жил со своей молодой женой в городе Козельске Калужской области, постучалась какая-то крестьянка. Была она в лаптях и бедно одета. С ней пришла ее дочь, немолодая девушка. У них не было ни жилья, ни работы, и бабушка оставила их в доме. Отцом девушки был прохожий солдат, а родом они были из ближнего села Нижние Прýски, бывшей вотчины братьев Киреевских, похороненных в Оптиной пустыни, что напротив Козельска.

Бабка — так почему-то называли в доме старшую крестьянку — стала маминой нянькой, а ее дочь, с ласковым именем Аннушка, помогала по хозяйству. После смерти своей матери она попросилась остаться у бабушки и прожила у нее почти сорок лет.

Со своим вторым мужем, врачом Николаем Матвеевичем Петровым, бабушка уехала на Волгу. Там они обзавелись хозяйством и даже купили корову ухрасской породы, черную с белым. Звали ее Голубка. Аннушка полюбила корову и ходила за ней, как за малым ребенком. Она прощала Голубке все, даже страшный удар рогами в грудь, от которого чуть не погибла.

Характер у Аннушки был не сладкий. Она или ворчала, или мол-

ча дулась, или устраивала бабушке грандиозные скандалы. Поводы были разные — то бабушка при готовке извела слишком много посуды, то взяла не то полотенце, то плохое сено сторговала для Голубки. Бабушка плакала, жаловалась Николаю Матвеевичу, но Аннушку почему-то не выгоняла.

В 1930 году Петровы переехали в село Завражье. Тогда же, в мае, в Завражье приехал погостить папа. А месяц спустя, к папиному дню рождения, бросив экзамены за последний курс, приехала и мама.

Николай Матвеевич, осмотрев папу, нашел его здоровье неудовлетворительным и прописал ему усиленное питание и парное молоко. Родители, наголодавшись в Москве, с энтузиазмом начали «питаться».

Приходила к ним в комнату Аннушка, становилась у притолоки и спрашивала: «Вы сыти али голодни?» — «Голодны, Аннушка, голодны!» — «А коли голодни, то ступайте у кухню!»

Тем не менее она очень сердилась, если заставляла на кухне папу и маму, что-то жующих без спроса. «Аннушка,— смущенно бормотала мама,— а мы тут кушаем!» — «Кушайте, кушайте, целый день все кушаете!»

И действительно, родители ели и днем и ночью. Страх перед неминуемым Аннушкиным скандалом не мешал им забираться в чулан и отрезать куски от висящего там окорока. Отсутствующие места они аккуратно прикрывали шкуркой. В конце концов шкурка скрывала только голую кость, что и было обнаружено Аннушкой. . .

Петровы переезжали с места на место, вместе с ними кочевали и Аннушка с Голубкой.

Старел и начал болеть Николай Матвеевич. Всю жизнь лечил других, а до себя руки не дошли. Он умер в Юрьевце в 1936 году, сидя в своем кресле. Лежать он уже не мог из-за сильной стенокардии. Бабушка называла эту болезнь «грудная жаба», и мне представлялось ужасное пупырчатое существо, усевшееся на грудь к Николаю Матвеевичу и мешающее ему дышать.

После смерти мужа бабушка еще некоторое время держала корову. Но сено дорожало, денег не хватало, и Голубку продали. Аннушка, расставшись с коровой, стала еще сердитее и сильнее изводила бабушку.

А потом бабушка решила, что надо помогать маме, потому что ее оставил папа, и приехала в Москву вместе с Аннушкой и со своей громоздкой мебелью. Я не знаю, чем бы кончилась эта совместная жизнь, если бы не началась война.

29 августа 1941 года мы всей компанией выехали из Москвы в Юрьевец, где у бабушки была забронирована комната на улице Энгельса, та самая, в которой умер Николай Матвеевич.

Из этой поездки мне запомнился только маленький мальчик. Абсолютно голый, он стоял на лавке и пил воду из стакана, который ему подавала мать. Другой рукой она держала ночной горшок, в который этот мальчик писал. Это необычайное зрелище так меня потрясло, что остальные впечатления от поезда я забыла. Зато хорошо помню баржу с пустыми пивными бочками, на которой мы плыли из Кинешмы в Юрьевец.

Там, в маленькой комнате в доме № 8 мы распределились следующим образом: бабушка спала на диване, я на постели, Андрей — на складной походной кровати Николая Матвеевича, привезенной с войны четырнадцатого года, мама — на столе, на том самом, на котором она в 1932 году родила Андрея.

Аннушка устроилась в конце коридора у окна, за занавеской. У нее там получилась отдельная комната — стояла табуретка, подоконник служил столом, а спала она на своем кованом сундуке, где хранились накопленные за многие годы вещи. Сундук запирался большим всячим

замком, и мы с Андреем иногда устаивались чести присутствовать при церемонии открытия сундука.

Аннушка была членом нашей семьи, но при этом сохраняла определенную автономию — берегла свою пенсию и вещи, в то время как мама и бабушка продавали и меняли на продукты все подряд.

Однажды, лютой зимой сорок второго года бабушка пошла на базар и вернулась без юбки, благо у нее под ней была вторая, полегче. Верхнюю юбку, сшитую из коричневой портьеры с отделкой в стиле «либерти», она выменяла на застывший в форме миски желтый кружок русского масла.

Голодали все, голодно было и Аннушке. Но расставаться со своим добром она не спешила. Вот что бабушка писала папе на фронт: «Все деньги твои получили, но имели долги, у Анны взяли на дрова. Между прочим, она, увидав, что мы стали плохо питаться, ушла от нас ухаживать за двумя детьми. Вообще зелье! У нее все вещи, что она привезла из Москвы (четыре больших тюка) целы и неприкосновенны...»

Аннушка ушла от нас потихоньку, ночью. Просыпаемся, а ни Аннушки, ни ее сундука нет. Забеспокоились, конечно. Ну, а потом узнали, что ушла она в семью начальника юрьевецкого лесного хозяйства.

Теперь Аннушка питалась хорошо и называли ее уважительно — Анна Яковлевна. Она привязалась к своим новым воспитанникам и часто рассказывала им о нас — о мальчике Андрюше и о девочке Марине. Она ставила нас в пример — какие, мол, они были послушные и хорошие. Аннушка очень переживала, что оставила нашу семью, и учила свою новую хозяйку запекать окорок и делать пасху по бабушкиным рецептам. Когда у ее воспитанницы родился сын, она посоветовала назвать его Андреем.

Умерла Анна Яковлевна Андриянова в 1965 году, в том же возрасте, что и наша бабушка.

БИРЮЗОВЫЕ СЕРЬГИ

Я очень люблю вещи. Но не потому, что они приносят пользу или имеют определенную цену. Я люблю вещи за то, что они связаны с дорогими мне людьми. Вещь, соприкоснувшись с человеком, хранит его тепло и от этого сама становится почти одушевленной.

Я берегу многое, связанное с памятью моих близких. И сейчас жалею, что сразу после смерти мамы вынесла на улицу все из ее комнаты — кровать, кресло, китайское шерстяное одеяло, подаренное мне ею самой, сумочку, которая лежала под ее подушкой. Тогда эти вещи казались мне врагами. Они слишком агрессивно и жестоко напоминали о ней, и я безжалостно их уничтожила.

Сейчас я не могу выбросить ни маминой старой шерстяной шапки, ни папиного голубого свитера, съеденного молью еще при его жизни.

Мама не была такой сентиментальной фетишисткой. Она легче переживала материальные утраты. А если речь шла о жизни и здоровье ее детей, она без колебаний расставалась с любой вещью.

До войны у мамы были серьги из бирюзы — два довольно крупных кругло обточенных камня, оправленных в золото, на котором арабской вязью было выгравировано изречение из Корана.

Когда мама вышла замуж за папу, она стала носить эти серьги, потому что папе нравилась мама с серьгами. Они действительно ей шли, и она носила их, несмотря на бабушкины слова, что, по примете, бирюза приносит блондинкам несчастье.

Когда папа ушел, мама больше не надевала серег, у нее даже дырочки в ушах заросли. Хотя теперь, когда папа ее бросил, уже мож-

но было не бояться плохой приметы... Серьги лежали в шкафу, а когда началась война, мама взяла их в эвакуацию.

Но стоит рассказать об их истории, а для этого надо обратиться к бабушкиным родственникам. Ее отец, Николай Васильевич Дубасов, принадлежавший к московскому боярскому роду, был женат на Марии Владимировне Пшеславской, дворянке польского происхождения.

Тетка ее, некрасивая старая дева, разочаровалась в светской жизни и отправилась паломницей в Иерусалим. Она хотела поклониться Гробу Господню, а заодно попросить у митрополита благословение на монашеский постриг. Тетушка поселилась в гостинице при русской колонии и в ожидании приема у владыки выстаивала все службы в православном храме. Там ее заметил один грек, тамошний врач. Когда она в назначенное время пришла к владыке за благословением, тот сказал: «Дочь моя, я благословляю вас не в монастырь, а на брак с нашим уважаемым врачом господином Мазараки».

Тетке ничего не оставалось, как выйти замуж. Она счастливо прожила много лет в Иерусалиме и вернулась в Москву только после смерти своего обожаемого супруга. Всем родным она привезла подарки. Бабушке она подарила серьги с бирюзой, которые потом перешли к маме.

В эвакуации пришлось продавать и менять на продукты самые разные вещи. Постепенно исчезали фаянсовый кувшин и таз, доха и велосипед Николая Матвеевича, мамин клетчатый джемпер и плюшевый жакет.

Очередь приблизилась к серьгам. Думать об их продаже мама начала только весной сорок третьего года, когда возвращение в Москву стало реальным делом. Надо было подниматься в дорогу, покупать билеты, а пока — дожить до отъезда.

В апреле мама написала об этом папе. Бирюзовые серьги она называла просто «голубые сережки». «Хотим продать голубые сережки», «У меня покупают голубые сережки». Андрей в «Зеркале» говорит, что продать их она пыталась в Завражье. Но сделать это было непросто, людям тогда было не до роскоши.

Как-то мама опять пошла за Волгу и опять взяла с собой серьги. Вместо них она принесла в мешке меру картошки. Эти слова «мера картошки» так часто повторялись бабушкой, что стали привычными. «Серьги Маруся отдала за меру картошки». Мера — эта неканоническая мера объема — небольшое прямое ведро. Сколько в нем было килограммов? Может быть, восемь...

Говорят, что камни бирюзы болеют и умирают, как люди.

Интересно, живет ли еще мамина бирюза?

ПОЖАРИЩЕ

Этот удивительный случай произошел с мамой, когда она во время войны ходила выменивать на продукты кое-какие вещи, привезенные из Москвы.

Мама, еще молодая, ей было тогда тридцать пять лет, вышла рано утром из дома, перешла Волгу по зимней дороге, обставленной вешками, чтобы в пургу нельзя было заблудиться, и пошла по заволжским проселкам от деревни к деревне.

Было на ней подпоясанное старое пальтишко, на ногах лапти, а за собой она везла деревянные санки с приготовленными для обмена вещами. Это были старые занавески, какие-то носильные вещи и специально сшитые бабушкой детские капоры. Делались они из старого плюша по стандартному фасону, дошедшему еще из прошлого века. Мне бабушка тоже сшила такой капор. Андрей хорошо запомнил, как

он выглядел: точно такой же на девочке — сестре героя — в фильме «Зеркало».

Чтобы угодить вкусу деревенских жительниц, бабушка пришивала к капорам украшения — бант, оборку или розетку из ленты. Эти украшения у нас назывались «вырви глаз».

Итак, мама со своими санками долго шла по студеной зимней дороге — сначала полем, потом лесом. Она чувствовала, что скоро будет деревня, и радовалась возможности, наконец, закурить.

Курила она тогда в лучшем случае махорку, а в худшем — нарезанную мелко обыкновенную сушеную траву, от которой она только кашляла, не получая никакого удовольствия.

Тогда курево у нее с собой было, беда в том, что не было спичек. Потому-то мама и обрадовалась, завидя вдалеке деревню. Ей так хотелось поскорее закурить, что она постучалась в самую первую избу.

Постучаться в деревенский дом значит в него войти. И вот мама в теплой избе. Печка была уже истоплена, это чувствовалось и по теплу, и по тому особенному вкусному запаху, который бывает в избах, где с утра истопили русскую печь. Русскую печь, в которой стоят чугуны со щами, томятся крынки с молоком и сковородка с картошкой, залитой яйцом. Даже страшно все это перечислять!

Но мама и не надеялась на угощение. Накормить ее могли люди, у которых она должна была ночевать.

Сейчас она попросила у хозяйки уголька, чтобы закурить «козью ножку». Сердитая хозяйка даже не пригласила маму сесть и обогреться, хотя было ясно, что мама не здешняя и пришла по морозу издалека.

«Нет у меня углей, я и печку сегодня не топила!» — закричала она. «Нет так нет», — ответила мама и вышла. Было очевидно, что хозяйка врет — ей просто не хотелось лезть в печку за углем.

Мама снова впряглась в свои санки. Она не была злым человеком, и хотя ей было обидно, она не могла пожелать зла этой женщине.

Но когда мама пошла прочь, в голове ее возник образ какого-то большого пожара и пронеслась странная мысль: «Сейчас она жалеет уголька, а ведь сколько будет огня!»

В какой-то другой избе мама обогрелась, прикурила самокрутку и пошла дальше в знакомое село.

Через день она возвращалась обратно. Вот и деревня, в которой мама просила огонька. Вместо крайнего дома, в который она заходила, стояла среди обгоревших раскиданных бревен закопченная русская печь с высокой трубой.

Маме стало нехорошо, и она чуть не села на свои санки.

Придя домой, она рассказала нам про этот случай, который стал первым в Андреевой коллекции мистических историй.

ЧЕЛОВЕК, ИСЧЕЗНУВШИЙ С ФОТОГРАФИИ

Среди фотографий, хранящихся у нас дома, было две таких: у стены дома в Гороховском переулке, где родители жили вместе с 1928 по конец 1934 года стоит папа. Он в светлой рубашке с закатанными чуть выше локтя рукавами, с темным галстуком. Одна рука — в кармане брюк, в другой он держит трубку. Папа совсем молодой, худой.

Рядом с ним — высокий человек в светлом пиджаке, ворот его рубашки расстегнут. Он тоже молод, у него кудрявые рыжеватые волосы. Фотография, конечно, черно-белая, просто я знаю этого человека — видела его в детстве и помню, какие у него были волосы. Это поэт из Югославии, черногорец Радуле Стийенский. Комсомолец, поверивший в идею мировой пролетарской революции, он вел подпольную работу

и был вынужден эмигрировать в Советский Союз. В Москве он был хорошо принят, его начали охотно печатать. Папа стал одним из переводчиков его поэм и стихов, написанных в стиле черногорского эпоса. Сам Радуле был человеком веселым, любил пошутить, а меня научил квакать по-лягушачьи. После того, как родители разошлись, Радуле продолжал часто появляться у нас — он ухаживал за мамой. Но мама считала, что ни один мужчина не может заменить ей мужа, а нам отца, и ухаживания Радуле ни к чему не привели. Позже он женился на ком-то и вернулся на родину. До меня дошло известие, что похоронен Радуле Стийенский под городом Цетинье.

Вот и вторая из этих двух фотографий, снятых Львом Горнунгом летом 1933 года. Сделана она там же, в Гороховском, только фоном служит другая, кирпичная, неоштукатуренная, стена.

Радуле сидит боком, рядом стоит во весь рост папа, видны его белые, наверное, начищенные зубным порошком, парусиновые туфли. Он повернулся вправо. В левой руке все та же трубка, а правая лежит на плече человека, стоявшего рядом.

На обеих фотографиях этот человек отсутствует, видны только часть его плеча и изгиб бедра. Почему-то мама отрезала фигуру третьего человека, присутствовавшего на снимке, и я долго ломала голову, кто же стоит рядом с папой? И только совсем недавно автор фотографий передал мне карточку с этим третьим персонажем.

Вот они все трое — Радуле Стийенский и два его переводчика — Арсений Тарковский и Аркадий Штейнберг. Да, это был он — поэт, художник, друг папиной молодости и его соавтор. Тоже с трубкой в руке и одет точно так же, как и папа — темные брюки, светлая рубашка с галстуком. Видно, мода тогда была такая.

Но почему же мама на обеих фотографиях отрезала его изображение? Я знаю, что когда-то она была сердита на Аркадия Штейнберга за то, что он слишком часто уводил папу из семьи в богемные компании. Но вряд ли мама из-за этого могла так расправиться со Штейнбергом. Не такой она была человек.

Ответ на свои недоумения я нашла в одном из маминых писем военного времени. Сообщая папе на фронт семейные новости, она пишет, что муж ее двоюродной сестры «там же, где был Аркадий Ш.». А муж тети Шуры был арестован во время войны по доносу провокатора и сослан в Воркуту. Значит Аркадий Акимович был тоже сослан!*

Вот тогда, когда забрали Аркадия, мама и уничтожила для безопасности его изображение.

Жили в страхе. Помню «топунов», которые даже в сильный мороз стояли вдоль Арбата — мыс мамой часто бывали там у ее подруги. Когда мы подходили к такой фигуре в темном стандартном пальто, мама потихоньку прижимала к себе мою руку и шептала: «Говори тихо!»

Аркадий Акимович вернулся из лагеря и был реабилитирован в 1955 году. Но их с папой дружба распалась из-за случая, раздутого недобрыми людьми.

Прошли годы. Я не знаю, встречались ли давние друзья и какими были их отношения. Но письмо, посланное папой Штейнбергу к семидесятилетию, хранит чувства дружбы и любви**. Вот оно:

« 11 января 1978.

Дорогой Аркадий!

Поздравляю тебя, друг моей юности, с твоим семидесятилетием, от всего сердца желаю тебе многих и многих книг, в том числе и книги

* А. А. Штейнберг был арестован дважды — в 1937—39 и в 1945—52 годах.

** Письмо А. А. Тарковского к А. А. Штейнбергу находится у Н. И. Тимофеевой и приводится здесь с ее разрешения.

твоих собственных стихотворений, надеясь на склонность судьбы все ставить на свое место. Я не верю, что твоя Муза навсегда останется незнакомкой для читателей, умеющих ценить как должно произведения подлинной поэзии. Я не вижу причин, по которым можно было бы лишить читателей радости, которую им доставило бы чтение твоей оригинальной книги.

Ты пишешь стихи не потому, что набил руку на переводах. Ты — переводчик, потому что всегда был поэтом. Твой Мильтон — шедевр, создание которого немыслимо для ремесленника-переводчика. Мне кажется, что самое поверхностное изучение твоей переводческой деятельности должно было бы привести к заинтересованности твоей оригинальной поэзией. Один из ранних твоих читателей, выражая отношение к тебе тех, кто изустно знал и знает твои стихи, я прошу тебя сделать все от тебя зависящее, чтобы твоя книга наконец увидела свет.

К сожалению, я не могу быть на твоём юбилейном вечере. Заочно крепко жму твои золотые руки и пророчу тебе славное восьмое десятилетие, полное более чем заслуженного тобою счастья.

Твой Арсений Тарковский».

... Однажды, лет двадцать назад, я шла с работы по тихой и зеленой Донской улице. Была весна. Высокий пожилой человек в черном свитере, с очень смуглым лицом гулял с собакой. Не зная, кто я, он посмотрел на меня живыми, выразительными глазами увядающего мужчины.

Я почему-то сразу поняла, что это Штейнберг, хотя не была с ним знакома и еще не видела фотографии, той, где они все вместе — папа, Радуле, Аркадий.

МЕДЕМ

*... И навстречу мне выходит Медем
В бумажной курточке своей.*

Это стихотворение написано папой в 1933 году. Он не включал его в свои сборники, как и многие другие ранние стихотворения. Оно вошло в одну из двух последних книг, изданных при его жизни, но составленных уже не им самим, с грубым названием «От юности до старости», которое присудили этому сборнику работники издательства.

Стихотворение «Медем» мне знакомо с раннего детства. Оно было записано папой в его черной тетради, с довоенных пор хранившейся у мамы.

Странная фамилия — Медем, музыка, звучащая в стихотворении, вызванная к жизни медвежьей рукой «лукавого великана», звоночек у двери, который следовало повернуть, и маленький босой мальчик — папа, робко играющий свой урок, — все это давало пищу моему детскому воображению.

Но мне не приходило в голову, что когда-нибудь я узнаю что-то конкретное о папином учителе музыки и что этот персонаж, казавшийся по-гофмановски фантастическим, обретет вполне реальные очертания...

Прошло много лет, и вот я в папином родном городе, куда ему так хотелось поехать вместе со мной. Его желанию не пришлось осуществиться, и теперь я одна хожу по улицам папиного детства — Большая Перспективная, Дворцовая, Александровская... Улицы то поднимаются вверх, то сбегают вниз, к Ингулу, теперь уже совсем обмелевшему.

Есть город, на реке стоит,
Но рыбы нет в реке,
И нищий дремлет на мосту
С тарелочкой в руке...

Разве это не чудо — проходить вдоль домов, мимо которых папа ходил в школу, открывать двери, к которым прикасалась его рука, встречаться с людьми, знавшими его совсем молодым.

Я иду по Карабинерной улице (папе, наверное, тоже нравилось это название) к Ирине Михайловне Бошняк, в уютный дом, сохранивший обстановку прежних лет.

Ирина Михайловна — подруга папиной молодости. У нее по-детски наивное, круглое лицо и блестящие молодые глаза. Она очень стара, но жива и общительна. Вряд ли она помнит, что было с ней вчера, но о событиях семидесятилетней давности рассказывает так, как будто они случились на днях.

Она говорит, и темноватая комната, заставленная роялем и мебелью красного дерева, заполняется странными фигурами из прошлого.

Вот старший брат папиных друзей Татьяна и Юры Никитиных, полукларик по имени Фауст, сидит в углу с иронической улыбкой. Вот нараспев, как настоящий поэт, читает стихи Миша Хороманский, уехавший в Польшу и ставший там известным литератором. А вот Лютик, брат Ирины Михайловны, с таким же круглым лицом и с густыми, как у отца, бровями.

Возникает фигура старого человека в опрятном сюртуке. Лицо его — как трагическая маска, глаза закрыты, он слеп. Ему предложили сесть в кресло. Рядом стоит стройный темноволосый юноша с тонким красивым лицом. Это папа, он привел к Бошнякам своего отца. Уже случилась революция, но в гостеприимном доме все еще собираются на музыкальные вечера.

В самое опасное время хозяин квартиры спасся из города и укрылся на хуторе немца-колониста. Не выдержав долгой разлуки с семьей, он вернулся в Елисаветград на повозке, запряженной верблюдом. Прохожие с удивлением смотрели на надменное животное, и никто не обратил внимания на Бошняка, в крестьянской одежде сидевшего на повозке.

А вот и герой папиного стихотворения — Михаил Петрович Медем, немецкий барон и русский патриот. Он был предводителем дворянства в Елисаветграде и дружил с отцом Ирины Михайловны.

Медем, действительно, высочайшего роста и добр, как ребенок. Он никогда не был женат, и хозяйство его вела экономка, преданно служившая ему до конца его дней.

После революции Медем остался в городе, и от преследования советских властей его спасло то, что он сразу записался на бирже артистов как художник-музыкант. В свое время он кончал консерваторию в Берлине и теперь дает уроки музыки, чтобы заработать на жизнь. Однако зарабатывал он немного, потому что половине своих учеников давал уроки бесплатно.

Медем — превосходный музыкант и блестящий исполнитель. Рука у него широкая, берет полторы октавы. Великолепная техника его игры сочетается с необыкновенным лиризмом. Он исполнял многих композиторов, но особенно выделял Рахманинова и был его страстным популяризатором.

В конце тридцатых годов в Кировоград (так стал называться Елисаветград) прибыл знаменитый тогда немецкий пианист Барер, товарищ Медема по Берлинской консерватории. Ему захотелось повидаться со старинным приятелем, и он, воспользовавшись дружбой двух вождей, совершил вояж на Украину.

В свой приезд Барер много играл — и в доме бывшего барона, и в общественных залах. Он был настоящий виртуоз, этот иностранец, но многие находили его игру бездушной. Вот он за инструментом, во фраке, с белоснежной бабочкой и в лакированных штиблетах.

— Это машина,— говорит мне тихо Ирина Николаевна.— И добавляет: — А Михаил Петрович играл задушевно.

И, клубясь в басах, летела свора,
Шла охота в путаном лесу,
Голоса охотничьего хора
За ручьем качались на весу.

.....

И еще не догадавшись, где я,
Из лесу не выбравшись еще,
Я урок ему играл, робея:
Медem клал мне руку на плечо.

ЗАПИСКИ О ПИСАТЕЛЯХ

Так получилось, что когда-то мне пришлось жить в Переделкине, видеть писательские дачи и даже встречаться с некоторыми из известных их обитателей. Встречи были случайные, и я думаю, что эти серьезные люди сразу же забыли о черненькой худышке, на которую однажды упал их взор. Но я почему-то хорошо запомнила эти ничего не значащие эпизоды.

Как-то, будучи в Переделкине, папа взял меня с собой на дачу к Корнею Ивановичу Чуковскому. Я была очень застенчивой, и внимание взрослых превращалось для меня в пытку. Теперь я ужасно боялась «дедушки Чуковского», того рекламного друга детворы, которого я видела в детских книгах и журналах. Я тащилась за папой, трясаясь от страха, что этот приторный старичок будет брать меня на колени и спрашивать, знаю ли я наизусть «Муху-Цокотуху». Но все оказалось иначе.

На мрачном тенистом участке у дачи нас встретил высокий седой старик. Выражение лица у него было озабоченное, почти сердитое. Он поздоровался с нами, поговорил о чем-то с папой, и мы ушли, даже не зайдя в дом. Я зря боялась, на меня Чуковский не обратил никакого внимания.

... Было яркое весеннее утро. Я и моя подруга Ира К. пошли прогуляться по поселку. Идем мимо писательских дач. Дачи слева, справа поле; вдали, на горе, кладбище. Мы не знали тогда, что пейзаж этот, воспетый Пастернаком, станет знаменитым, и относились к тому, что видели, безо всякого пиетета.

Идем мимо голубой дачи Павленко. У Павленко все голубое — и дача, и обложка книги «Счастье», я уж не говорю об ее содержании. Правда, «Счастье» я прочла позже, мы его в седьмом классе проходили.

Идем с Ирккой, настроение хорошее... Разговариваем о том, что на участке у Федина растут ландыши, но нарвать их никому не удастся — уж очень хорошо охраняет их хозяин. Подходим к фединской даче взявшись за руки — Ирка длинная, я маленькая, но обе по военному времени тощие и у обеих по две тощих кошечки.

И тут мы видим, что в саду за забором человек обрезает розы большими садовыми ножницами. Мы остановились с разинутыми ртами, потому что никогда еще не видели никого за таким занятием. А человек высокий, чуть сутулый, и брови торчком над круглыми глазами. И мы понимаем, что это сам Федин, который так хорошо стережет свои ландыши.

Вдруг Ирка мне шепчет: «Попроси-ка у него ножницы! Мне надо ногти на ногах постричь». Придет же такая блажь в голову! Но чего не сделаешь ради друга, и я очень вежливо говорю Федину: «Дайте нам, пожалуйста, на минуточку ножницы». Он изумился, подошел к за-

бору и спрашивает: «А зачем они вам?» Мне было стыдно говорить правду и пришлось врать: «У этой девочки шнурок на ботинке запутался, и нам надо его разрезать». Тут Ирка быстренько нагнулась и стала делать вид, будто пытается развязать шнурок.

Но Федин сейчас же нашелся, уж очень ему не хотелось давать ножницы незнакомым девчонкам. «Ну зачем же резать шнурок? Идите сюда, я вам его помогу развязать!»

Тогда мы что-то залепетали в ответ и бросились бежать. Бежали и умирали со смеху. И дома еще долго не могли успокоиться. А чего, собственно, тут было смешного?

Бедное, глупое детство!

А юность? Почему мы бываем такими легкомысленно-расточительными в юности? Почему, например, я отказалась поехать к Анне Ахматовой, когда папа звал меня с собой? Быть свидетелем встречи Ахматовой и Тарковского — за это любой поклонник поэзии многое бы отдал. А я как-то постеснялась...

В ранней молодости я дружила с Евгенией Владимировной Пастернак. Господи, что я такое говорю — «я дружила». Это она — милая, добрая, с «улыбкой вздох», удостоила меня своей дружбы. Не знаю, чем я ей понравилась, но мне кажется, что тогда она очень страдала от одиночества. С Евгенией Владимировной было легко, она быстро растопила мою нелюдимость. Мы ездили к ней за город — в Тучково, в Тарусу, она любила и понимала природу. Евгения Владимировна была художницей, ученицей Фалька. Она показывала мне свои картины, они были развешаны по стенам, стояли на полу — натюрморты, портреты.

Мой портрет, который она так и не успела закончить, был последней ее работой. Конечно, тогда он мне не понравился, я получилась совсем некрасивой. А Евгении Владимировне удалось главное — поймать и передать — в глазах, в улыбке — мою суть.

Она много мне рассказывала о семье Пастернака, о его родителях, сестрах. Однажды поведала о семейном горе — об увлечении Бориса Леонидовича Ивинской. Но, честно говоря, я не очень вникала в ее рассказы. Это была чужая жизнь, а чужая жизнь меня тогда мало интересовала. Наступала весна, и я была влюблена...

От Евгении Владимировны я знала, что Борис Леонидович каждый месяц приносит ей деньги. Он помогал не только своей бывшей жене — многие помнили его доброту.

Как-то, придя к ней на Дорогомиловскую набережную, я увидела, что она вся сияет: «Пришел Боря!» Она знакомила меня с Пастернаком так, будто дарила мне что-то необыкновенно драгоценное. Мне же он показался совсем обыкновенным — волосы с проседью, серое пальто. Я и не рассмотрела его как следует.

Но произнесенная глуховатым голосом фраза «Ваше лицо мне знакомо» смутила меня, юную дурочку. Этот голос и значительность его интонации заставили меня внимательнее взглянуть на Бориса Леонидовича.

Но он, торопливо распрощавшись, уже сбегал по лестнице.

КАРТИНА

Война еще не кончилась, где-то далеко от Москвы гремели выстрелы и гибли люди, а товарищ Сталин решил заняться народным образованием. Он захотел, чтобы советские мальчишки и девочки учились раздельно.

Ничего не поделаешь, мы с Андреем оказались в разных школах. Он в 554-й, недалеко от дома, в Стремянном переулке, а я — в 559-й, в Казачьем, на Полянке, куда надо было ездить на трамвае.

А еще через год, в сорок пятом, ввели школьную форму, сначала только для девочек. Мальчикам повезло больше — они еще долго ходили кто в чем, сохраняя неповторимость. А мы превратились в гимназисток — коричневые платья и черные фартуки. Но сталинская идея сделать из нас отштампованных по единому шаблону школьниц не прошла. Семьи-то были разные — и совсем бедные, и побогаче. Поэтому у одних девочек платья были из шерсти, у других — из сатина. И естественно, что при шерстяном платье и фартук был пофасонистее, а при сатиновом попроще.

У меня форма была не из лучших, но вполне приличная — бабушка постаралась, вспомнив свой гимназический наряд. За неимением ничего более подходящего, она пришила к моему воротнику-стойке старинные валансеньинские кружева. Мне они очень не нравились, явно допотопные, из бабушкиного сундука.

Была я девочка тихая, училась хорошо и сидела на первой парте. Поэтому со мной часто сажали для исправления отъявленных хулиганок и двоечниц, из которых получались потом воровки и районные проститутки. Но мне с ними нравилось сидеть, было веселее, чем с правильными отличницами.

На уроке рукоделия, от которого я была освобождена из-за распухших от авитаминоза рук, мы устраивались на полу возле теплого радиатора и рассказывали анекдоты. Помню, например, один. Идет военный. Ему интересно узнать, в честь взятия какого города салют. Навстречу ему бабка, несет в бидоне суфле (было такое соевое молоко). Военный спрашивает: «Бабушка, что взяли?» — «Суфле, милый, суфле». — «А где это Суфле?» — «Да тут, за углом!»

Вот от таких анекдотов мы тогда умирали со смеху...

Однажды наша учительница сказала, чтобы завтра мы пришли с чистыми воротничками и в глаженных галстуках — к нам придет художник.

На следующий день в класс вошел небольшого роста человек с артистической копной черных с проседью волос, похожий на Чарли Чаплина. Мы чинно сидели и смотрели на него, а он разглядывал нас, он искал модель для своей будущей картины, которая должна называться не то «Школьница», не то «Отличница».

Выбор художника пал на меня. Я должна была стоять у доски и писать мелом «Слава товарищу Сталину!» Вот только почерк у меня был неважный, и эти слова за меня приходилось писать учительнице.

И вот я начала оставаться после уроков и стоять у доски с мелом в руке. На завтрак в школе мы получали одну баранку и две конфеты-подушечки, поэтому к концу уроков очень хотелось есть. Но я все стояла у доски и стояла...

Наступила весна. Мои одноклассницы играли на школьном дворе в лапту или взявшись под ручки шли в «Ударник» смотреть кино. А я с мелом в онемевшей руке, поднятой к точке восклицательного знака, позировала у доски художнику.

Наконец он сказал, что кончил писать фигуру и что теперь ему надо делать эскиз головы. И велел прийти к нему домой.

В бедной, обставленной случайными вещами комнате, царил беспорядок и пахло кошкой. Скинув что-то со стула, художник усадил меня и начал рисовать. Но тут пришла сотрудница из районной библиотеки и, достав формуляр как обвинительный документ, стала требовать задержанные книги. Чарли Чаплин и его жена побледнели, засуетились и, сваливая друг на друга вину за пропавшие книги, бросились их искать.

Библиотекарша, олицетворяя непреклонную власть, стояла посреди комнаты с выражением брезгливого презрения на лице. По ней было видно, что у нее в комнате всегда полный порядок.

Наконец книги были найдены, и библиотекарша удалась. Но сеанс был испорчен. Художник не мог работать, у него тряслись руки, и меня отпустили домой.

А картина все-таки была дописана. В светлом классе, какие могли быть только в советской школе, стоит худенькая девочка в гимназической форме, с пионерским галстуком на шее, и выводит красивым, как на прописи, почерком здравицу великому вождю.

Но что-то было не то в этой картине, чего-то ей не хватало. Оптимизма, что ли?

ДВЕ ПЬЕСЫ

Мы с Андреем учились в разных школах, он в знаменитой на все Замоскворечье 554-й, в Стремянном переулке.

Как говорится, каков поп, таков и приход. Директор школы № 554 не был твердым правил и любил выпить, поэтому успеваемость и дисциплина в школе хромали.

Во время большой перемены школа являла собой подобие ада. Из дверей уборных вырывались клубы табачного дыма, который пластами стелился по коридорам. В этом ядовитом тумане носились ученики, сметая всех, кто попадался на их пути — первоклассников, учителей и случайных посетителей, вроде меня.

Я думаю, что среди грешников, обретавшихся в этом аду, Андрей был одним из самых злостных. Весь его дневник был исписан учителями, взывавшими к маме: «Мешал работать на уроке», «Вертелся и разговаривал с соседом», «Читал постороннюю книгу», «Опоздал на урок», «Пел на уроке»...

Наша женская школа № 559 была совсем другой, недаром она называлась у районных мальчишек «монастырем святой Ксении». Это нашу директоршу звали Ксения Николаевна, и она действительно превратила вверенную ей школу в нечто вроде монастыря. На уроках была тишина, а на переменках мы чинно прохаживались по коридору под надзором дежурной учительницы.

Но роднила обе наши школы любовь к театральному искусству. И в той и в другой были драматические кружки, только мужские роли у нас приходилось играть девочкам, а в Андреевой — женские исполнялись мальчишками. Вот такое неудобство породило раздельное обучение.

Я тоже записалась в кружок, хотя, как быстро выяснилось, публичные выступления мне были противопоказаны — от страха я не могла произнести на сцене ни слова. Но не обо мне речь.

Примой нашего драмкружка была, конечно, Галька Иванова, блондинка с бледным широким лицом, вдоль которого свисали две тонких косички. Галька играла все главные роли — она была Гердой в «Снежной королеве» и Зоей в пьесе Маргариты Алигер.

... Кончилась первая четверть, и было объявлено, что на Седьмое ноября в нашей школе будет вечер с художественной самодеятельностью. Об этом вечере узнали ребята из 554-й школы, и Андрей сказал, что они покажут у нас свою пьесу. Я ждала этого вечера с особыми чувствами.

Зал был полон, учителя во главе с директоршей сидели в первом ряду. Завуч в отглаженной гимнастерке поздравил всех с праздником и сообщил об «итогах первой четверти». Потом началась самодеятельность. Читали стихи о Великом Октябре и танцевали бессмертный матросский танец «Яблочко». Девочка-узбечка, жившая в узбекском представительстве на Полянке, сыграла на пианино «Похороны куклы». Наконец объявили «Зою». Зал, негромко гудевший во время «Похорон», затих.

Галька Иванова прошла к середине сцены и устроилась, полулежа, на полу. Сидящие в задних рядах вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Некоторое время она лежала молча, входя в образ, как бы очнувшись, потом приподнялась, протянула руку, показывая в дальний угол зала и проговорила: «Кто это там стоит у окна?» Все зрители повернулись к дальнему окну. Раздался смех, потому что там на подоконнике сидела наша одноклассница, хулиганка и двоечница, Валька Сидоркина.

Но Галька, не обращая внимания на смех как настоящая актриса, продолжала: «Ах, это вы, Иосиф Виссарионович!» Смех умолк. Теперь все очень серьезно смотрели на сцену. «Простите, я не могу встать, у меня болят ноги, но я сидя выслушаю Ваш приказ»...

Гальке долго хлопали, и она, откланявшись, довольная, пробежала на место, которое мы уважительно держали ей в зале.

И вот объявили, что выступит драмкружок из 554-й школы. Я была счастлива — сейчас все увидят моего брата. Андрей был объектом моей гордости и давал мне некоторое превосходство над одноклассниками — только у меня одной в классе был старший брат.

Вот и он — в длинном бабушкином платье времен НЭПа, в черной шляпе из японской рисовой соломки со страусовым пером. Нарумяненный, с накрашенными губами, Андрей изображал неверную графиню, которая, проводив мужа на охоту, принимала кавалера.

Друг Андрея, Слава Петров, играл глуповатого увальня-графа, который с криком «Графина!» в неурочный час вваливался на сцену. Изменница-графиня, то и дело поддергивая сползающий бюст, прятала любовника, а граф бегал за ней со шпагой в руке.

Зал хохотал — пьеска была хоть и глуповатой, но веселой и не похожей на то, к чему все привыкли. И ребята играли смешно, особенно Андрей с кокетливыми ужимками и подушкой вместо бюста.

Но вдруг я увидела лицо нашей директорши. Оно было застывшим, как маска. Директорша не смеялась. Перестала смеяться и я. Ну, все. Теперь начнутся разборки — кто придумал эту пьесу, кто разрешил выступать? Андрею попадет, еще из школы выгонят, если дело дойдет до РОНО.

Но Ксения Николаевна, видимо, не захотела выносить сор из избы. Репрессий не последовало. Только наша историчка, узнав, что это мой брат «блистал» на вечере, сказала: «Ну и ну!» — и покачала головой. Но глаза у нее смеялись.

Девчонкам нашим пьеса, в общем-то, понравилась. А Андрей был так хорош с накрашенными губами, что я потом долго таскала ему записки от старшеклассниц.

БРОШКА-ПАУК

Когда Андрей и я были маленькие, мама учила нас быть «лисыатами». Игруют лисята возле норы, а мать-лисица где-то поблизости. Вдруг — опасность. И по первому сигналу матери они сразу понимают, что надо спасаться, бежать в нору.

Так и мы должны были понимать маму с полуслова, с полувзгляда, и не только в тех случаях, когда речь шла об опасности. По выражению ее лица, по едва заметному пожатию маминой руки нам было понятно, как вести себя в тех или иных обстоятельствах, с тем или иным человеком.

Я была хорошим «лисенком», с Андреем было сложнее. Он не нуждался в чужом опыте и руководстве. Он должен был сам все испытывать, все испытать, набить себе синяков и ссадин...

Некоторые правила были для нас такими же непреложными, как, скажем, мытье рук перед едой. Нельзя брать чужого и нельзя лгать. Нельзя тянуть первым руку, когда здороваешься со взрослым. В транс-

порте надо уступать места старшим. Когда тебя угощают чем-нибудь, например, яблоками, надо взять то, которое поменьше.

Когда мамы не стало, я записала на листе бумаги другие ее «заповеди», некоторые из которых были скорее житейскими советами, чем нравственными нормами или правилами поведения.

Например, мама, которой многие годы приходилось занимать деньги, чтобы как-то сводить концы с концами, учила меня вовремя отдавать долги: «Если ты хоть раз подведешь человека и не отдашь долг в срок, ты уже туда не сможешь обратиться. Раз ты обещала, достань, перезайми, но обязательно верни, как обещала».

А еще как-то мама процитировала мне фразу из Чехова, что человек должен так себя держать, чтобы своим присутствием не создавать неудобств окружающим. Сама она жила и вела себя именно так — и в коммунальной квартире, и в трамвае, и на работе.

Были у нее и другие правила — не болтать зря и не рассказывать никому о своих несчастьях и заботах, о промахах и ошибках своих детей.

Не изворачиваться и не скрывать своих «преступлений», потому что «все тайное рано или поздно становится явным».

А еще, говорила мама, не спешить делать добро.

Как!? А я только и делала, что бросалась всем на помощь — переводила через улицу старушек и детей, провожала слепых, подхватывала чьи-то сумки.

«Да нет, — морщилась мама, — она всегда недовольно морщилась, если ее не сразу понимали, — я говорю не об этом. Бывают ситуации, когда ты жертвуешь последним для кого-то, а эта жертва не соответствует тому, ради чего она была принесена».

Ты помнишь соседку со Щипка, Ленку Осипову? Однажды прибегает она к нам на кухню, вся встрепанная, глаза безумные. «Марь Иванна, ради Бога, одолжите мне двадцать пять рублей. Я вам через неделю отдам. Мне так нужно, так нужно. Не знаю, что я буду делать, если не достану!»

У меня, — продолжала мама, — было ровно двадцать пять рублей — я думала дожить на них до полочки.

Но как тут не дать! Ленка прибежала в таком виде, наверное, у нее стряслось что-то серьезное. Отдала я ей эти двадцать пять рублей.

Минут через пятнадцать снова появляется Ленка. Она входит спокойно, на лице ее написана радость и глубокое удовлетворение.

«Марь Иванна, большое вам спасибо! Как вы меня выручили! Понимаете, приходит знакомая спекулянтка и приносит брошки. А у меня денег не хватает! Там разные были — зеленые, синие. Я выбрала этого. Смотрите, правда прелесть!»

На груди у Ленки был приколот ужасающего вида медный паук с длинными изогнутыми ногами и с огромной красной стекляшкой вместо живота — очень модная тогда брошка.

Ленка была вполне счастлива, а мне пришлось занимать, чтобы хлеба купить.

Это мелкий случай, бывали и посерьезнее. Так что никогда не бросайся помогать — дай человеку осмотреться, подумать, всегда выход найдется. Помогай, когда это действительно нужно».

Но мама была доброй и сама очень часто нарушала эту «заповедь».

ПАПИНА КВАРТИРА

В нашу комнату в доме № 26 можно было попасть, миновав темный сквозной коридор. Когда-то он казался мне очень длинным, хотя в него выходило всего по две двери с каждой стороны. Пол в коридоре был деревянным, и шаги идущего по нему человека были слышны изда-

лека. Папу узнать было совсем легко — в послевоенные годы он ходил на костылях, и их стук по деревянному настилу заставлял Андрея и меня срываться с места и бежать навстречу папе.

Так было и в тот день 1955 года, только дома почему-то, кроме меня, никого не было.

Папа пришел радостный, возбужденный, наскоро меня поцеловал и сразу же стал рассказывать новость. Он вступил в жилищный кооператив и только что был на собрании пайщиков. Дом, в котором у него с Татьяной Алексеевной будет квартира, должен строиться рядом со станцией метро «Аэропорт» на Ленинградском шоссе.

Папа достал из кармана бумажник, из него — сложенную «синьку», положил ее на стол и разгладил ладонью.

— Смотри, — сказал он. — Вот план квартиры. Здесь, — он показал на самую большую комнату, — будет жить Татьяна Алексеевна и одновременно будет столовая. Рядом, вот здесь, мой кабинет, он же спальня. Вот коридор. Направо от него — вход в кухню. Видишь, косую черточку? Это дверь. Вот это — ванная комната, а это — место, куда король ходит без свиты. Смотри дальше! Здесь кладовка, а налево маленькая комнатка, видишь, я здесь ставлю крестик... Здесь будешь жить ты, доня моя! Ты представляешь, солнышко, как нам хорошо будет вместе!

Вот это было для меня главной неожиданностью. Я ждалась, я знала, что ни за что не расстанусь с мамой, с бабушкой, с Андреем. К тому же папа, увлекшись, совсем забыл о существовании Алеши, сына Татьяны Алексеевны, но я-то понимала, что ему тоже должно найтись место в новой квартире.

Но папа был так счастлив от мысли, что я буду жить у него, что я не возразила ему, и мое молчание он принял за согласие...

Прошло два года, и летом 1957 года папа переехал на новую квартиру, в тот самый первый кооперативный писательский дом, где жили Андроников, Галич, Светлов, Симонов и другие писатели.

Дом был весьма респектабельным — с лифтами и с чистыми подъездами, в которых сидели вахтерши. Они спрашивали, в какую квартиру ты идешь. Однажды вахтерша, узнав, что я иду к Тарковским, сказала: «А, да! Они говорили, что домработницу ищут».

Папина квартира мне очень нравилась. Там было много солнца, а стены выкрашены по заказу папы светлой краской — в большой комнате чуть желтоватой, а в папиной — розовато-жемчужной.

На этих стенах очень красивы были картины Фалька — натюрморт в большой комнате, вид Парижа и нежный акварельный букет у папы в кабинете. Над папиным диваном висела старинная миниатюра — дама в чепце с кроткими голубыми глазами, а рядом с диваном стоял столик, на котором папа записывал стихи.

Папа умел создать у себя красивый уют, который и Андрей, и я особенно ценили, ведь мама была совсем равнодушна к быту, да и денег лишних у нее никогда не было.

На шкафчике у папы, справа от его дивана, стояли старинные чашки, которые он с увлечением собирал, — каждая новая чашка подолгу нами рассматривалась, и папа расшифровывал мне клеймо, стоявшее на доньшке.

А в самом шкафчике были разноцветные заграничные бутылки с экзотическими напитками, ликерами и кубинским ромом. Папа любил угощать меня ими и угощаться сам из маленьких серебряных стопочек. Он потешался, глядя, как я осторожно, но с удовольствием пробую вкусную крепкую грядкость. Он даже сочинил такой шуточный стишок:

Дочка дорогая, дорогая дочка,

Точка, запятая, запятая, точка.

Папу забывая, пьешь ликер, как бочка.

Точка, запятая, запятая, точка.

Папин кабинет был смежным с комнатой Татьяны Алексеевны, в одной части которой стоял обеденный стол со стульями, а в другой, за раздвигивающимися тяжелыми занавесками — ее тахта и большое зеркало с туалетным столиком. У стены стоял старинный папин диванчик, а остальная мебель была сделана Татьяной Алексеевной на заказ по шикарной геометрической моде тех лет.

Другим, кроме кабинета, нашим с папой любимым местом в квартире, была кухня. Туда вел коридор, вдоль которого стояли полки с книгами, не вместившимися в кабинет.

Кухня была замечательной, с новеньким финским гарнитуром и с «двухкамерной» нержавеющей мойкой — предметом, дотоле мною не виданным. Мы часто чаевничали на кухне, и папа, забывая, как всегда, взять костыль и прыгая на одной ноге, заваривал чай по своему особому рецепту — из смеси различных сортов с неизменным добавлением грузинского черного плиточного чая.

В маленькой комнате налево, в той самой, что была помечена на папином плане крестиком, жил Алеша.

К тому давнему разговору у нас на I Щиповском мы с папой никогда не возвращались.

ПЕРВЫЕ БАРДЫ

Если хорошенько припомнить, то начало бардовскому движению было положено еще в первой половине пятидесятых годов. Само название самодеятельных певцов — «барды» — появилось в обиходе несколько позже, уже в шестидесятых. А в пятидесятых говорилось описательно: «Приходите, у нас будет петь один человек. Он чудно аккомпанирует себе на гитаре».

Стало модным приглашать таких певцов в дом. Папина жена чутко реагировала на все новое и модное. И однажды, приехав к папе на дачу, а жил он в Голицыне постоянно до пятидесят седьмого года, я застала там гостей.

Это были муж и жена, назову их условно, Снегова и Востряковский. Они были поэтами по призванию, а занимались переводами. Тогда переводами жили многие поэты, даже такие великие, как Ахматова и Пастернак.

А Снегова и Востряковский еще сочиняли и пели под гитару песенки. Слава о них расползлась в литературных кругах, и в один прекрасный день они были приглашены Татьяной Алексеевной.

Меня представили гостям. Муж и жена показались мне немолодыми. Когда тебе двадцать лет, все, кому за сорок, кажутся стариками. Одеты они были бедно и выглядели какими-то потертыми и помятыми.

Когда все уселось, Востряковский взял в руки гитару, ударил по струнам, и супруги неожиданно бодро запели дуэтом. Они пели какие-то полулирические, полушуточные песенки, что-то вроде «Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу». Потом еще, на слова английских поэтов. Голоса у них слегка дрожали, а окончив одну песню, они, как заговорщики, сговаривались о следующей.

Папа сидел на стуле и изо всех сил старался слушать. Он был очень подвижным и нетерпеливым, и по его лицу я видела, как он страдает.

Татьяна Алексеевна расслаблялась, получая удовольствие, покурила папиросу. Папа смотрел на нее с завистью — свою сегодняшнюю норму он уже выкурил.

Наконец репертуар певцов был исчерпан. Татьяна Алексеевна рассыпалась в комплиментах, папа пробормотал смущенно: «Очень мило!»

Муж и жена сдержанно наклоняли головы. Они заметно утоми-

лись. Румянец, вызванный эмоциональным подъемом, постепенно сползал с их щек.

Пора было бы сесть за стол, подкрепиться. Ведь они приехали из Москвы, из дома вышли рано.

Но Татьяна Алексеевна, делая вид, что не замечает возникшей неловкости, продолжала занимать гостей. Какая-то невидимая граммофонная иголка в ее голове опустилась на пластинку с записью сценки, когда-то услышанной ею в электричке. Таких рассказов у нее было несколько, и мы с папой уже знали их наизусть. Сейчас, «на новенького», она с воодушевлением, на разные голоса разыгрывала первый эпизод. Какой-то военный, какая-то ревнивая бабенка, какая-то старуха-нищенка. Забавно, если слушать впервые.

Снегова и Востряковский бледно улыбались, папа ерзал на стуле, я окаменела. Ни папа, ни тем более я не смели ее остановить и попросить соорудить для них хотя бы чаю.

Наконец, когда окончательно стало ясно, что угощения не будет, гости, воспользовавшись просветом между рассказами, заспешили на станцию. Татьяна Алексеевна пошла проводить их до калитки. Из окна было видно, как супруги шли по улице — немолодые спины, усталая походка. У мужа в руке — гитара в черном сатиновом чехле. . .

Встреча с другим певцом, исполнителем и автором, произошла чуть позже. Андрея и меня пригласили послушать песни одни знакомые. Когда мы пришли, в тесной комнате уже собрался народ. Было крепко накурено. Все сидели вокруг стола, на котором стояла поллитровка и немудреная закуска. Сидящие на диване подвинулись, я втиснулась между двумя телами, Андрей устроился на валике.

Певец уже был здесь. Он сидел боком у стола, вытянув несгибающуюся ногу — может быть, у него был протез? Обнаженная гитара стояла рядом.

У певца было умное лицо постаревшего и сильно пьющего Мефистофеля. Было понятно, что водка и закуска в основном предназначались ему. Гости пришли не для того, чтобы есть и пить, они пришли слушать.

У меня возникло ощущение, что я прибщаюсь к чему-то тайному, запретному. Наверное, так когда-то могла себя чувствовать гимназистка, впервые пришедшая на конспиративную студенческую сходку.

Наконец все окончательно утрамбовались. Певцу налили стопку водки. Он выпил для затравки, закусил заботливо пододвинутым бутербродом. Взял гитару, подстроил ее. Чувствовалось, что он сознает свою значительность.

Когда наступила полная тишина, певец запел. У него был довольно красивый непоставленный баритон, но главное было не в его голосе, а в тех словах, которые он полупел, полуприговаривал.

Враги сожгли родную хату,

Сгубили всю его семью.

В этих строчках не оказалось ничего нового — все мы знали, какими извергами были фашисты.

Куда теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою?

Эти слова уже пробивались к сердцу, было в них что-то свежее, какое-то щемящее и правдивое чувство.

А исполнитель продолжал, перейдя на речитатив:

Не упрекай меня, Прасковья,

Что я пришел к тебе такой.

Хотел я выпить за здоровье,

А должен пить за упокой.

И все присутствующие, и мы с Андреем верили ему и грустили вместе с солдатом.

Последний же куплет взрывал все привычное, застрявшее в голове от бесконечного повторения, уничтожал армейское бодрчество, напоминал, что кроме «советского патриотизма», есть на свете любовь, сострадание, а может быть, и Бог.

Молчал солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
А на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Певец с лицом немолодого Мефистофеля замолчал, прикрыл струны ладонью и умело опрокинул опять наполненный кем-то стаканчик. . .

Потом только я узнала, что слова этой песни были написаны Михаилом Исаковским.

Вот с чего все началось.

ВЕРА ИВАНОВНА И ЗИНАИДА ПЕТРОВНА

Мама была человеком необыкновенным. Это понимали не только люди, близко ее знавшие, но и совершенно посторонние, соприкоснувшиеся с ней случайно.

Однажды в электричке я услышала разговор пассажиров. Один из них вспоминал о пожилой женщине, с которой случайно оказался на теплоходе, идущем по Волге в Москву. Эта попутчица рассказала ему, как она снимает «дачу» — сначала вместе с внуком они ищут по карте место, удаленное от больших городов, заводов и фабрик, и обязательно на реке. Потом она добирается туда и снимает жилье на лето.

— Это была моя мама, — сказала я. И добавила, увидев сомнение в глазах соседа. — На голове у нее была синяя косынка, и она курила «Север».

Пассажир посмотрел на меня с изумлением — все приметы совпадали. . .

Мама действительно выбирала места поглуше — ее привлекали милые названия маленьких городов и речек: Выкса, Муром, Судогда, Вянка, Юхоть.

Следуя такому своему пристрастию, весной 1971 года мама сняла «дачу» ни больше ни меньше, как в Оптиной пустыни, в этом знаменитом некогда монастыре.

В то время туда еще не возили экскурсантов, а о возрождении действующей обители никто и не помышлял. Монастырь был почти весь разрушен, и на его территории расплалась школа механизаторов. Сохранившиеся монастырские постройки использовались под учебные корпуса, а в скиту, в домиках старцев, жили учащиеся. И стояла посреди скита на зеленой траве деревянная чудо-церковь как надежда на возрождение. . .

С этими замечательными местами, прославленными русской литературой, наша семья была связана давно. Мамин отец, Иван Иванович Вишняков, уроженец Калуги, окончив юридический факультет Московского университета, в начале века работал судьей в Козельске. Городок этот, послуживший Достоевскому прообразом его Скотопригоньевска, расположен в полутора километрах от Оптиной пустыни.

Живя в Козельске, бабушка часто ездила в монастырь, и однажды, правя лошадей, сбилась с брода и застряла с телегой посреди реки Жыздры. Была бабушка молодой, веселой и заливалась смехом, глядя, как сестра ее мужа, скучная старая дева, недовольно ворча, спасает свои юбки от журчавшей кругом воды. А ехала тогда бабушка к старцу, чтобы спросить у него, разводиться ей с Иваном Ивановичем или нет, уж очень трудный был у него характер. . .

И вот весной 1971 года мама вспомнила свое раннее детство и

решила съездить «на разведку» в Козельск. В самом городе ей не понравилось, и она отправилась в Оптино, как тогда называлось селение на месте монастыря. Там она сняла на лето комнату в одноэтажном деревянном доме старой постройки.

В двухкомнатной квартире с кухней жили две соседки-подруги. Они принадлежали к абсолютно противоположным типам людей и составляли классическую пару, много раз описанную в литературе. С той только разницей, что «литературные» пары — Иван Иванович и Иван Никифорович, Хорь и Калиныч или Бувар и Пекюше — являлись особами мужского пола.

Наша хозяйка, Вера Ивановна, была небольшая худенькая старушка с выцветшими серыми глазами и с реденькими седыми волосами, собранными в тощий пучок. Одета она была в байковое платье-халат с пуговицами донизу, а на ногах носила кожаные спортивные тапочки на шнурках.

Отец ее был дьячком и пострадал от советской власти, и это семейное несчастье тяготело над Верой Ивановной многие годы. Совсем молодой она устроилась на почту в Козельске и была исполнительницей и тихой служащей. Замуж не вышла, долго мыкалась по чужим углам, пока не получила комнатку в Оптине. Был у Веры Ивановны небольшой огорожок, на котором она сажала картошку. Жила она на крохотную пенсию, но своей жизнью была вполне довольна и говорила, что у нее все есть.

Соседка Зинаида Петровна уговорила Веру Ивановну переехать в общую кухню и сдать маме комнату на лето. Зинаида Петровна хотела, чтобы на вырученные деньги Вера Ивановна справила себе новое зимнее пальто.

Зинаида Петровна была совсем непохожа на свою подругу. Она была крупной и ширококостной. Ее круглое веснушчатое лицо обрамляли рыжие с проседью кудряшки лихой «шестимесячной». Носила она темно-синий сарафан со спиной, перешитый из старого платья, и шерстяную кофту цвета «электрик».

В отличие от Веры Ивановны Зинаида Петровна не претендовала на культурность, говорила громко, резала правду-матку, перемежая ее порой нецензурными речениями. На руке у нее можно было прочесть наколку «Коля. Любовь», что наводило на мысли о бурной молодости Зинаиды Петровны.

Эти широкие руки с распухшими суставами свидетельствовали и о том, что ей пришлось много и тяжело работать. Она перепробовала отнюдь не женские профессии — была и откатчицей на шахте, и укладчицей асфальта, и пропиточницей шпал. В свое время Зинаида Петровна вышла замуж и родила сына, но муж у нее давно спился и умер, а сын пропал в тюрьме. . .

Жили обе соседки тихо и мирно, общая кухня в их квартире была чистенькой, кастрюльки блестели, а ведра с водой были накрыты аккуратными фанерками.

Иногда летним вечером, после длинного дня, заполненного бесчисленными немудреными делами, Вера Ивановна выходила на крыльцо и садилась на ступеньки, не на проходную часть, а в уголок, чтобы не испачкать свое платье-халат.

Приходила Зинаида Петровна, усаживалась рядом. Обе подруги закуривали, и начинался неспешный разговор — вспоминали прошлое, обсуждали виды на урожай огурцов, рассказывали последние оптинские новости — пьяный ученик-механизатор своротил трактором угол у столовой.

Комары звенели в теплом воздухе, смеркалось. . . Постепенно на тихие голоса беседующих собирались местные бездомные кошки, которых опекала Вера Ивановна. Требовательно мяукая, они терлись о ее

ноги в коричневых чулках в резиночку. Не желая выгладеть на людях сентиментальной, она притворно грубым голосом гнала кошек прочь. Потом, как бы нехотя, вставала, брала «кошачье» ведро и шла в столовую к механизаторам за отходами от ужина.

Кошки стаей бежали за ней. Их вертикально поднятые тонкие хвосты напоминали лес пик, как на картине Веласкеса «Сдача Бреды».

Вера Ивановна называла кошек «девками». Кормила она их каждый вечер, а мой сын Миша помогал ей...

Порой Зинаида Петровна выносила на крыльцо баян, оставшийся от мужа, и растягивая меха, пела песни хриплым, прокуренным голосом. Это был плохой признак — баян появлялся тогда, когда Зинаиде Петровне доводилось выпить. А уж если она начинала пить, то остановиться не могла — Зинаида Петровна была запойной.

«Забуксовала Зинаида Петровна», — говорила в таких случаях Вера Ивановна. Она делала все, чтобы ее подруга не появлялась пьяной на людях — приносила ей в комнату водку и еду, а в дни ее дежурств убирала кухню.

Примерно через неделю Зинаида Петровна с красным помятым лицом выходила из своей комнаты. Она была неразговорчива и, пряча глаза, старалась поскорее уйти из кухни.

Вера Ивановна никогда не укоряла подругу за ее слабость и резко пресекала все пересуды о своей соседке во дворе.

После нашего отъезда из Оптина мама переписывалась с Верой Ивановной. Из ее писем мы узнавали оптинские новости и известия о жизни соседок.

Первой умерла Зинаида Петровна — сердце не выдержало очередного запоя. Вера Ивановна еще какое-то время продолжала писать маме и в ответ на ее бандерольки с гостинцами прислала баночку крыжовенного варенья и нитку сухих опят.

А потом пришло письмо, написанное чужим почерком: «Уважаемая Мария Ивановна, подружка ваша, Вера Ивановна, скончалась...»

Мы с мамой и с Мишей прочли письмо, погоревали и стали вспоминать добрую Веру Ивановну и то лето в Оптиной — сказочный сосновый бор, светлую песчаную речку Жиздру и святые источники, бьющие из-под земли.

«Бабушка, а как же теперь кошки?» — спросил мой сын.

ЛЕСТНИЦА, ВЕДУЩАЯ В НЕБО

Бывают места, куда приходиться труднее, чем на кладбище...

Я не езжу на Щипок. Я не могу видеть, что стало с нашим бывшим домом в I Щиповском переулке, где жила наша семья, где прошло детство и кончилась юность Андрея.

Однажды молодой человек из группы документалистов, снимавших это убогое жилище еще до того, как оно было разрушено, спросил меня с наивной бестактностью: «Как же вас сюда занесло?»

Попробую рассказать...

Тарковские с детьми переехали на Щипок вечером 28 декабря 1934 года. В тот день был жестокий мороз, а посему Андрей был в зимнем пальтишке на шерстяном ватине, а я — в ватном голубом сатиновом одеяле. Мне было три месяца отроду, Андрюше — два года и девять.

До этого дня с двадцать восьмого года папа и мама жили в доме № 21 по Гороховскому переулку, в квартире семь. Дом этот был выстроен застройщиком на кооперативных началах. Когда мама в 1925 году приехала из Кинешмы в Москву учиться, бабушка дала денег на строительство комнаты. В одной квартире с мамой жили родные — бабушкина сестра Людмила Николаевна и ее дочь Шура с мужем.

Другая дочь тети Люси, тоже Людмила, жила с семьей на Щипке в доме № 26. Это был ведомственный дом фирмы ТЭЖЭ (мне так и не удалось расшифровать эту загадочную аббревиатуру) и принадлежал парфюмерному заводу, который находился рядом, во дворе.

С Люсей «маленькой» и поменялась мама — на Щипке было две смежных комнаты и не было тети Люси «большой» с ее деспотичным и капризным характером.

Итак, вечером 28 декабря состоялся наш переезд на Щипок. Переезжали на полуторном грузовике. Мама с нами сидела в кабине, а папа с Левушкой Горнунгом, помогавшим при переезде, в кузове вместе с вещами.

Как только Андрей оказался в комнате, он взобрался на широкий подоконник и запел свою любимую арию Ленского. Ему нравилось, что в пустой комнате голос звучит лучше, чем в заставленной, и пока родители перетаскивали вещи, он исполнил весь свой репертуар.

Андреева кровать с сеткой и плетеная корзина, куда укладывали меня, были установлены в дальней из двух комнат, окна которой выходили в небольшой внутренний, так называемый «задний двор». Эта комната была немного светлее и суше первой, окно которой упиралось в кирпичную стену соседней части дома. Может быть, снимая «Ностальгию», Андрей вспомнил именно это окно, окно без перспективы, окно безнадёжности?

Но в детстве такие мысли еще не приходили нам в голову. Эти две комнатки стали нашим отчим домом, нашим убежищем, нашей норой.

Как всякое жилище, наше тоже имело свой запах. Пахло сыростью, химическим заводом, книгами.

Книг было много. Папа, уходя, забрал только свои самые любимые. У нас остались тома «Жизни животных» Брэма с цветными картинками, которые прикрывались папиросной бумагой, собрание сочинений Пушкина — приложение к «Огоньку» советского времени, на грубой, почти оберточной бумаге, но зато с изображениями памятника Пушкину на обложке. В этом собрании я натолкнулась на том с «Гавриилиадой», и Андрей, узнав об этом, завладел томом и утащил его из дома к приятелям, где он и сгинул.

Много книг пропало и во время войны, когда поселившиеся у нас на время пожарники делали из них самокрутки. А Брэма продала мамина приятельница, надзиравшая за квартирой, пока мы были в эвакуации.

Из книг помню еще разрозненные экземпляры «Интернациональной литературы», папины «Сказки Гауфа» с картинками, «Историю одной вражды» с портретами Достоевского и Тургенева, каталог выставки художника Кончаловского.

В нем меня многое удивляло. Кончаловский изображал какой-то совсем другой, не похожий на наш, мир — изобильные натюрморты, дачные веранды с охотками тучной сирени. Макушки берез, написанные на фоне синего ветренного неба, назывались «Макушки берез». В этом названии уже было превосходство художника, ведь я говорила просто — «макушки».

Был в каталоге портрет упитанной девочки, которая, подперев щечку, горестно смотрела на своих многочисленных кукол. «Что мне с вами делать?» — гласила подпись. Дальше шел портрет мальчика. Уверенно расставив крепкие ноги и надувая щеки, он дул в охотничий рог. «Андрон Михалков». Запомнилось это необычное имя и ощущение какой-то другой, незнакомой жизни, где царили самоуверенность и сытость.

Конечно, эти детские впечатления были мною давно забыты, когда Андрей году в шестьдесят третьем познакомил меня с Андроном Ми-

халковым-Кончаловским. Андрон поцеловал мне руку и сказал высоким голосом: «Здравствуй, душенька!» И я вспомнила, как когда-то, сидя в полутемной комнате, где пахло сыростью и заводом, подолгу рассматривала его детский портрет. . .

Нашим родителям жизнь на Щипке не принесла счастья.

Утром первым просыпался Андрей. Он вставал в своей кровати и говорил: «Мама, давай одеваться!» Потом мама возилась со мной. Накормив обоих, она брала меня на руку, Андрея за руку и отправлялась на Зацепский рынок за молоком. Когда она возвращалась, папа еще спал, накануне он поздно возвратился или засиделся над переводами. Маме приходилось его будить. Надо было принести дров из сарая, затопить печку, выстирать пеленки, приготовить на керосинке обед, погулять с детьми, напоить их морковным соком.

Папа возмущался, что его будят, мама раздражалась. К вечеру, когда обессиленная мама кормила нас и укладывала спать и когда она сама только начинала жить, заходил папин приятель и соавтор по переводам, Аркадий Штейнберг, и они с папой уходили на весь вечер в Союз поэтов или к друзьям.

Летом мама увозила нас из города. Папа изредка приезжал на дачу, но чаще там бывал друг родителей, Лев Горнунг, который привозил продукты и керосин. Одна дачная хозяйка была очень удивлена, узнав, что отец детей вовсе не он. Порой мама находила в папиных карманах записки от женщин. Не знаю, как она реагировала на них. . .

Последних листьев жар сплошным самосожженьем
 Восходит на небо, и на пути твоём
 Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
 Каким последний год и мы с тобой живем.
 В заплаканных глазах отражена дорога,
 Как в поймах на пути кусты отражены.
 Не привередничай, не угрожай, не трогай,
 Не задевай лесной наволгшей тишины.
 Ты можешь услышать дыханье старой жизни:
 Осклизлые грибы в сырой траве растут,
 До самых сердцевин их проточили слизи,
 А кожу все-таки щекочет влажный зуд.
 Ты знаешь, как любовь похожа на угрозу:
 Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!
 А небо ежится и держит клен, как розу:
 Пусть жжет еще сильнее!— почти у самых глаз.*

Взаимное раздражение разъедало жизнь родителей. Папа старался уходить из дома. Тут — теснота, дети, заботы, уставшая жена, там — стихи, остроумные друзья, новые знакомства, интересные женщины.

По соседству, в Партийном переулке, жил Владимир Тренин, критик из круга Маяковского и Бурлюков. Папа влюбился в его жену, веселую и красивую Антонину Александровну.

Помню, как я сижу под столом и плачу: «Папа, не уходи!» Но папа ушел. В молодости он был рабом своих страстей. Это уже потом, когда его жизнь была почти исчерпана, он часто повторял мне придуманный им афоризм: «Каждая последующая жена хуже предыдущей». Значит, мама была все-таки лучшей.

Она никогда не винила в разладе только папу, в равной мере брала вину и на себя. «Эх, Ася, Ася, много глупостей наделали мы в жизни», — писала она папе во время войны. . .

В один из жарких июльских дней 92 года мне пришлось посетить Щипок. Теперь метро «Серпуховская» выходит прямо в Стремянный переулок. Совсем рядом — школа, где учился Андрей.

* Стихотворение «Игнатъевский лес» приводится в редакции 1935 года.

Иду по улице, по которой он каждый день ходил в школу, а мама — на работу в I Образцовую типографию.

Вот и наш дом, вернее — то, что было нашим домом. От него остался лишь остов, стены с пустыми окнами. Во время войны наш район сильно бомбили немцы, но наш дом тогда устоял. А вот теперь его разрушили свои. . .

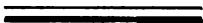
В дальней комнате, там, где стояла кровать Андрея, растет иван-чай. Что ж, мама и Андрей любили иван-чай. Он рос на земляничных вырубках, на пожарищах рядом с малинниками. Во время войны мы сушили и заваривали его листья.

Лестницы, ведущие в никуда. Или в небо. . . Одна железная, пожарная, на которую как-то залез трехлетний Андрей. Представляете, что было с мамой? Но она и виду не подала, чтобы не напугать его. Она крикнула ему: «Андрюша, ну как там наверху, хорошо?» — «Хорошо!» — ответил Андрюша. «Тогда подожди меня, я сейчас к тебе залезу!» Андрей ее дождал на верхней ступеньке, и мама, схватив его «поперек живота», по тонким перекладинам спустилась на землю.

Другая лестница, из белого камня, стертая не одним поколением жильцов, вела на второй этаж в квартиру семьи Гоппиус. Туда Андрей ходил заниматься музыкой, своего пианино у нас не было.

Руины дома отгорожены от улицы забором. За ним — свалка: битое стекло, тряпки, железки, остатки разноцветной штукатурки, ржавые батареи, которые когда-то грели нас. Философская проблема — красота безобразного. Андрея бы сюда — он бы снял здесь сцену для фильма о бренности всего сущего и о забвении.

Не надо было мне приходиться на Щипок.



Алексей Татарников

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Зимой в России больше боятся голода,
Реже выходят из дома — ценят уют.
Разводы в числе сокращаются, браки — растут.
Берегут тепло, затыкая окна.
Дым из труб выходит уже холодным.

С ноября по март — время бунта. В городах.
В деревне, в больших снегах, тише. Как будто...
Утром, чуть слышно звеня, иней ссыпается с досок.
На морозце заря, за туманом мерцающих блесток.
И плывет голова, и звезда, и душа снегиря
Над болотами великоросса.

* * *

Туманы наши пострашней
Туманов давешнего века,
И сны уродливей, при этом
Сбываются они верней.

Но вместе с тем в горящий дом
Несут комоды и посуду.
И значит, будем жить покуда,
И дети явятся притом.

Одно продленное мгновенье —
Мир замер после преступления.
И в позе страх и напряженье
При неизбежности движенья.

* * *

Миновали столетья и прежняя с ними земля.
Небеса и моря не распались, но переменились.
Свой разрушенный род Лот опять начинает с себя.
От закона — к пророку и впредь от пророка — к мессии.

Я — пророк Иоанн, ученик недостойный, но первый,
Пусть не все разумел, но открытого не утаил.
Вижу меркнувший свет, нисходящий от тайны вечерней,
Им омытые ноги направив в Иерусалим.

Ни камней, ни отклика мне в этом городе нет,
Угасающий род, да свершится реченное к сроку.
Тот, кто к Анне был вхож, кто не шел за Петром по воде,
Наблюдая приметы, бредет в темноту одиноко.

ПРОСТЕЦКИЕ ИСТОРИИ

ЗАГРАНИЦА НАМ НЕ ПОМОЖЕТ

В конце семидесятых молодой человек по имени Андриан с красным дипломом окончил Московский энергетический институт и был оставлен там же в аспирантуре, где досрочно защитил диссертацию и получил звание кандидата технических наук. Андриан был из известной в «энергетических» кругах профессорской семьи, сам он выглядел весьма привлекательно и интеллигентно: высокий красивый брюнет с добрыми глазами без, однако, налета барства, какое нередко присутствует у профессорских сынков. После аспирантуры его устроили заведующим сектором одного престижного института с роскошным по тем временам и для его, Андриана, возраста окладом. Все-таки ему было только 26 лет. Конечно же, среди женщин он пользовался успехом, многие старались завладеть его вниманием, нередко навязывались в гости, где тут же пытались помогать его маме-профессорше готовить салаты, резать хлеб, сервировать стол. Однако через год после начала работы на высокой должности Андриан женился на молоденькой медсестре из их ведомственной поликлиники. Она в гости к нему не набивалась, да и вдобавок, когда брала кровь из пальца Андриана, уколола очень больно. Андриан пригласил ее в гости, она пришла, но на кухню даже не заглянула. Эта медсестра Неля была красива, умна, воспитанна, начитанна, но казалось, что все это ей не нужно. Они поженились, и медсестра переехала жить к Андриану. «Я буду сам заниматься всем хозяйством», — торжественно заявил в первый же день Андриан, Неля не возражала. Родители, правда, не очень-то принимали такой расклад, но не вмешивались, а даже купили молодым кооперативную трехкомнатную квартиру в Теплом Стане. Андриан отшлифовал ее, оставил импортной мебелью. Вообще, солидный оклад и большие премии позволяли ему делать дорогие подарки жене: дубленку, вечернее бархатное платье, золотые украшения. Неля говорила «спасибо», но особого восторга не показывала, принимая это как должное. Между прочим, родителей своих она не знала, росла в детском доме, но ничего сиротского в ней нельзя было заметить. Через два года у них родился сын. Андриан заботился о малыше, как суетливая бабушка, — только он гулял с ним, читал ему книжки по вечерам, именно он рассказывал сыну сказки. Неля же больше времени проводила в своей комнате, слушая романсы или читая. Она уже не работала медсестрой, а числилась в каком-то научном институте, куда приходила раз в неделю печатать на машинке. В остальные дни она сидела дома, ничего не делала и никуда не ходила, даже в гости выбиралась с большой неохотой. Андриан был обеспокоен, привел к ней одного врача, другого — те ничего не могли понять. Потом Андриан притащил старикашку-профессора, который первым делом спросил у Нели, что ей не нравится в этой жизни. «Все», — четко ответила Неля. «Ну вот и отлично, — обрадовался старикашка, — теперь вы можете спокойно умереть». И тут Неля буквально взорвалась. Она орала и била старикашку по лицу кулаками, бросала в него разные предметы и в конце концов сломала старикашке руку. Он написал на нее заявление в милицию, она отделалась штрафом и грозными нравоучениями. После этого ее начали замечать в компаниях, где бывали иностранцы, преимущественно скандинавы. Она стала приходиться поздно домой, на вопросы Андриана, где она бывает и что с ней происходит, смеялась и говорила, что лечится

от смерти. Потом Андриану стали рассказывать, что Неля живет с таким-то датчанином, таким-то шведом, таким-то норвежцем. Он отказывался этому верить и у Нели ничего не спрашивал, но после того, как Неля стала отсутствовать по трое-четверо суток, решился и спросил, правда ли, что у нее есть кто-то другой. «Другие, — поправила Неля Андриана и рассмеялась, — никак не могу остановиться на ком-то одном». — «А зачем тебе на ком-то останавливаться?» — удивился наивный Андриан, ничего не знающий, кроме крепкой супружеской жизни своих родителей. «Зачем? — переспросила Неля. — Да затем, что мне здесь все надоело. Мне надоело здесь умирать. Не только в твоей квартире, но повсюду в этой стране. Я хочу жизни, красоты, чистоты и покоя». — «Ну и что?» — недоумевал кандидат технических наук. «Ну и то, — передразнила его Неля, — что я хочу жить в красивой, чистой, спокойной стране — где-нибудь в Дании или в Норвегии. И прежде всего — жить».

После этого разговора она вообще ушла из дома, и Андриан узнал, что она живет в роскошной двухкомнатной квартире в тихом переулке центра. Денег она у него не спрашивала, да и почти все ее вещи оставались у Андриана, а между тем говорили, что одевается она блестяще и квартира стоит немало, чуть ли не валютой оплачивается. Сын пока жил с Андрианом, он отводил его утром в сад, а вечером забирал домой, но через пару месяцев Неля сама забрала сына из детского сада и отвезла в свою новую квартиру. Андриан взорвался, стал у знакомых допытываться адрес Нели, но никто его не знал (или знали, но не говорили), правда, один парень дал ему телефон той квартиры. Он позвонил вечером, подошла Неля, Андриан стал ее ругать, даже кричать — раньше он не то что кричать, даже голоса повысить не мог, — требовать вернуть сына, обзывал грубо, а Неля ему ответила: «Не кричи, я в положении, на меня нельзя кричать». — «В положении? — удивился Андриан. — В каком?» Неля добродушно засмеялась и добавила, что сын хочет жить с ней и жить с ней не здесь, в Москве, а в Осло, куда она, Неля, уезжает к своему будущему мужу, от которого ждет ребенка. Потом был развод, Андриан сначала упорствовал, под нажимом своих родителей на развод не соглашался, но через месяц-два сник, потерял интерес ко всему, и развод состоялся. Андриан надеялся, что сын не захочет уезжать из Москвы и останется с ним, отцом, — все же он, отец, уделял ему гораздо больше времени, чем мать, но сын как будто совсем не переживал, что расстанется с Москвой, с московскими друзьями, и даже наоборот был в целом увлечен идеей жить за границей. После такого поворота событий Андриан взял за правило вечерами заходить в гости к знакомым и засиживаться там допоздна, но не напивался, а просто сидел, болтал обо всем, играл в карты, выпивал по пять-шесть чашек чая, и его с трудом удавалось отправлять домой около часу ночи. Впрочем, на работе он держался молодцом, активно участвовал в подготовке монографий, статей и даже вместе с коллективом принял участие в огромном митинге на Манежной площади в поддержку демократии. А между тем Неля готовилась к отъезду, собирала вещи, хотя особенно набирать ничего не нужно было, ибо, как говорил ей будущий супруг, у него в коттедже есть все на все случаи жизни, их, западной, норвежской жизни. Улетела Неля в начале сентября. В Шереметьеве она сидела в кафе с провожающими ее друзьями и подругами, радовалась, и они радовались, но кто-то уж слишком бурно, а кто-то сквозь слезы. На таможенне, однако, было не до веселья: почему-то придрались к ее помаде, духам и пудре, повели куда-то объясняться, сын шел с ней и плакал, а она не плакала, а ругала сына и вела себя с таможенниками вызывающе. Однако все прояснилось, ей принесли извинения, и она за двадцать минут до начала полета прошла в самолет. Было утро. Самолет летел

ровно и спокойно, и Неля успокоилась после инцидента с таможенниками. Сын спал. Неля поглаживала свой пятисполовиномесечный живот и смотрела из иллюминатора на облака, и ей хотелось на них попрыгать. Потом Неля задремала, а когда очнулась, то самолет еще летел, хотя, судя по всему, прошло уже много времени. Наконец объявили посадку, и Неля стала будить сына, но он спал так крепко, что не просыпался, дышал ровно, и она решила его не будить до полной остановки самолета. Самолет приземлился, подкатил к аэропорту; Неля смотрела с тревогой на незнакомые иностранные строения. Сын все спал, и как она ни старалась — не могла его разбудить. Так и понесла его на руках, так и проходила паспортный и таможенный контроль. Еще издавека Неля увидела своего будущего мужа, заулыбалась, быстро направилась к нему, сзади носильщик катил тележку с ее чемоданами. Неля поцеловалась с мужем, он распорядился, чтобы шофер отнес ребенка в симпатичный микроавтобус. Потом погрузили чемоданы, и Неля с мужем тоже сели в микроавтобус. Неля была взволнована: чем-то этот человек, встретивший ее в аэропорту, был не похож на того, с кем она была в Москве. То есть, без сомнения, это был ее муж, она его знала, но что-то неуловимо чужое, незнакомое увидела она в нем. Сын спал, положив голову на ее колени. Неля тихонько перебрасывалась с мужем английскими фразами, и ей показалось, что муж говорит по-английски хотя и правильно, но как-то не так, как раньше. Такое впечатление, что он боится сделать ошибку. Неля вдруг сказала несколько фраз по-норвежски и муж тоже ответил ей, но каждое слово он как бы подбирал, вспоминал. Неля вдруг испугалась. Она стала озираться по сторонам, напряженно вглядывалась из окна микроавтобуса. Дома были европейские, и улицы вполне походили на европейские, но ей казалось, что это все ненастоящее, декоративное. Почему-то на улицах было много людей, даже слишком много, какая-то толкучка, а потом люди пропали, и микроавтобус поехал по пустому бульвару, на котором росли роскошные деревья с широкими листьями и ярко-красными нахальными цветами. Неля очень удивилась этим цветам, чем-то нестерпимо южным от них повеяло, и она даже спросила у мужа: «А это Осло?» — «Олсо», — сказал он. «Как? — переспросила Неля. — Олсо?» — «Да», — ответил муж, повернулся к ней и засмеялся, и она не узнала его. «Остановите тут», — с дрожью произнесла она по-русски, а потом повторила по-английски. «Скоро мы будем дома», — сказал невозмутимо муж. Неля оцепенела; она смотрела в окно и видела современные кварталы многоэтажек — она даже вскрикнула: эти кварталы напоминали ей московские новостройки. Между тем дорога была широкая, очень даже широкая, а вот никаких машин ни навстречу, ни следом не попадалось. Неля вдруг начала трясти сына, стараясь его разбудить, однако мальчик спал и дышал спокойно. Муж не оборачивался. Ни с того ни с чего Неля стала ощущать свой живот и со страхом ощутила, что нет у нее никакого живота — все-таки шестой месяц идет, да и внутри себя она ничего не ощущает. Она запустила обе руки под платье, мяла живот, даже приподнялась, но беременности словно как не бывало. Она закрыла глаза, потому что что-то кольнуло у нее в груди, и так и просидела несколько минут, тут автобус остановился, и Неля глаза открыла. Автобус стоял около многоэтажного панельного дома, хорошо покрашенного в синевелый цвет. Светило яркое солнце, и у подъезда стояли две ярко-зеленые скамейки без спинок. «Вот мы и приехали», — услышала Неля слова мужа. Муж стоял у автобуса, но не улыбался, Неля смотрела на него и не могла понять: знает или не знает она этого человека. «Ноты писал о коттедже?» — нашлась что сказать Неля, чуть приоткрыв дверцу автобуса. «Вот он, — махнул рукой муж, — весь от первого до последнего этажа». Тут Неля увидела на подъезде табличку, напи-

санную какими-то странными неизвестными ей буквами в виде кружков и точек, и ей захотелось немедленно умереть — это было самое лучшее, что она еще могла сделать в этой жизни.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ

История эта такова: в семидесятых годах в Москве на мало кому известной Коптевской улице (что у метро «Войковская») в силикатной хрущобе проживал с матерью молодой редактор, филолог по образованию, а по имени Роман. Перебрались они сюда из коммуналки на Плющихе, на которой росли, согласно популярному кинофильму, три тополя. Однако от этого крохотная комнатка не становилась просторнее. Так что силикатная хрущоба с окнами на трамвайную линию была мерзенькая, но все же собственная жилплощадь. Впрочем, это обстоятельство радовало Романа не очень долго: сначала лязганье трамваев раздражало, потом — донимала абсолютная звукопроницаемость, когда сверху и снизу, справа и слева по ночам ему мешали заснуть скрипящие кровати. И совершенно озлобляли подъездная грязь, вонь и гнусная темнота: тяжело пробираться на пятый этаж в крошечной тьме по замусоренной лестнице. Да и на работе чего-то у него не ладилось. Роман считал редактирование малоблагодарной для себя поденщиной, ему хотелось быть творческим литератором, пусть даже критиком, публиковаться; он писал литературные обзоры, статьи, прозу тоже писал, но его не печатали глухо. Да и с редактированием ему не очень-то давали разбежаться — подбрасывали какие-то мелкие заметки, всякий мусор, в основной своей массе так и остававшийся тем мусором, который выкидывали в корзину. Роман поссорился с начальством, сменил место работы, устроился в редакцию журнала «Химия и жизнь», но и там его держали на вторых ролях — «Клуб юного химика», «Советы домашнему мастеру» и прочую чушь ему поручили вести — он обижался: как-никак ему было уже почти двадцать восемь лет.

Вскоре он охладел к работе, стал где-то пропадать вечерами и через несколько месяцев сообщил матери, что собрался жениться. Пригласил свою невесту домой, познакомил с матерью — было такое милое распитие двух бутылок сухого вина под ши и домашние котлеты. Невеста тоже была мила, хотя и работала в экономическом институте, подчиненном Госплану, занималась планированием рыбной промышленности. Силикатная хрущоба ее не отпугнула, и после свадьбы она переехала к мужу и вместе с ним, а вскоре и с родившимся сыном стала послушно слушать лязганье трамваев, и нюхать грязь и вонь подъезда, и спотыкаться на ступеньках во тьме.

Сыночек рос умненьким, проявлял особую способность к запоминанию и чтению стихов, которыми Роман насыщал его детский мозг так, что уже в первом классе сыночек удивлял учителей своим знанием Пушкина, Лермонтова, Тютчева и даже Есенина с Гумилевым. Все, в том числе и Роман, решили, что сыночек будет или поэтом, или артистом. Таким образом судьба сыночка была predetermined, а вот у самого Романа дела ни в какую не шли. В конце концов после серии скандалов он уволился и из «Химии с жизнью» и устроился учителем литературы в сыночкину школу. В школе литературу дети не любили — образ Онегина, лишние люди, бунт одинокого человека, кризис мелкопоместного дворянства на них навевали скуку и агрессивность — текстов они не знали, а Роман требовал знания и беспощадно ставил двойки и тройки; его вызвала к себе директриса и прочитала нотацию: дама она была видная, строгая, гремевшая при ходьбе связкой ключей. Это напоминало лязганье трамваев на Коптевской улице. От жизни, как и от трамвайных рельсов, деться было некуда.

Так это продолжалось до восьмидесятых годов, когда в один из

осенних вечеров в период чередования смертей генсеков Роману позвонили домой и представились знакомыми его родственников из Китая. Эти знакомые родственники приехали в Москву с делегацией в качестве переводчиков и хотели бы передать письмо и маленькие сувениры для Романа и его семьи. Тут надо обязательно сказать, что отец Романа был по национальности китайцем; он работал в Москве в пятидесятых годах, а потом по служебным делам уехал в Китай и там и остался. Сначала писал, потом письма от него перестали приходить, а потом стало известно, что отец умер — инфаркт у него случился. Роман не помнил отца, а уж родственников никаких и в глаза не видел (даже на фотографиях), но к гостинице «Пекин» подошел в строго назначенное время. Его встретили две дамы, блестяще говорящие по-русски, веселые, красиво одетые, передали Роману небольшой пакетик. В пакетике был изящный веер, простенькая зажигалка, две баночки чая и конверт, куда были вложены два листа, исписанные иероглифами. Чтобы прочесть эти странные знаки, Роману пришлось звонить этим дамам из Китая (благо они оставили свой телефон) и напрашиваться к ним в гости. Мать-пенсионерка была очень недовольна, сухо поджимала губы и непонятное что-то говорила о пропавшей молодости и опасности связей с иностранцами. Со скандалом Роман ушел на это рандеву; сыночек глядел на него жалостливо — он уже три дня не читал никаких стихов.

Прием поразил Романа: дамы подали жасминовый чай в высоких чашках с крышечками, ароматизированную китайскую водку в пузатой синей бутылке, сушеные медузы, поджаренные орешки, засахаренные фрукты. Очень красивы были коробочки, бутылочки и пакетики — Роман не сводил глаз с цветных экзотических рисунков и надписей.

В конверте было короткое послание от родственников, которых он не знал и которые поздравляли его с Новым годом (почему?), и что неожиданно — было приглашение от них же приехать в Пекин. Роман испугался — он себе и представить не мог, где находится этот самый Пекин; дамы же его воодушевляли, — особенно старалась та, что помоложе была, — вдохновенно расписывали, как красив и уникален Китай. Голова у Романа кружилась — все-таки водка была 65 градусов. Дамы оставили свой пекинский адрес, приглашали в гости.

Короче говоря, Роману нестерпимо захотелось побывать в Китае, он оформил документы и спустя четыре месяца выехал на поезде Москва—Пекин. Заказов ему надавали — что купить: жена — кофточки, белье, халат и туфли, сыночек — игрушки; тетка жены — зонт, полотенце и красивые вазы. А вот мать ничего не заказала, только хмуро от-малчивалась. И даже на вокзал не пришла его провожать.

В Пекине Роман поселился у родственников в тесной двухкомнатной квартире, где постоянно сновали какие-то разновозрастные дети и незнакомые одинаково одетые люди. Он от этого очень уставал, да и еда была непривычной — никак не мог досыта наестся. Он позвонил одной из дам — той, что была помоложе, — и сразу же был приглашен в гости. Дама жила в огромной квартире — пять комнат, да еще горничная была, которая покупала продукты, готовила еду и подавала на стол. Кстати, угощали Романа русскими кушаньями — отварной картошкой, борщом, сыром (откуда только достали?), солеными огурчиками и маринованными грибочками (это в Китае-то — родине чая, риса и фейхоа!). Роман стал заходить сюда чуть ли не ежедневно, а иногда вовсе оставался на ночь. Утром горничная готовила типичный китайский завтрак: салат из корней лотоса, побеги молодого бамбука, рыбу в соевом соусе, яйца, сваренные в чае. Потом они с Викой (так дама просила себя называть) гуляли по Пекину: у Романа голова кружилась от обилия красивых товаров, которыми были забиты магазины.

И вот случилось так, что за день до отъезда в Москву Роман предложил Вике стать его женой и она согласилась. Произошло это в Храме Неба под палящим солнцем. Спустя сутки Роман, нагруженный сверх головы выполненными и перевыполненными заказами, выехал в Москву и сразу по приезде подал на развод. Жена сцен не устраивала, а молча перебралась с сыночком к своей тетке, которая жила в подмосковном городишке Электроугли. Роман мучился: жена не разрешала ему видаться с сыночком, а он так хотел услышать, как сыночек читает стихи. Все-таки адрес тетки он узнал и поехал в эти Электроугли, шарил по городу несколько часов, устал, но ни улицы такой не нашел, ни дома. Развод тем временем состоялся, а после Нового года в Москву приехала Вика с очередной китайской делегацией, они с Романом подали документы в загс и после преодоления некоторых сложностей стали мужем и женой. Жить они решили в Пекине, потому что в Москве было негде жить и потому что в Пекине, по словам Вики, Роману светила выгодная работа, за которую платили в валюте, — так ей якобы кто-то что-то обещал.

Роман был горд, гордо уволился из «Химической жизни», на бойкот, который объявила ему мать, поплевывал свысока, а вот страдал сильно, очень страдал из-за разлуки с сыночком. Поэтому приходилось ему самому себе вечерами вслух читать стихи Пушкина, Лермонтова и Гумилева с Мандельштамом. Перед отъездом пытался Роман напоследок пробиться к сыночку, но точного адреса ему не давали, а шататься вслепую по темным Электроуглям он не решился. Так и уехал Роман, не услышав Есенина в исполнении своего сыночка.

Поэтому в поезде он был сумрачен, хандрил, Вика старалась его расшевелить, знакомила с иностранцами, которыми был набит вагон СВ, втягивала в разговоры. Она хорошо говорила по-английски и по-немецки, была обаятельна. Роман с натугой вспоминал обрывки фраз из школьных и институтских занятий по английскому языку, с удивлением и жалостью обнаружив, что английский язык, которым он вполне прилично владел, им забыт. К концу шестого дня пути перед самым Пекином он, впрочем, кое-что сумел наверстать и уже бойко разговаривал с одним голландцем, который повадился захаживать в их с Викой купе с бутылкой то водки, то коньяка: бутылки он закупил в Москве в большом количестве.

В Пекине молодые супруги поселились в уже известной Роману огромной квартире, где проживала еще и Викина тетка, сестра матери. Поначалу все было прекрасно: и кулинарное искусство горничной (которую все называли нянькой), и хождения по гостям, и прочая экзотика с посещением Великой Стены, усыпальниц императоров в Шисанлине, курорта Бэдайхэ. Однако с работой как-то не складывалось: то, что Вике обещали, — а обещали ей место преподавателя русского языка в университете, — пока не получалось. Едва нашлось место в каком-то техническом отраслевом научном институте: вести факультативные занятия по русскому языку. Работа Роману не нравилась: от него требовали не разговорного языка, а обучения переводу технических текстов — что-то из области гидротехники. Роман путался в технических терминах, вел занятия неровно. К тому же здесь платили не так много — не как иностранному специалисту. Роман мучился, спустя несколько занятий попробовал им почитать Пушкина — наивный, его не поняли. Так он промаялся полгода, а потом все-таки Вика смогла его устроить в редакцию экономического журнала. Деньги там платили приличные, тем более что часть в валюте; правда, до Тютчева там было тоже ой как далеко, но все-таки хоть малое соприкосновение с нормальным русским языком. Ведь только дома Роман мог разговаривать по-русски с Викой, которая была беременна и часто теперь проводила время в постели; нянька — сколько он ни пытался ее

учить — не могла понять русские слова, тетка — та вообще иностранных слов не воспринимала. Роману пришлось кое-чему научиться в китайском языке, однако дальше двух-трех десятков фраз дело не пошло. Приходилось ему Пушкина и Тютчева читать самому себе перед зеркалом. При этом вспоминался ему сыночек в далекой Москве, где началась непонятная ему, Роману, перестройка, о которой в Китае совсем ничего не писали и не говорили по телевизору. Письма из Москвы он получал редко — так, кое-что от дальних родственников, которые писали сухо: явно были настроены против его перемен, и от одного приятеля — мужика лет пятидесяти, который тоже что-то когда-то кропал (рассказы или стихи) и часто отирался у Романа в «Химии и жизни». Мужик с гордостью хвалился, что его напечатали в «Знамени» и «Студенческом меридиане», хотя печатать его повесть «Опустошение» в «Юности». Как ни странно, но Роман помнил эту повесть, она была про то, как однажды сотрудники некоего института получили задание разработать программу осушения Каспийского моря. Повесть была сатирическая, вскрывала, разоблачала и обличала.

Вика родила в конце февраля, как раз во время празднования Нового года по лунному календарю. Мальчик родился очень маленький, очень беленький. Роман дал ему имя Егор, однако нянька никак не могла правильно выговорить это имя, говорила то Ига, то Еголя... Мальчик спал в комнате няньки, она же его кормила, одевала и укладывала спать, гуляла с ним во дворе, где он вызывал повышенное любопытство со стороны китайцев своей абсолютной белесостью. Спустя полгода со дня рождения Егора в Пекин приехали родители Вики из Харбина на смотрины. Строго говоря, эта пекинская квартира была их, а в Харбине они работали — занимали какие-то высокие посты — работали уже несколько лет и также намеревались и дальше там работать. Родители немного говорили по-русски, однако были разочарованы некитайским видом внука. Впрочем, это не помешало им в течение месяца своего пребывания ежедневно гулять с ним утром и вечером.

Потом работы у Романа прибавилось: ему стали давать на редактирование длинные обзоры по науке и культуре, он стал часто задерживаться на службе допоздна и возвращался домой на такси, что было дорого. Велосипед он так и не освоил: ему казалось слишком унизительным развезжать на велосипеде среди торговцев бататом и перевозчиков ящиков с пивом. Сына он стал редко видеть — разве что по выходным дням, когда нянька ходила за продуктами или ездила в деревню к родственникам. А так Егор был всецело перепоручен няньке, которая блестяще с ним управлялась: мальчик был всегда вовремя накормлен, выгулен, уложен спать. К няньке приходила подруга, веселая девчонка из деревни, которая умилялась до визга беленькими волосиками Егора, постоянно перебирала их, гладила. Даже целовала. Она знала много народных песен, распевала их постоянно Егорке, и он ей пытался как-то по-детски подпевать, подвывать, смешно произнося китайские слова, похожие на щебет райских птиц. Однажды Роман услышал, как сын щебечет под нос какую-то мелодию, выстраивая солдатиков на ковре. Он пропевал какие-то совсем незнакомые Роману слова. «Что ты поешь? — кинулся к нему Роман, — что это?» Но Егор испуганно посмотрел на отца и заплакал. Нянька прибежала, стала утешать мальчика. Роман кричал на няньку — нянька ничего не понимала. Выползла из дальней комнаты тетка, стала что-то верещать по-китайски — Роман кричал ей в ответ по-русски. Нянька унесла ребенка к себе в комнату. Роман продолжал лаяться с теткой, которая повторяла «спасибо-пожалуйста» и «ельки—пальки». Вика же находилась у родителей в Харбине, он ей звонил, но было занято; он устал и завалился спать, не поев на ужин своих любимых креветок.

Со следующего дня он стал разговаривать с нянькой только по-русски. Нянька испуганно жалась к стенке, просыпала на пол чумизу — долго потом ее собирала по всей квартире. Пришла ее веселая подруга, но и вдвоем они мало что смогли понять в незнакомых их слуху словах. Когда приехала Вика, Роман потребовал, чтобы она объяснила няньке, что теперь она, нянька, должна говорить с мальчиком по-русски. Или пусть ищет себе другую работу. Вика заявила, что это чушь, нянька никогда не сможет говорить по-русски и никакая другая нянька тоже не сможет этого; Роман настаивал на своем, они поругались и не разговаривали месяц. Зато теперь Роман как только приходил с работы, так сразу же забирал у няньки сына и начинал учить его русскому языку. «Это — стол,— говорил он громко и показывал на большой круглый стол в центре гостиной,— а это — кровать». Потом он вел сына на кухню, где трудилась нянька, и также громко называл по-русски все, что там находилось: зелень, сваленную прямо на пол; рыб, плавающих в пластмассовом тазу; миски, термосы, ножи с широкими лезвиями и прочее. Нянька после этих филологических визитов стала допускать непростительные ошибки в приготовлении еды и в конце концов была вынуждена уволиться. Пришлось взять другую, которая русского языка тоже не знала, но понимала по-английски несколько фраз. Это качество новой няньки почему-то успокоило Романа, и он даже прекратил свои уроки. Однако спустя месяца два Егорка как-то подошел к нему и что-то спросил — Роман не понял. «Что ты сказал? — грозно спросил он сына,— скажи так, как я тебя учил». Но Егорка опять залепетал что-то по-китайски. Роман грохнул кулаком по столу, термос упал на пол и разбился. «Повторяй за мной,— закричал он,— я хочу, ты хочешь, он хочет». Мальчик заплакал. «Повторяй,— вскочил со стула Роман,— я иду,— он ткнул пальцем в свой живот и сделал три чеканных шага,— ты идешь,— он ткнул Егорку в живот, да, видно, перестарался — мальчик заплакал сильнее,— она идет». Тут вошла Вика, Егорка бросился к ней и на китайском языке начал жаловаться своей мамочке.

Между тем Роман начал получать письма из Москвы от сыночка. Сыночек почему-то писал по-английски, довольно неплохо писал, почти без ошибок. Роман недоумевал, написал ему в ответ по-русски и даже в одном из писем процитировал сыночку почти всю «Сказку о рыбаке и рыбке». Однако сыночек упорно продолжал изъясняться на английском языке, причем письма писал длинные, аналитические про ситуацию в стране, гласность, новые публикации — очень даже умно излагал. Роман переводил с трудом. Подолгу рылся в словарях.

Как-то он услышал, как новая нянька ругается на Егорку, и ругается по-китайски, разумеется, а Егорка ей плаксиво дерзит на этом же языке. Романа это возмутило, он вошел в комнату няньки, грозный такой, нянька испугалась, повторила несколько раз «Don't Worry, I'm sorry». Произношение у нее было неплохое. Роман это отметил про себя. Он опять попытался учить сына русскому языку, читал ему стихи Пушкина, Есенина, Блока, однако в конце концов мальчик стал произносить и понимать лишь несколько слов. С Викторией у Романа начались постоянные конфликты на этой почве; потом случилось так, что они поссорились не на шутку. Вика сказала, что так жить невозможно, Роман неожиданно согласился с ней и заявил, что уезжает в Москву навсегда. И берет с собой Егорку. Вика вызвала родителей из Харбина, родители приехали с кучей родственников и знакомых — все они ночевали в этой квартире. Егорка крутился среди них, разговаривал, к отцу не подходил, сторонился отца. Роману пришлось уезжать одному. С билетами было трудно, достать билет удалось на конец ноября. У Романа оказался очень большой груз: и телевизор он вывозил, и видак, и два кассетника, и барахла кучу, и даже два круглых складных стола. Пришлось заказывать микроавтобус, чтобы доставить

это имущество к вокзалу. За день до отъезда Роман напился в своей комнате в одиночку и, напившись, подумал о том, что вот возьмет он и увезет Егорку силой с собой в Москву.

Полночи он лелеял эту мысль, а проснувшись к обеду, испугался и постарался все забыть. Погрузился он в поезд без проблем — правда, пришлось подарить проводникам по плееру. В купе он ехал один. На границе таможня его совсем не терзала, однако когда поезд проехал Читу, к нему в купе стали заглядывать какие-то подозрительные личности, спрашивали — не продает ли он что-либо. Роман не продавал. Как-то — когда уже проехали Байкал — он вышел в туалет на минутку и забыл закрыть дверь, а когда вернулся, то обнаружил пропажу двух сумок, которые стояли под столиком и поэтому были на виду. В сумках была еда, небольшой термос, три вазочки, купленные на приграничной станции Маньчжурия, и еще какие-то мелкие вещички. И были там книги: томик Куприна, сборник повестей Ч. Айтматова, стихотворные сборники Пушкина и Есенина. Роман выглянул в коридор: у окна стояла молодая пара из Франции и пялилась на зеленое море тайги, которое уже было не зеленым, а белым. Они — эти французы — вечно стояли около этого окна. И попивали баночное пиво. Роман закрыл дверь в купе. Он начал было вслух читать: «Буря мглою небо кроет. . .», но дальше не мог вспомнить. Тогда он вышел в коридор, как пьяный качаясь, подошел к поглощенным красотами тайги французам и произнес: «Буря мглою небо кроет. . .» Парень и девушка посмотрели на него, пожали плечами и снова уставились в окно. За окном шел снег, ветер раскачивал ветви деревьев. «Буря мглою небо кроет. . .» — прошептал Роман, и тут поезд резко качнуло, и Роман не удержался и рухнул в проход, ударившись головой о дверь своего купе. Его перенесли в купе, положили на постель; девушка-француженка, которая пялилась в окно, смачивала ему лоб мокрым полотенцем, что-то приговаривала по-французски. За окном уже бушевала настоящая метель — ее вой проникал в купе. Поезд с усилием продирался через снежные вихри к Москве.

Нина Садур

УТЮГИ И АЛМАЗЫ

Из цикла «Бессмертники»

Евреи Розенфельды, человек шесть-восемь, жили в Магадане. Им нравилось, скрепя сердце. Пока впрямую не всплыл далекий Израиль, печальный, как рахат-лукум. Он посмотрел на них сквозь весь мир из-под тяжелых век и позвал детей своих. Сжалось сердце. Розенфельды сказали друг другу: поедем, чтоб дети наши обрели Родину, а дети детей наших не догадались бы даже, что есть на свете Чужбина.

Старшие евреи заплакали, они не понимали, зачем Магадан им чужбина. Магадан, этот суровый, голодноватый край, но эти восемь человек евреев родились там, и их родители тоже родились там, в Израиле же никто из них не рождался, и им было боязно. Но надо было ехать, чтоб рожать в Израиле и раз, и два, и три, чтоб потом сказать: во-он бежит кудрявое дитя на золотистых ножках, и сердечко у него легонькое, а в душе сладковатый сквозняк милого детства, это дитя другой страны не знает, это тутошнее дитя. Радуйтесь! Им захотелось изведать эту необычную радость.

Все Розенфельды продали квартиры и стали жить у племянника, Алика Розенфельда в его единственной комнатке. В ожидании, когда отпустят. Стало тесно, но более-менее разрозненная родня (от великих холодных просторов их слегка разметало) с удивлением заметила, что не раздражается от нестерпимой тесноты, а, наоборот, сильнее жметя друг к другу. А ведь все они имели просторные квартиры, в отличие от русского рабочего класса. Что и говорить, евреи жить умеют!

И вот они жмутся друг к другу в однокомнатной скорлупке Алика, не понимая, почему не раздражаются, и тут вспоминают: в ветхозаветные времена люди так и жили — это в них перед скитаниями запыла струна смуглых патриархальных времен.

Вечерами старики собирались у окна и вполголоса обсуждали, много ли было горя? — не больше, чем хитрости; а счастья — не меньше, чем покоя. Но оглядеться, чтоб увидеть лучшие судьбы, было нельзя — кругом, в суровом Магадане, в тиши его зимнего вечера мерцали такие же жизни этого города. Такие да не такие — им до конца терпеть эту нелюбящую землю и не знать, что жизнь их есть просто длинное терпение.

Старики смотрели в окно на синеющий снег и тайно вздыхали, вспоминая скрипучие пимики своего детства. Они спрашивали друг друга, смогут ли выучить тяжелый шоколадный иврит, а если смогут, то что станет с этим языком, на котором они сейчас говорят, тайно друг от друга прошептывая про себя: «Мой родной язык». Говорить на этом чужом, но единственном языке стало неловко, и старики много молчали, глядя в окно на блистающий синеющий снег. Где следы от маленьких пимиков? Сурово и царственно блистал девственный снег.

А молодежь в это время грезилла на кухне. Алик Розенфельд, зеленатый худенький юноша, умеющий ловко рисовать цветные картинки, прислушивался к тугим стукам своего сердечка. Он знал — его ждут великие картины, которые он нарисует в Израиле. Остальная молодежь тоже мечтала: девушки о тимпанах и плавных нарядах, юноши о толстых мешках с деньгами и солидных беседах ранним вечером, когда солнце заливает огнем все небо Израиля. Тут же, пониже в ногах, баловались младшие. Они мечтали полететь на самолете.

Проданные квартиры принесли Розенфельдам двадцать тысяч рублей. Решено было на эти деньги купить бриллиантов в ювелирном магазине и отвезти эти твердые злые камушки в Израиль. Наверное, чтобы южная страна поняла, наконец, как нестерпимо сверкает снег в Магадане вечером. Конечно, евреи тут схитрили: дело в том, что СССР не позволяет вывозить из себя бриллианты в другие страны. Будь ты хоть Франция! СССР на это чихало. Не позволяет и все! Тут какая-то неясность. Вы — человек накопивший, приходите в магазин, покупаете приглянувшийся бриллиант на свои деньги, а не на его, не СэСэСэРа. Пока покупаете, СССР молчит, как воды в рот набрало, а как только вы захотите увезти камень в другую страну, орет, что это его собственность. Ну и само бы и покупало! Тут неясно. Нет. Прямому человеку не осилить. Он поглядит на опасный блеск камней, плюнет и пойдет дальше. И даже думать про это нельзя, а то можно с ума сойти. Ну, например, если это собственность СэСэСэРа, то что же оно свою собственную собственность выставило на продажу? Дает поносить, что ли? Какое-то оно странное. Ну да ладно.

Наши евреи решили обхитрить всех. Правда, неясно, как можно обхитрить СССР, ведь не человек, и его как бы и нет в жизни. До тех пор, пока не сожмет вас своими четырьмя буквами. До реберного хруста. Но евреи не могут не хитрить. Уж если они зажглись этими бриллиантами, то будут придумывать ходы и совещаться шепотом, касаясь друг друга длинными носами. Но их тоже можно понять. Дело в том, что эти крошечные блестящие камушки оттого такие невероятно твердые, что в них умещается целая пропасть денег. Это очень удобно: чем таскать пухлый мешок сальных бумажек, можно носить с собой пару-тройку таких камушков-твердышей и знать — вот они денюжки! А тем более им, отлетающим. Что ж им, в самолет переться с мешками, что ли? Конечно, сошлись на удобных бриллиантах. А чтоб СССР не разоралось, решили спрятать их в укромные места тел. Поскольку у него нету тела (оно вообще непонятно кто), то не догадывается о человеческих тайниках. Обратились к девушкам. Зардевшись, те согласились.

Пошли в ювелирный магазин. Вначале разумно собирались послать двоих-троих самых хитрых Розенфельдов, чтоб те выбрали самые лучшие, самые искристые и твердые камни. В общем, в итоге, прооравшись, повалили всем кагалом, включая младших, мечтающих полететь на самолете.

Ввалились. Еврейские девушки тут же разбрелись по магазину, оцарованно склоняясь лицами-цветами над брошками-цветками, которые, увидев красивых девушек за стеклом, затрепетали и потянулись к ним навстречу. Но долго флиртовать им не дали. Все были согнаны к бриллиантовому отделу, где с черного бархата, как пули, блистали они — бриллианты. Бриллианты лежали безо всякой надежды, замкнутые сами в себе, не мечтая о владельце, заложнике СССРа (которому и надеть-то их не на что). Бриллианты были злы и одиноки. И вот эти волнующиеся, кричащие евреи выпучили на них коричневые глаза. Девственно коротка была жизнь бриллиантов — только-только с завода, и вот они — владельцы! Сколько света, сколько света в них скрыто — сквозь стекло ослепить теплые глаза — мы ваши!

Розенфельды купили два перстня и две серьги. В итоге четыре бриллианта, не считая бриллиантовой крошки вокруг каждого камня. Весь персонал магазина помогал Розенфельдам. Аккуратная ясноглазая продавщица показывала на своих пальцах, потом на маленьких ушках весь блеск, какой только может быть в этих камнях. Неясный заведующий корректно вертелся вокруг богатых покупателей. Наши евреи ни разу не видели такого внимания. Они знали, что там все продавцы такие. Они стали пробно важничать и капризничать, требовали

поменять коробочку. Аккуратная продавщица улыбалась спокойными глазами, заведующий изящно вертелся.

Дома каждый собственноручно потрогал бриллианты. Девушкам разрешено было примерить их, и когда какая-нибудь надевала все это, она неуловимо менялась, тонко хорошея, а все остальные махали руками и кричали в восторге. Таким образом худенький зеленоватый Алик нечаянно влюбился в ленивую Машу, мгновенно и страшно осветившуюся для него блеском камней. Не смея поднять на Машу глаза, Алик сказал, что в Иерусалиме он сможет купить такие же. Маша повела плечами. Бриллианты для справедливости дали и младшим. Те сказали, что это фары у самолета. Им закричали, что у самолета не фары, а прожекторы, и отняли у пристыженных. После этого решили временно спрятать. Чтоб надежно хранились, пока не полетят на самолете.

Розенфельдов было много. Почти половина была крайне нервная, в разговоре заходила от крика и бурных телодвижений. Слова лились из них быстрее мыслей. А тугой поток чувств иногда полностью смывал смысл слов. Такие могли просто проболтаться про драгоценные камни. Решили, пусть знает один старый Исай. Пусть спрячет один он. Все пока уйдут из квартиры, а он спокойно осмотрится и спрячет. Розенфельды вышли на улицу и подняли головы на окна. Но хитрый Исай потушил свет. Легкий вздох Розенфельдов пронесся. Но они понимали — так надо. Меж тем старый Исай пошел в ванную, отколупнул кафельную плитку на полу и положил туда, потом прилепил плитку обратно и вымыл пол. После этого Исай зажег свет, и Розенфельды поняли, что уже спрятано.

Вечером было непривычно тихо. В этой маленькой, уже обжитой квартирке засияли четыре новых сильных незнакомца. Кто они? Что они принесут семейству Розенфельдов? Счастье. Тихое счастье они принесут. И бурное счастье они принесут. Они принесут счастье, какое кто захочет. Оно потому и счастье, что разное. У каждого свое. И они принесут.

Молодежь стеснялась. Старики скромно сидели у окна. Младшие почти не баловались.

Розенфельды украдкой улыбались друг другу. Умываться ходили на кухню. Рано легли спать.

Плачьте, дети Израилевы! Плачьте, евреи! На рассвете он шелкнул! Шелкнул он на рассвете, он предал, металлический шелкунец, он всегда был предатель, он знал, что предаст, ждал, когда будет можно, шелкнул, как пистолет, если взводят курок, раскрыл врата плача — замок.

На рассвете, когда сон самый полезный, дверной замок легонько, сухонько шелкнул, дверь поплыла, отошла, вошли сквознячок и четверо. В тот же миг (как шелкнул предатель) Розенфельды как по команде (шелчок была команда) все до единого открыли дружно глаза и задержали дыхание в слабой надежде, что их тут нет (Розенфельдов). Не только в этой квартире их нет, Розенфельдов, а вообще, в жизни. И никогда не было. И не будет. Ни в одном уголке земли. Пусть она кружит в созвездьях миров, в космической бездне, нигде нет Розенфельдов! Вы не видели Розенфельдов? Нет, не видели. Их нигде нет. Как же их найти? А что такое? А ихняя Доба получила горячий привет из Одессы, сами знаете от кого. Какая радость! Дай Бог Добе счастья! Так где найти Добу? А нигде не найти. Розенфельдов не бывает. А как же Земля без них кружится в космических безднах? Как кружится, так и кружится. Ушли они!

Но услышалось, как часть младших невольно описалась. Прекрасно услышалось и Розенфельдам, и четверым. Четверо подождали, пока отжурчат (маленьких нельзя одергивать резко, иначе может стать недержание мочи), зажгли свет.

— Вот они!— увидели четверо.

Четверо были в штатском, ровненькие, как буквы.

В ногах у них, куда ни ступи, блестящие коричневые глаза, живые, ждущие. Это лежали Розенфельды.

Четверо сказали: «Розенфельды, где бриллианты?» Розенфельды невольно отвернулись от Исая, чтобы четверо не догадались, кто тут знает про бриллианты. «Ну хорошо,— сказали четверо.— Мы сами найдем». Стали шариться. Так голодный человек ест курицу. Обшарившись, четверо сказали Розенфельдам: «Ну?» Было видно, что один из них, с тоненькой шейкой и большими глазами, нестерпимо стесняется, значит, он новенький. Может зарыдать и убить. «Мы не нашли,— сказали четверо.— Мы вас будем пытаться, выпытывать, слышите, Розенфельды? Мы вас всех, сколько вас тут есть, переждедим утюгом». У новенького над губой выступил крупный пот.

Поскольку во время глажения Розенфельды не кричали из-за кляпов, то младшие решили, что это обязательное, как прививка в детсаду, и выстроились в очередь, правда, похныкивая, но задрав рубашонки. Новенький иногда подкрадывался к кому-нибудь и давал легкую пощечину. Он крался крайне осторожно, и взгляд его, вперенный в глаза выбранного, был белым. В лице новенького посверкивало безумие. От евреев стало пахнуть жареным. Один из четверых сблевал. В глубине Розенфельдов кто-то тоненько заныл. Было похоже на дальнюю песню. Или тяжелую ветку в зное. Или на слово Иерусалим. Новенький внезапно остановился, напряженно склонив голову, постоял, вздохнул и упал. Но Розенфельды и не думали петь. Они смертельно боялись. Уже давно они робко поглядывали на старого Исая, чтоб он сказал, где бриллианты, но Исай важничал и смотрел перед собой, сквозь утюги и Розенфельдов, смотрел прямо сквозь стену в космическую бездну, куда полагается уходить Розенфельдам, вместо того чтобы шляться по зеленым лужайкам Земли.

— Еврей, пойдика сюда,— позвали Исая.

И Исай пошел.

Человек тихонько поставил утюг на впалый живот Исая и тревожно заглянул ему в глаза. Исай понял, что человек боится, как бы Исай не умер. Но Исай знал, что не умрет. Так уже было. И он не умер. В немецком концлагере не умер. В советском концлагере не умер. Сейчас не умрет. Когда он умрет? Исай решил посмотреть в себя, может ли он умереть? Заглянул — нет, не может. В животе Исая, чуть повыше, к груди, над кишками, жило что-то ноющее и трепетное. Это оно ныло, а новенький подумал — песня и упал без чувств. Это была не песня. Это было внутреннее устройство Исая и всех Розенфельдов. У Розенфельдов не было такого красивого чувства собственного достоинства, как у четверых. И такой правды во взоре ни у кого из них, конечно, быть не могло. У них была только струна жизни, ноющая от непреходящей опасности. Исая очень хотелось визжать и плакать, но он был слишком старый, и у него уже не было сил. Он визжал и плакал в немецком концлагере, в советском концлагере. Он отдохнет с утюгом на животе и станет визжать и плакать от бессилья, от горя, что не может никак доказать, что он, Исай, очень хочет жить.

— . . .анты?!!

Исай сказал, что они в ванной, под кафелем.

— Что же ты молчал, еврей?

Исай не молчал. Исай просто забыл о них сразу же, как только шелкнул предатель. Если б ему сразу сказали: «Исай, ты отдай эти никчемные камни», — он бы тут же отдал, но он не мог этого сделать, потому что совершалось нечто несравненно более важное, то, что совершается уже сотни столетий, — н а п о м и н а н и е.

Единственное, в чем Исай тайно упрекал Бога, это вот что —

«Зачем Ты, Господи, дал евреям такую любовь к жизни, как и другим невинным народам?» Но Бог не слышал Исаю, потому что упрек был тайным.

...В самолете Розенфельды с любопытством оглядывались. Им нравилось. Младшие нажимали на кнопки, и всякий раз приходили нарядные юноши и девушки. Они улыбались младшим чистыми зубами и лепетали ласково. В их глазах плескался смех. Младшие разевали рты очарованно. Старшие же сидели у окна. Их ноги были укутаны пледами. Под головами подушечки. Им нравились такие удобства. Им нравилось лететь сначала в синем, потом в белом. Они боялись самолета, но не признавались в этом среди подушечек и пледов. Молодежь пила напитки и притворялась, что всегда так летала. Все алые трюфельники на животах стали коричневыми навеки и уже не болели.

Старый Исай ни разу не попил лимонаду. Он сидел в самом хвосте самолета, и ему были видны кудрявые затылки Розенфельдов. Утюг немного обжег Исаю прощание с Магаданом. Но когда боль прошла, выяснилось, что Магадан все же немножко лежит на дне памяти старого еврея. То ли снегом, то ли запахом, то ли обрывком звука... Но Исай сейчас думал не о том. Он хотел понять, зачем евреи опять бросились в хитрости и притворились, что они такие же, как все? Зачем они построили себе государство Израиль и мчатся туда со всего мира? Чтоб говорить это неуклюжее и чужое им слово Родина? Потом Исай думал, сколько пиджаков увезли Розенфельды? И хватит ли младшим кофт? То получалось хватит, то не хватит. Старый Исай был уже старенький, и мысли его немного путались. Он только об одном не хотел думать, когда и как станут пытать евреев в Израиле? Он знал, что это будет не сразу. А заранее старался не думать, потому что любил жить.

Самолет уносил, уносил евреев. Еврей летели в синем небе. СССР смотрело в синее небо, во-он белая полоска...

...Заплаканные бриллианты вернулись на черный бархат магазина.

Алла Марченко

ВОЗВРАЩЕНИЕ АНЕКДОТА

«Русский, пребывающий за границей, спрашивал земляка своего, прибывшего из России: «А что делает литература наша?» — «Что сказать на это? Буду отвечать, как отвечают купчихи одного губернского города на вопрос об их здоровье: не так, чтобы так, а так, что не так, что не очень так».

Не правда ли, прелестный сей анекдот (из коллекции П. А. Вяземского) слегка смахивает на растерянные и уклончивые диагнозы нынешнего Критического Консилиума: по сусекам, дескать, наскрести кое-что занятное, наверное, можно, но все это либо не так, либо не очень так, в лучшем случае — не так, чтобы так. . .

И растерянность, и уклончивость в общем-то понятны. Обвальная коммерциализация издательского дела смела текущую литературу с книжных прилавков. Задвинула в угол. Загнала в подполье. В результате самодвижение литературных сил, которое мы, критики, почему-то упорно именуем литпроцессом, из видимого, белодневного стало невидимым, потаенным. Журналы, конечно, пока еще держат фасон: ищут новые имена; этим и держатся, и, надеюсь, продержатся, ежели сообщат, что их высшее предназначение — противостоять «торговому направлению в литературе».

Существует на сей счет и иное мнение, в основном среди читателей и издателей модных столичных газет и престижных еженедельников прозападного типа. По их разумению, толстый журнал — живой труп, ибо никому нынче не нужен.

Но так ли уж никому?

«Толстых журналов, — писал в 1889 году Антон Чехов (из Москвы в Петербург А. Н. Плещееву), — в России меньше, чем театров и университетов; судьбою их заинтересована вся мыслящая и читающая масса; за ними следят, от них ждут и проч. и проч. Их поэтому надо всячески оберегать от разрушения».

Скажете: так это когда было! Сто с лишним лет тому назад! А что, отвечаю, за эти сто лет русского одиночества изменилось? Не в столицах, конечно, — во глубине России? А во глубине России, скажем, где-нибудь в Бийске или, допустим, в Шумерле, и мыслящая масса, и то, что Чехов же называл талантливостью русской жизни (в предсмертном письме из Баденвейлера, сравнивая Россию и Запад: «Наша русская жизнь гораздо талантливее»), по-прежнему на полугодной духовной «пайке». И для этой России подписной толстый ежемесечник, может быть, единственный шанс — «стать в просвещение с веком наравне», а значит — не зарыть свой природный талант вместе с радиоактивными отходами в котлован, не пропить его в кооперативных рюмочных, не заболтать в глухоманном графоманстве. . .

Что же касается новых авторских талантов, то есть новейшей литературы в профессиональном значении этого слова, то она, на мой взгляд, делает новый русский реализм, пытаюсь ухватить-сцапать непредсказуемую нашу действительность. И пусть не беспокоят господ модернисты: праздник на их улице свое отгулял, однако новый, востребованный естественным ходом вещей Реализм не отменяет ни их заслуг, ни их усилий. Дерево искусства без изм-ветвей и арт-ответвлений — не дерево, а столб. Но ветви, выпестовав диковинные свои цветы, засыхают, и дерево сбрасывает их, а ствол, то есть реализм — не как направление или школа, а как способ соображения и воспроизведения, — продолжает расти и наращивать — кольцами — массу устойчивости, чтобы, перезимовав, по весне выбросить новые — боковые побеги. . .

Анатолий Афанасьев сказал как-то о своих ровесниках, реалистах семидесятих годов: живут как бы с завязанными глазами. Про реалистов постперестроечного призыва-выводка такое не скажешь. У них по пословице — «и пироги с глазами», благо ЗРЕЛИЩЕ, задвигавшееся нашим глазам, не дает голодать ни взору, ни слуху.

Да, тяжело и смутно, и будущее не обеспечено. Но какое — при разоре-разломе, при, казалось бы, беспробудной усталости — разнообразии судеб, сюжетов, случаев! Какое изобилие неведомых троп и невиданных типов, характеров, лиц! А какой выброс страстей, пусть искаженных-изуродованных, но — страстей, не вялых, застойных полухотений! . .

За бешенством российских метаморфоз — «и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет», — не только тяжелому роману, но и полутяжелой повести трудноато угнаться. Даже рассказу, десятилетиями без перемен приученному работать с почти неподвижной натурой, не легко поспевать. И пока эти солидные, традиционно приоритетные повествовательные формы перестраиваются на бегу — напрягают жанровую память, ищут быструю и краткую речь, адекватную сдвигу в невероятность, и в силу этого как бы опаздывают (они — еще здесь, а она — жизнь — уже там), — их роли-должности замещает анекдот. Временно, так сказать, исполняет обязанности. Анекдот, разумеется, литературный; устный-то как раз в «анабиозе». И вроде бы ничего, справляется, поспевает, поскольку ему, анекдоту, пострелу и пролазе, ничего не надо искать. Он изначально-природно, давно и всегда готов к самому невероятному, заведомо не совпадающему с читательским ожиданием повороту событий. Это во-первых, а во-вторых, он, опять же природно, на диво легок, так легок, что не проваливается там, где солидные, тяжелые жанры рискуют провалиться — «на зыби яростной мгновенного». . .

Сходная ситуация, кстати, в истории российской словесности уже была: в конце восемнадцатого — начале девятнадцатого столетия. Анекдот, как правило, сопутствующий Большой Прозе, в нашем неправильном случае опередил ее чуть ли не на полвека.

Полистайте на досуге занятную книжицу «Русский литературный анекдот конца XVIII — начала XIX века» (изданная «ХЛ» в 1990-м, она и сейчас еще встречается в хороших книжных магазинах).

Это же не просто Гоголь д о Г о г о л я, это та почва и то бродильное начало, на которых возшло гоголевское направление русской литературы.

Дабы обставить данное предположение по всем правилам научного литературоведения, надо было писать обстоятельную статью, а мне силе не с руки, но один наглядный пример все-таки рискну привести.

Дмитриев Михаил, племянник Дмитриева Ивана — сенатора, баснописца и славного остролова, видимо, унаследовавший от дядюшки

страсть к собиранию житейских курьезов, рассказывает о Загоскине следующее:

«Он был довольно бережлив, но, получая довольно много денег за свои сочинения... вздумал сделать себе дорожную шкатулку, которая бы заключала в себе все: и принадлежности туалета, и библиотеку, и зрительную трубку, и прибор для ужения рыбы, и часы, и принадлежности для письма, и табакерки, и сигары, которых он не курил, словом, все, что нужно и не нужно, но может понадобиться!.. Он накупил вещей, собрал свои, обрезал по самые строки прекрасное маленькое издание французской библии, потому что оно не входило в местечко, и шкатулка вышла огромная и подлинно редкая. Ее делал футлярщик Торнеус... Я застал его однажды у Торнеуса и говорю ему: «...тут много недостает!»— «А что бы такое, например?»— «Недостает складного ружья, складного вертела и утюга».— «На что же это?»— «Да случится дорогой застрелить птицу, захочешь ее изжарить, а замараешь манишку, вздумаешь ее сам вымыть, надобно и выгладить».

Загоскин, натурально, принял это за шутку, однако по зрелом размышлении оказалось, что эта шкатулка действительно не содержит в себе самого нужнейшего для дороги, именно столового прибора и других принадлежностей для стола. Загоскин заказал для этого другую шкатулку. Когда и другая великолепная шкатулка была готова, оказалось, что они не устанавливаются в коляску. Загоскин заказал для шкатулок коляску. Когда была готова и коляска, оказалось, что Михаилу Николаевичу некуда ехать»...

Смешно? Но погодите смеяться, ведь в великолепной шкатулке директора московских театров и автора первого русского бестселлера уместился чуть ли не весь русский восемнадцатый век! Ведь ему, как оказалось, тоже некуда стало ехать и некуда везти собранное им изобилие! Вместе с веком следующим — но не наследующим — откуда ни возьмись вынырнул господин Чичиков. Это же Чичиков первым сообщил, что в России есть лишь один верный и вечный способ разбогатеть: продавать, скупать, закладывать, отдавать в рост ЭФЕМЕРЫ. И слыть при этом деловым человеком. Помните его шкатулку? Тот самый таинственный ларец красного дерева, на который дотошный и вьедливый Гоголь обращает наш любопытствующий взор в первой же главе «Мертвых душ»?

Рассмотрите его повнимательней, ибо и внутреннее расположение, и самый план его наверняка задуманы Гоголем в противуречие загоскинской ненужности, этой штучной причуде московского чудака:

«...В самой середине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленное между ними лодочкою для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигающийся незаметно сбоку шкатулки».

Из того же загоскинского анекдота, похоже, вышло (если перефразировать известное выражение Достоевского: все мы вышли из гоголевской «Шинели») и еще одно замечательное произведение в гоголевском духе: «Тарантас» Владимира Соллогуба.

Полностью этот дорожный роман, это путешествие небогатого степного помещика по внутренней России — без подорожной, по личной и семейственной надобности — опубликован уже после появления «Мертвых душ» — в 1845-м. Однако первые семь глав А. Краевский

успел напечатать в своих «Отечественных записках» еще в 1840-м. И если загоскинская Коляска так и не сдвинулась с места, а чичиковская Бричка, промелькнув, сгнула в неведомых безднах и высях, то соллогубовский Тарантас, набитый перинами-подушками, обвешанный кулками-коробками — «все куплено по данному из деревни реестру», — и по сей день мыкается по российским дорогам, не изменившим, увы, своего «первообразного вида». И представьте себе, добирается до станции назначения, и рогожи-кули-картонки-коробки-перины-подушки в целостности доставляет.

А почему?

А потому, что не любит быстрой езды: тише едешь, дальше будешь.

А потому, что в навьюченном Тарантасе, при всей его вопиющей, невыносимой «неэлегантности» («два длинных шеста, две параллельные дубины, а посередине как будто брошена нечаянно огромная корзина, округленная по бокам, как исполинский кубок»), в нем, на поверку долгой дорогой, нет ни лишнего, ни несподручного. Вот разве что погребец, бедный родственник уже известных нам литературных дорожных шкатулок.

«...Под крышкой поднос, а на подносе... красуется спящая под деревом невинная пастушка, борзо очерченная в трех розовых пятнах решительным взмахом кисти базарного живописца. В ларце, внутри оклеенном обойной бумагой, чинно стоит чайник грязно-белого цвета с золотым ободочком; к нему соседятся стеклянный графин с чаем, другой, подобный ему, с ромом, два стакана, молочник и мелкие принадлежности чайного удовольствия».

Пожалуй, и в погребеце, обтянутом тюленьей шкурой щетиной наружу, — чуete разницу между дорожным снаряжением начинающего коммерсанта Чичикова — «чемодан белой кожи», это в наши-то грязи, и ларец красного дерева, — тоже, оказывается, ничего лишнего. Ну, разве что, розовая пастушка да мелкие принадлежности чайного удовольствия. Но это же пастушачок: вес — комариный, душе отдушина, а карманной казне — экономия*.

Нет, нет, я не собираюсь ни пространно рассуждать, ни прогнозировать ПО АНАЛОГИИ, тем более, что нынешний литературный анекдот** не очень вроде бы и похож на своего законного аристократического предка — «все тот же танец, зурна все та же — танцор — другой»... Я просто констатирую факт возвращения анекдота из сферы устного бытования в пространство словесности письменной, причем не только изящной. Спрессованной в нем «информацией» сегодня охотно пользуются и публицисты. Возьмите, к примеру, «апокалиптический» памфлет Валерия Лебедева в 71-й книжке «Континента» — «О праве русских на выживание». Куда б ни завела автора речь — *три способа приватизации, положение в экономике*, — он, не утруждая ни себя, ни нас «добычей радия», просто-напросто достает из копилки подходящий к случаю, к мысли, какую ему, В. Лебедеву, разрешить надобно, — анекдот. Разу-

* Чехов, к примеру, спустя полвека очутившись в положении героя соллогубовского «Тарантаса», сильно жалел, что не захватил с собой эти самые чайные принадлежности. Екатеринбург, как выяснила дорога на Сахалин, был последним чайным городом:

«...Взял с собою из Екатеринбурга 1/4 фунта чая, 5 фунтов сахару и 3 лимона. Чаю не хватило, а купить негде. В паршивых городках даже чиновники пьют кирпичный чай...» Пришлось пить шалфей, а закусывать яйцами в «мешочек», ибо — «обедать нечего», а колбаса... «В Тюмени я купил себе в дорогу колбасы, но что за колбаса! Когда берешь кусок в рот, во рту такой запах, как будто вошел в конюшню в тот самый момент, когда кучера снимают портянки...»

Читайте Чехова, господу романтики, ум у не тех книг занявшие! ..

** В «Согласии», кроме публикуемых в этом номере «Простецких историй» Кириллы Залесова и «Утюгов и алмазов» Нины Садур, см. также в № 3 за 1992 год повесть Юрия Малецкого «Потихоньку—полегоньку».

меется, из самых «бородатых», всем-всем памятных: о двух мужиках, друг друга дерьмом накормивших, о пациенте, заявившемся к врачу с жалобой на замучившего солитера и т. д. и т. п. Не отыщется подходящий — сам сочинит, переложит в жанре анекдота необходимую сюжету аналогию, скажем, историю гибели царства шумеров или же ацтекской цивилизации. А ежели и обратится к литературе (С. Довлатову, Е. Шварцу), то для того только, чтобы выковырять из нее анекдот.

Конечно, все, что имеет сообщить анекдот, слишком общо, голо и уже по одному этому приблизительно. Однако и предмет, посылающий его к нам с сообщением — ни к чему не готовая действительность постимперской России, — таков (такова), что
СКАЗАТЬ ТОЧНЕЕ — ЗНАЧИТ ОШИБИТЬСЯ...



ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА

Антуан де Сент-Экзюпери

ЦИТАДЕЛЬ

*Вступительная заметка
и перевод с французского Марианны Кожевниковой*

С этой книгой я встретилась в юности. Юность всегда пограничье жизни и смерти, поиск на ощупь себя, мира, и в зависимости от того, что нащупается, бывает, копят смерть, бывает, копят жизнь. В юности мне не хотелось жить. Все вокруг казалось пропыленными картонными декорациями, нужно было вытвердить роль и старательно пробиваться на сцену. Я не актриса. Вот тогда мы и встретились с этой книгой. И оказалось, что в юности все же очень хочется жить, раз книга стала спасением, помощью, другом. Оказалось, жить мне хотелось, не хотелось жить так, как предлагали.

Переводить ее я стала, когда ждала свою маленькую девочку. Мне хотелось, чтобы и она жила тоже, мне хотелось, чтобы в шестнадцать лет, выходя в мир, она прочитала эту книгу. За шестнадцать лет я не успела перевести ее. Но мы не расставались, я добавляла одну-две страницы, иногда работала запоем, перемогая то полноту беды, то пустоту сердца. Девочка из маленькой стала большой, выучила французский, прочитала книгу в подлиннике. А время переменялось, и стало возможным, чтобы книга эта зажила на русском языке. И тогда я поняла, что должна закончить перевод. Любовь, что помогала мне жить мою жизнь, должна овеществиться. И опять, спустя семнадцать лет, каждый день я провожу с Сент-Экзюпери. Я стала другой, но в книге не разочаровалась. С помощью чужой мудрости я опять одолевала смутное, трагическое, благодатное наше время. В происходящем мне открывалось неизменно повторяющееся, общее, вечное. За «разбродом сущего» мерцал одухотворяющий его смысл.

Когда-то в юности, когда я начинала переводить, мне очень хотелось красивого слова. Ту библейскую значительность, что я ощущала в тексте, я хотела передать особыми словами и где их только не выискивала — в Ремизове, в Клычкове, Кузмине... «зломудренные», «расселись неплодные камни»... «велелепие»... Плела и плела я вязь, но прошли годы, и необходимостью стала явственность смысла. Над нею я и работала. Перевод, может быть, несколько шероховат, как шероховат только выпеченный горячий хлеб. Пока он еще дышит. Горячим хлебом я и тороплюсь поделиться, чтобы нам всем жить вместе.

I

... Ибо слишком часто я видел жалость, которая заблуждается. Но нас поставили над людьми, мы не вправе тратить себя на то, чем можно пренебречь, мы должны смотреть в глубь человеческого сердца.

Я отказываю в сочувствии ранам, выставленным напоказ, которые трогают сердобольных женщин, отказываю умирающим и мертвым. И знаю, почему.

Были времена в моей юности, когда я жалел гноящихся нищих. Я нанимал им целителей, покупал притирания и мази. Караваны везли ко мне золотой бальзам далекого острова для заживления язв. Но я увидел, мои нищие расковыривают свои болячки, смачивают их навозной жижей,— садовник так уваживает землю, выпрашивая у нее багряный цветок,— и понял: смрад и зловоние — сокровища попрошаек. Они гордились друг перед другом своими язвами, бахвалились дневным подаванием, и тот, кому досталось больше других, возвышался в собственных глазах как верховный жрец при самой прекрасной из кумирен. Только из тщеславия приходили мои нищие к моему целителю, предвкушая, как поразится он обилию их зловонных язв. Защищая место под солнцем, они трясли изъязвленными обрубками, попечение о себе почитали почестями, примочки — поклонением. Но выздоровев, ощущали себя ненужными, не питая собой болезнь,— бесполезными, и во что бы то ни стало стремились вернуть себе свои язвы. И вновь сочась гноем, самодовольные и никчемные, выстраивались они с площадками вдоль караванных дорог, обирая путников во имя своего зловонного бога.

Во времена моей юности я сочувствовал смертникам. Мне казалось, осужденный мною на смерть в пустыне угасает, изнемогая от безнадежного одиночества. Тогда я не знал, что в смертный час нет одиночества. Не знал и о снисходительности умирающих. Хотя видел, как себялюбец или скупец, прежде громко бранившийся из-за каждого грóша, собирает в последний час домочадцев и с безразличием справедливости оделяет, как детей побрякушками, нажитым добром. Видел, как трус, который прежде при малейшей опасности истошно звал на помощь, получив смертельную рану, молчит, заботясь не о себе — о товарищах. Мы с восхищением говорим: «Какое самоотвержение!» Но в нем я заметил и затаенное небреженье. Я понял, почему умирающий от жажды отдал последний глоток соседу, а умирающий с голоду отказался от корки хлеба. Они успели забыть, что значит жаждать, и в царственном забвении отстранили от себя кость, в которую вгрызутся другие.

Я видел женщин, они плакали о погибших. Они плакали, потому что мы слишком много вдали. Ты же знаешь, как возвращаются с войны уцелевшие, сколько они занимают места, как громко похваляются подвигами, какой ужасной изображают смерть. Еще бы! Они тоже могли не вернуться. Но вернулись и гибелью товарищей устрашают теперь всех вокруг. В юности и я любил окружать себя ореолом сабельных ударов, от которых погибли мои друзья. Я приходил с войны, потрясая безысходным отчаянием тех, кого разлучили с жизнью. Но правду о себе смерть открывает только своим избранныкам; рот их полон крови, они зажимают распоротый живот и знают: умереть не страшно. Собственное тело для них — инструмент, он пришел в негодность, сломался, стал бесполезным, и значит, настало время его отбросить. Испорченный, ни на что не годный инструмент. Когда телу хочется пить, умирающий видит: тело томится жаждой, и рад избавиться от тела. Еда, одежда, удовольствия не нужны тому, для кого и тело — незначущая часть обширного имени, вроде осла на привязи во дворе.

А потом наступает агония: прилив, отлив — волны памяти бередят сознание, омывают пережитым, вздымаются, опадают, приносят и уносят камешки воспоминаний, звучащие раковины голосов, дотянулись, раскачали сердце, и, словно нити водорослей, ожили сердечные привязанности. Но равноденствие уже приготовило последний отлив, пустеет сердце, и волна пережитого отходит к Господу.

Все, кто живы,— я знаю,— боятся смерти. Они заранее напуганы предстоящей встречей. И поверьте, ни разу не видел, чтобы умереть боялся умирающий.

Так за что же мне жалеть их? О чем плакать у их изголовья? Мне известно и преимущество мертвых. Как легка была кончина той пленницы. Ее смерть стала для меня откровением в мои шестнадцать лет. Когда ее принесли, она уже умирала, кашляла в платок и, как загнанная газель, прерывисто, часто дышала. Но не смерть занимала ее, ей хотелось одного — улыбнуться. Улыбка веяла возле ее губ, как ветерок над водой, мановение мечты, белоснежная лебедь. День от дня улыбка становилась все явственней, все драгоценней, и все труднее становилось удерживать ее, пока однажды лебедь не улетела в небо, оставив след на воде — розовую полоску губ.

А мой отец? Смерть завершила его и уподобила изваянию из гранита. Убийца поседел, его раздавило величие, которое обрела брэнная земная оболочка, прободенная его кинжалом. Не жертва — царственный саркофаг каменел перед ним, и безмолвие, которому сам убийца стал причиной, обессилило и сковало его. На заре в царской опочивальне слуги нашли убийцу, он стоял на коленях перед мертвым царем.

Цареубийца переместил моего отца в вечность, оборвал дыхание, и на целых три дня дыхание затаили и мы. Даже после того, как мы опустили гроб в землю, плечи у нас не расправились и нам не захотелось говорить. Царя не было с нами, он нами не правил, но мы по-прежнему нуждались в нем и, опуская на скрипучих веревках в землю, мы знали, что заботливо укрываем накопленное, а не хороним покойника. Тяжесть его была тяжестью краеугольного камня храма. Мы не погребали, мы укрепляли землей опору, которой он был и остался для нас.

Что такое смерть, мне тоже рассказал отец. Он заставил меня посмотреть ей в лицо, когда я был совсем юным, ибо и сам никогда не опускаял глаз. Кровь орла текла в его жилах.

Случилось это в проклятый год, который назвали потом годом «солнечных пиршеств». Солнце, пируя, растило пустыню. На слепящем глаза раскаленном песке седела верблюжья трава, чернела колючка, белели скелеты, шуршали прозрачные шкурки ящериц. Солнце, к которому прежде тянулись слабые стебли цветов, губило свои творенья и, как ребенок сломанными игрушками, любовалось раскиданными повсюду останками.

Дотянулось оно и до подземных вод, выпило редкие колодцы, высало желтизну песков, и за мертвенный серебряный блеск мы прозвали эти пески Зеркалом. Ибо и зеркала бесплодны, а мелькающие в них отражения бестелесны и мимолетны. Ибо и зеркала иногда больно слепят глаза, будто солончаки.

Сбившись с тропы, караваны попадали в зеркальную ловушку. Ловушку, которая никогда не выпускает добычи. Но откуда им было знать об этом? Вокруг ничего не изменилось, только жизнь превратилась в призрак, в тень, отброшенную беспощадным солнцем. Караван тонул в белом мертвенном блеске и верил, что идет вперед; переселялся в вечность, но считал себя живым. Погонщики погоняли верблюдов, но разве преодолеть им бесконечность? Они шли к колодцу, которого нет, и радовались вечерней прохладе. Они не знали, что прохлада — только отсрочка, которая им ничем не поможет. А они, простодушные дети, верно, жаловались, что долго ждать ночи... Нет, ночи реют над ними, как быстрые взмахи ресниц. Они гортанно негодовали на мелкие трогательные несправедливости, не ведая, что последняя справедливость уже воздана им.

Тебе кажется, караван идет? Вернись посмотреть на него через двадцать столетий!

Отец посадил меня к себе в седло. Он хотел показать мне смерть. И я увидел, что осталось от тех, кого выпило Зеркало: время рассеяло призраки, от них остался — песок.

— Здесь,— сказал мне отец,— был когда-то колодец.

Так глубок был этот колодец, что вмещал в себя только одну звезду. Но грязь закаменела в колодце, и звезда в нем погасла. Смерть звезды на пути каравана губит его вернее, чем вражеская засада.

К узкому жерлу, как к пуповине, тесно прильнули верблюды и люди, тщетно надеясь на животворную влагу земного чрева. Нашлись смельчаки и добрались до дна колодезной бездны, но что толку царапать заскорузлую корку? Бабочка на булавке блекнет, осыпав шелковистое золото пыльцы, выцвел и караван, пригвожденный к земле пустотою колодца: истлела упряжь, развалилась кладь, алмазы рассыпались речной галькой, булыжниками — золотые слитки, и все это припорошил песок.

Я смотрел, отец говорил:

— Ты видел свадебный зал, когда ушли молодые и гости. Что, кроме беспорядка, открыл нам бледный утренний свет? Черепки разбитых кувшинов, сдвинутые с места столы, зола в очаге и пепел говорят, что люди здесь ели, пили и суетились. Но глядя на послепраздничный беспорядок, что узнаешь ты о любви?

Подержав в руках и перелистав книгу Пророка,— продолжал отец,— посмотрев на буквицы и золото миниатюр, неграмотный миновал главное. Суть книги не в тщете зримого — в Господней мудрости. И не воск, который оставит следы, главное для свечи — сияние света.

Но меня устрасил пиршественный стол Бога с остатками жертвенной трапезы. И отец сказал:

— О главном не говорят при помощи праха. Не медли над мертвецами. Повозки навек увязли в грязи, потому что их оставил вожатый.

— Но где же искать мне главное? — закричал я отцу.

И отец ответил:

— Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути. Забудь тщету слов и смотри: на пути каравана пропасть, он обходит ее; скала — он огибает ее; если песок слишком мелок, находит песок плотнее, но всегда он идет туда, куда идет. Верблюды завязли в солончаке, погонщики суетятся, вызволяют их, отыскивают почву понадежней, и снова караван идет туда, куда шел. Пал верблюд, караван остановился, погонщик связал узлом лопнувшую веревку, перевязал кладь, нагрузил другого верблюда, и опять караван идет, не изменяя своему пути. Случается, умирает вожатый. Погонщики собираются вокруг него. Выкапывают в песке могилу. Спорят. И выбрав на его место другого, вновь следуют за своей звездой. Своему пути подчиняется караван, направление — вот для него опорный камень на невидимом склоне.

Городские судьи вынесли приговор молодой преступнице: пусть солнце бичует нежную оболочку ее плоти, и преступницу привязали к столбу в пустыне.

— Сейчас ты поймешь, что для человека главное,— сказал мне отец.

И вот я опять у него в седле.

Мы ехали, а солнце, совершая дневной путь, казнило виновную, иссушая кровь, слюну, пот молодого тела. Выпило оно и влажное сия-

ние глаз. Опускалась ночь с мимолетным своим милосердием, когда мы с отцом подбегали к порогу запретной равнины. Там, на темной скале, белела нагота юного тела, словно гибкий стебель в разлуке с питающей влагой вод, так весомо молчащих в земных глубинах. Переплетая руки,— точь-в-точь лоза, уже потрескивающая в пламени,— виновная взывала к милосердию Господа.

— Послушай ее, она говорит о главном,— сказал отец.

Но я был мал, и потому малодушен.

— Как она мучается! — сказал я.— Как ей, наверное, страшно...

— Мучается и страшится стадо, укрытое в хлеве,— ответил отец.—

Она превозмогла эти две болезни и теперь постигает истину.

Я вслушался в ее плач. Затерянная в бескрайней ночи, она молила о свете лампы, о стенах дома вокруг нее, о плотно запертой двери. Одна посреди безликой Вселенной, звала ребенка, которого целовала перед сном и который был для нее средоточием этой Вселенной. Во власти любого прохожего здесь на пустынной равнине, славил знакомые, успокоительные шаги мужа, он вернулся к вечеру домой и поднимается по ступеням. Праздная, затерянная в беспредельности, молила вернуть ей будничные тяготы, без которых наступает несуществование: шерстяную кудель для пряжи, грязную миску, чтобы ее вымыть, ребенка, чтобы уложить его спать, ее собственного ребенка, а не чужого. Она взывала к спасительной надежности дома. Она молилась и ее молитва сливалась с вечерней молитвой всей деревни.

Голова осужденной поникла, и отец посадил меня к себе в седло. Мы помчались.

— Вечером в шатрах ты услышишь ропот и возмущение моей жестокостью,— сказал он мне.— Но я вобью им обратно в глотки их жалкое возмущение: я кую человека.

Я знал, мой отец добр.

И вот что он говорил:

— Я хочу, чтобы они любили говорливые родники. Ровную зелень ячменя, укрывшую растрескавшееся от зноя поле. Хочу, чтобы славил сменяющиеся времена года. И созревали сами, подобно плодам, благодаря тишине и неторопливости. Пусть они долго носят траур и помнят своих усопших: медленно перетекает наследие одного поколения к другому, и я не хочу, чтобы мед расточился в пути. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева — щедрой оливы. Ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий древо на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять: из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твердая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, — вот что такое дерево. Таков и ты, дитя мое, человек. Бог рождает тебя, растит, полнит то желаниями, то сожалениями, то радостью, то горечью, то гневом, то готовностью простить, а потом возвращает в Свое лоно. Но ты не вот этот школьник, и не этот супруг, не вот это дитя, и не этот старец. Осуществление — вот что такое ты. И если в колебаниях и переменах ты ощутишь себя ветвью, неотторжимой от оливы, то и у перемен окажется вкус вечности. Все вокруг тебя обретет незыблемость. Вечен говорливый родник, утолявший жажду праотцев, вечно сияние глаз улыбнувшейся тебе возлюбленной и ночная свежесть. Время покажется тебе не продавцом песка, пускающим все прахом, — жнецом, увязывающим тугой сноп.

II

С самой высокой башни крепости вижу: не нуждаются в жалости страждущие, упокоившиеся в лоне Господа и носящие по ним траур. Усопший, о котором помнят, живет и могущественней живущего. Вижу смятение живых и сострадаю им.

Их я хочу исцелить от тоски и безнадежности.

Сострадаю тому, кто открыл глаза в праотеческой тьме и поверил, что кровом ему Божья звезды, и догадался вдруг, что он в пути.

Я запрещаю расспрашивать его, ибо знаю: нет ответа, который истощил бы любопытство. Вопрошающий отверзает бездну.

Глубины сердца ведомы мне, и знаю: избавив вора от нищеты, я не избавлю его от желания воровать, и осуждаю беспокойство, толкающее вора на преступление. Он заблуждается, думая, что зарится на чужое золото. Золото светится, как звезда. Любовь, пусть даже не ведающая, что она — любовь, нуждается только в свете, но не в силах человеческих присвоить себе свет. Мерцание завораживает вора, и он совершает кражу за кражей, подобно безумцу, что ведро за ведром вычерпывает черную воду родника, чтобы схватить луну. Вор крадет и в мимолетное пламя оргий швыряет прах уворованного. И снова стоит в темноте за углом, бледный, словно перед свиданием, неподвижный из страха спугнуть, надеясь, что именно здесь он отыщет однажды то, что утолит его жажду.

Отпусти я его на свободу, он снова будет служить своему божеству, и завтра же моя стража, если я пошлю ее подстригать деревья, схватит его в чужом саду: с колотящимся сердцем он ждал улыбки фортуны.

Но его первого я укурю своей любовью, потому что усердия у него больше, чем у благоразумного в его лавке. Я строю город. Мою крепость я решил заложить здесь. Я хочу остановить идущий караван. Он был семечком в русле ветра. Ветер расточает семена кедра как аромат. Но я встаю на пути ветра. Я укрываю семя землей, чтобы во славу Божию поднялись и оделись смолистой хвоей кедры.

Любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующее, потому что такую любовь возможно насытить.

Только поэтому я затворяю женщину в доме мужа и велю бросить камень в неверную. Мне ли не знать томящей ее жажды? Словно в открытой книге, читаю я в сердце той, что в вечерний час, сулящий чудеса, оперлась на перила: своды небесного моря сомкнулись над ней, и собственная нежность — палач для нее.

Как ощутим для меня ее трепет; рыбка трепещет на песке и зовет волну: голубой плащ всадника. В ночь бросает она свой зов. Кто-то появится и ответит. Но тщетно она будет перебирать плащи, мужчине не насытить ее. Берег, ища обновления, призывает морской прилив, и волны бегут одна за другой. И одна за другой исчезают. Так зачем потворствовать смене мужей: кто любит лишь утро любви, никогда не узнает встречи.

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила.

Я перечеркиваю тающую в вечернем сумраке и начинаю творить ее заново. Вместо ограды ставлю с ней рядом чайник, жаровню, блестящий поднос из меди, чтобы мало-помалу безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью, в которой нет ничего не здешнего. Дом откроет для нее Бога. Заплачет ребенок, прося грудь, шерсть попросит-

ся в руки, и угли очага потребуют: раздуй нас. Так ее приручили, и она готова служить. Ведь я сберегаю аромат для вечности и леплю вокруг него сосуд. Я — každодневность, благодаря которой округляется плод. И если я принуждаю женщину позабыть о себе, то только ради того, чтобы вернуть потом Господу не рассеянный ветром слабый вздох, но усердие, нежность и муки, принадлежащие ей одной. . .

Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в новорожденных младенцах, в собранной жатве, семейном очаге. Суть его в вечности, куда возвращается завершенное. Покоем веет от наполненных закровов, уснувших овец, сложенного белья, от добросовестно сделанного дела, ставшего подарком Господу.

И я понял: человек — та же крепость. Вот он ломает стены, мечтая вырваться на свободу, но звезды смотрят на беспомощные руины. Что обрел разрушитель, кроме тоски — обитательницы развалин? Так пусть смыслом человеческой жизни станет сухая лоза, которую нужно сжечь, овцы, которых нужно остричь. Смысл жизни похож на новый колодец, он углубляется каждый день. Взгляд, перебегающий с одного на другое, теряет из вида Господа. И не та, что изменяла, откликаясь на посулы ночи, — о Боге ведает та, что смиренно копила себя, не видя ничего, кроме прялки.

Крепость моя, я построю тебя в человеческом сердце.

Да, на все есть время — время выбирать, что будешь сеять, но после того, как сделал выбор, приходит время растить урожай и радоваться ему. Есть время для творчества, а потом для творения. Огненные молнии вспарывают на небе запруды, а потом наступает время для водоемов, собравших небесные воды. Есть время и для завоеваний, и для спокойствия царств. . . Но я служу Господу и поэтому предпочитаю вечность.

Ненавижу перемены. Обрекаю на смерть того, кто в ночи бросает ветру пророчества. Он — дерево, которого коснулось пламенеющее небесное семя, оно ломается, трещит, и от леса остается горстка пепла. Меня пугает вмешательство Бога. Неизменному подобает пребывать в вечном. Да, есть время для зачинания нового, но за ним наступает благодатное время традиций.

Наше дело растить, мирить, сглаживать. Я латаю земные трещины и прячу от людских глаз кипящую лаву вулканов. Я — лужайка над пропастью. Хранилище, где созревает плод. Паром, что принял из рук Господа поколение и переправляет его на другой берег. Из моих рук Господь получит его точно таким же, каким вручил, — может быть, чуть более зрелым, мудрым и искусным в чеканке серебряных кувшинов, — но суть моего народа пребудет неизменной. Я укрыл мой народ своей любовью, оберегая потомственных мастеров, что из поколения в поколение трудятся, совершенствуя форму корабля и щита. Оберегая сказителя, поющего на свой лад безымянную песню — наследство праотцев, ошибаясь и обогащая ее даром своей души. Оберегая беременных и кормящих, я люблю умножающиеся стада и времена года, которые непременно возвращаются. Прежде всего я — житель. И я спасу тебя, моя крепость, цитадель моя и обитель, от посягательств бесплодного песка. Я развешу звонкие рога по твоим стенам. Трубя, они предупредят нас о варварах.

III

Великая истина открылась мне. Я узнал: люди живут. А смысл их жизни в их доме. Дорога, ячменное поле, склон холма разговаривают по-разному с чужаком и с тем, кто здесь родился. Привычный

взгляд не дивится выхваченным частностям, он и не видит ничего, родная картина давно легла ему на сердце. В разных мирах живут не ведающие о царстве Божиим и ведающие о нем. Неверы смеются над нами, предпочитая воздушным замкам реальные, осязаемые. Но радуется только неосязаемое. И если кому-то хочется завладеть лишним стадом овец, то хочется из тщеславия. А утехы тщеславия нельзя потрогать.

Вот почему не находят сути моего царства те, кто перебирает то, что в нем есть. «У тебя есть овцы, козы, ячмень, — перечисляют они, — жилища, горы, и что еще кроме этого?» Кроме этого нет ничего у них самих, они чувствуют себя несчастными, им холодно. И я понял: они — прозекторы в мертвецкой. «Посмотрите, вот она, жизнь, — говорят они, — кости, мускулы, внутренности, кровь — и ничего больше». Жизнью светились глаза, но света нет в мертвом прахе. И царство мое — вовсе не овцы, не поля, не дома и не горы, оно — то, что объединяет их, превращая в единое целое. Оно то, что питает во мне любовь. Те, кто любят его, как я, счастливы, как я, и мы живем с ними в одном доме.

Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени. Нехорошо, если быстротечное время истирает нас в пыль и пускает по ветру, лучше, если оно нас совершенствует. Время тоже нужно обжить. Вот я и перехожу от праздника к празднику, от годовщины к годовщине, от жатвы к жатве, как в детстве переходил из зала совета в диванную, следуя по анфиладе покоев в замке моего отца. Каждая комната в его замке имела свое назначение, каждый шаг в нем был осмыслен.

Законы служат стенами моей крепости, они определяют устройство моего царства. Безрассудный пришел ко мне и стал просить: «Освободи нас от уз своих запретов, и мы станем великими». Но я знал: вместе со скрепами они потеряют ощущение целостности царства и перестанут его любить; ничего не любя больше, они потеряют самих себя, — и решил обогатить их любовью, пусть даже вопреки их желанию. А они, затосковав по свежему ветру, пожелали разрушить замок моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла.

Велик был замок моего отца, одно крыло его занимали женщины, во внутреннем дворике бормотал родник. (Я повелеваю: пусть в каждом доме бьется подобие сердца, к нему можно приблизиться, отойти, покинуть и возвратиться. Без сердца нет дома. Небытие не означает, что живешь на свободе.) Возле замка были хлевы, были амбары. Случалось, закрома пустовали. Случалось, в хлеве не было скота. Но никогда отец не позволял сделать амбар хлевом, хлев — амбаром. «Амбар должен оставаться амбаром, — говорил отец, — ты не дома, если не знаешь, куда попал. Что мне за дело до выгод и невыгод? Человек не скот на откорме, любовь для него важнее пользы. Но как любить дом, если в нем хаос, если, идя по нему, не знаешь, куда придешь?»

Был в замке зал, где принимали важные посольства. Солнце заглядывало в него лишь в те дни, когда пустыня пылила под копытами всадников и ветер надувал знамена на горизонте, как паруса. Но он пустовал, если к нам приезжали мелкие князьки. Был другой зал, где вершилось правосудие, и еще один, куда приносили усопших. И была в замке пустая комната, назначения которой не знал никто. Возможно, оно и было в том, чтобы сохранять вкус тайны, напоминая, что все познать невозможно.

Рабы с подносами, с кувшинами пробегали по коридорам, отодвигали плечом тяжелые завесы, поднимались вверх, открывали двери, спускались вниз, говорили громко и, приближаясь к роднику, — тише, и становились пугливыми теньями, оказавшись возле женской половины, потому что один, пусть нечаянный, шаг в ту сторону грозил им смертью.

А женщины замка? Молчаливые, надменные или боязливые, смотря по тому, кем они в нем были.

Я слышу голос безрассудного: «Сколько даром потерянного места, неиспользованных богатств, неудобства, и все из-за нерадения! Разрушим бесполезные стены, уничтожим лишние лестницы, они так мешают ходить, пусть люди почувствуют себя свободными». И отвечаю ему: «Нет, они почувствуют себя овцами на юру и собьются в стадо, им будет плохо, и с тоски они напридумывают глупых игр. В них будут правила, и жестокие, но не будет величия. Замок рождает стихи. Но какой поэзии ждать от пошлого аккомпанемента игральные кости? Поначалу люди будут жить призраком замка, читая о нем стихи, но со временем исчезнет и призрак, стихи станут чужими, непонятными... Что тогда будет им в радость?»

Что порадует людей, затерявшихся в мелькании недель, в слепых годах без праздников? Людей, позабывших благородную иерархию, ненавидящих успех соседа и желающих одного, чтобы все вокруг были одинаково несчастны? Люди эти создали смрадное болото, так откуда придет к ним радость?

А я? Я восстанавливаю силовые линии. Строю плотины в горах, удерживаю воды. Я — воплощенная несправедливость и стою на пути естественных склонностей. Я восстанавливаю иерархию там, где люди стали похожи, как капли воды, и растеклись болотом. Я сгибаю полосу в лук. Но несправедливость сегодня окажется справедливостью завтра. Я торю дороги там, где о них постарались забыть и назвали спячку счастьем. Что мне до стоячих вод их справедливости? Я тружусь ради человека, созданного прекрасной несправедливостью. Так облагораживаю я свое царство.

Логика доброжелателей мне знакома. Они в восхищении от человека, который был создан моим отцом. «Можно ли притеснять подобное совершенство?» — твердят они. И во имя того, кто был создан столькими притеснениями, уничтожают притеснения. Пока сердце помнит запреты, человек жив. Но мало-помалу они забываются. И тот, кого хотели спасти, погибает.

Поэтому я ненавижу издевку — достояние бездельника. Кто, как не бездельник, говорит: «Были у вас и другие обычаи. Почему не переменить и эти?» И еще слова бездельника: «Кто неволит вас держать хлеб в амбаре, овец в хлеву? Можно ведь и наоборот...» Он меняет местами слова, он не знает, что слова это не всё, что существует на свете. Ему не понять, что человек живет, а чтобы жить, ему нужен дом. Заслушавшись бездельников, люди теряют из вида дом и разрушают его. Так расточают они самое драгоценное из своих сокровищ — смысл существующего. В праздник гордятся тем, что свободны от обычаев, что презрели традиции, что чужое им дороже своего. Святотатство радует их, пока остается святотатством. Люди попирают то, что пока еще весомо и ощутимо для них. Живут, пока дышит их враг. Тень закона еще так крепко держит их, что они способны ею возмущаться. Но вот и тень исчезла. Радоваться нечему, забыт даже вкус победы. Наступило царство скуки. Вместо замка они на рыночной площади, исчерпав удовольствие хвастливо и высокомерно попирают былое, они не знают, что им делать на этой ярмарке. И тогда просыпаются смутные мечты об огромном доме с тысячью окон, с завесами, падающими на плечи, с прохладными двориками. Мечты о потайной комнатке, которая придаст вкус тайны всему жилищу... Сами того не подозревая, они тоскуют о замке моего отца, где каждый шаг был осмыслен, — замок, который они успели позабыть.

Я знаю, что будет, и своим произволом мешаю обнищанию сущего, и не желаю слушать твердящих мне о благодати естественных склон-

ностей. Естественные склонности питают лужи ледниковой водой, истирают скалы в песок, разбивают бегущую к морю реку на сотни разбредаящихся ручейков. Естественные склонности ведут к разделению власти и уравниванию людей. Но веду я, и я выбираю. Перед моими глазами кедр, торжествующий над бегом времени. Время должно было обратить его в прах, но вопреки силе, гнущей ствол к земле, год от года раздвигается гордый храм его кроны. Я — жизнь, я упорядочиваю. Я творю ледники вопреки интересам луж. И пусть лягушки квакают о несправедливости. Я готовлю человека к тому, чтобы он жил.

Не мне обращать внимание на глупого болтуна, упрекающего кедр за то, что он не пальма, и пальму за то, что она не кедр: книжное несварение тяготеет к хаосу. Для закоснелости, позабывшей о жизни, болтун прав: отвлеченно и кедр, и пальма одно и то же и одинаково превратятся в прах. Но жизнь не терпит смещения и борется с естественными склонностями. Из праха она созидает кедр.

Истинность моих законов — в человеке, который порожден ими. Я не считаю, что смысл вот в этом обычае, законе, наречии моего царства. Я знаю другое: складывая камни, творишь тишину, но ничего о ней не узнаешь, разглядывая камни. Знаю, что живет любовь, а бинты и мази только подспорье. Знаю, что ничего не узнает о жизни тот, кто рассечет труп и ощупает печень, сердце, кости. Сами по себе что они значат? Что значат чернила и бумага в книге? Значима мудрость книги, но она вне вещественности.

Я отвергаю споры, в них ничего не рождается. Язык моего народа, я хочу сберечь и сохранить тебя. Помню нечестивца, который пришел к моему отцу:

— Ты приказал молиться по четкам из тринадцати бусин. Но что есть число тринадцать? Благодать останется благодатью, хотя число бусин переменится. . .

И он стал приводить тончайшие доводы в пользу четок из двенадцати бусин. Я был мал, а детство податливо на слова. Я смотрел на отца, я боялся, что ответ его не затмит блеска этих доводов.

— Так объясни мне, — продолжал гость, — чем так дороги тебе тринадцать бусин?

— Дороги платой, за них заплачено не одной головой, — ответил отец.

Бог помог нечестивцу, он уверовал.

IV

Дом для людей! Рассудку ли тебя строить? И способен ли кто-нибудь выстроить тебя как цепочку логических заключений? Ты — реальность, но ты — нереальность тоже. Ты есть, и тебя нет. Сущность твоя — разнородность, и для того, чтобы ты появился, нужно тебя сотворить. Тот, кто, желая понять сущность дома, разбирает его, видит кирпичи, черепицу, но не находит ни тишины, ни уюта, ни прохлады, которым служили кирпичные стены и черепичная крыша. Кирпичи, черепица — чему способны они научить, если распался замысел зодчего, который объединил их воедино? Камень нуждается в сердце и душе человека.

Логика привела нас к кирпичу, к черепице, но ничего не сказала ни о душе, ни о сердце, которые соединили их и преобразили в тишину. Душа и сердце вне логики. Они не подчиняются математическим законам. Вот почему необходим я и мой произвол. Я — зодчий. Душа и сердце. Я прихожу и берусь за окружающий меня материал. Все вокруг — глина, и я начинаю трудиться, подчиняя ее творческому замыслу, рожденному во мне Господом, а не логикой. Я творю свое царство, одержимый духом, который воплотится в нем, творю так же, как пи-

шутся стихи, не давая никому отчета, почему переставил запятую, почему заменил слово, — дух, открывшийся сердцу, ищет сказаться и ведет.

Я — правитель. Я предписываю законы, учреждаю празднества, требую жертв. Отары овец и коз, дома и горные кряжи я превращаю в царство, похожее на замок моего отца, где каждый миг был осмыслен.

Как распорядились бы они без меня доставшейся им кучей кирпича? Перетащили бы справа налево, чтобы вовсе забыть о порядке? Но я взял в свои руки бразды правления, я осуществил выбор. Выбрал за всех, и все теперь могут молиться в тишине и прохладе, сотворенных мной из бессмысленной кучи кирпичей. Кирпичей, которые я подчинил замыслу, рожденному моим сердцем.

Я веду. Я — вождь. Я — мастер. Я отвечаю за созидание. И зову всех других себе на помощь. Потому что я понял: вождь не тот, кто способен хранить ведóмых; вождь — тот, кто с помощью ведомых способен сохранить себя. Я и только я — творец картины, собравшей воедино отары и дома, коз и горные кряжи, — картины, в которую мой народ влюбился, словно в юную богиню, раскрывшую ему на заре объятья, — картины, которой никто еще и никогда не видел. Моему народу полюбилось царство, созданное произволом моего творчества. Он полюбил его, а значит, полюбил и меня — зодчего. В статуе любят не глину, не бронзу, не мрамор, — душу ваятеля. Теперь мне хочется, чтобы народ чтил мое царство. Но чтить его он будет только после того, как напитает кровью собственного сердца. Принесет ему жертвы. Новое царство потребует от людей их плоти и крови, чтобы стать выражением их самих. И когда так будет, люди не смогут жить вне божественной упорядоченности, явленной им как веление сердца зодчего. Вечера их наполнятся усердием. И отец, как только у сына откроются глаза, будет учить малыша различать облик царства, который не так-то легко разглядеть среди дробности мира.

И если я сумею сделать мое царство таким высоким, что и звезды найдут в нем свое место, то народ мой, встречая ночь на пороге, поднимет глаза к небу и возблагодарит Господа за то, что Он мудро ведет Свои корабли. И если мое царство окажется столь протяженным, что его хватит на всю человеческую жизнь, то народ мой будет идти от праздника к празднику, словно от преддверия к преддверию, зная, что будет за дверями, и различая среди дробности мира лик Господа.

Царство мое! Я строил тебя, как корабль. Крепил, оснащал, и теперь ты плывешь в потоке времени, который стал тебе попутным ветром.

Корабль людей, без него им не добраться до вечности!

Но я вижу, сколько опасностей грозит моему кораблю. Вокруг бушует беспокойное море неведомого. Мне предлагают все новые и новые курсы. Любой путь возможен, потому что всегда возможно разобрать построенный храм и сложить новый. Он не будет лживей старого и не будет истинней, не будет грешней и не будет праведней. Камни не помнят, какой была тишина, поэтому никого не коснется чувство утраты. . .

Вот почему я забочусь о мидель-шпангоутах моего корабля. Они должны послужить не одному поколению. Никогда не украсить храм, если что ни год возводить новый фундамент.

V

Да, я забочусь о мидель-шпангоутах и хочу, чтобы мой народ всегда помнил о них. Мой корабль хрупок, он — творение человеческих рук. А вокруг слепые стихии, могучие и неведомые. Слишком много покоя окажется у того, кто будет искать его посреди бушующего моря.

Вечным кажется людям доставшееся им царство. Очевидность всегда кажется незабываемой. Обжившись на корабле, люди не замечают моря. Оно для них рама, что обрамляет их корабль. Такова особенность человеческого рассудка. Ему свойственно верить, что море создано для корабля.

Но рассудок не прав.

Одному ваятелю видится в камне женское лицо, другому — мужское. Каждый видит свое. Ты убедишься в этом, разглядывая созвездия: вот одно из них — лебедь. Но кто-то скажет тебе: эти звезды напоминают спящую женщину. Да, напоминают, но мы увидели ее слишком поздно. Нам не избавиться от лебедя. Лебедь — игра фантазии, но он поймал нас и крепко держит. Однако если вдруг забыть, что лебедь лишь прихоть воображения, и счесть, что он существует на самом деле, мы перестанем оберегать его. И я понял, чем опасен для меня безрассудный, чем фокусник. Им ничего не стоит сотворить множество новых картинок. Главное для них ловкость собственных рук. Стоит понаблюдать за их жонглерством, и мое царство вскоре тоже покажется пустой игрой. Я приказываю схватить и четвертовать фокусника. Не потому, что мои законники доказали, что картинка его лживы. Нет, не лживы. Но истины в них тоже нет. Я не хочу, чтобы фокусник думал, будто он умнее и справедливее моих законников. Неправота его в том, что он возомнил себя правым. В том, что творения своих рук счел истиной, что ослепил всех эфемерным фейерверком, за которым не стоит ни истории, ни традиций, ни религии. Он соблазняет порядком, которого еще нет. Мой есть. И я убираю фокусника, оберегая мой народ от хаоса.

Позабывший о том, что наше царство — корабль посреди безбрежного моря, обречен на гибель. Он увидит, как волны сметут все глупые игры вместе с кораблем.

Это сравнение пришло ко мне в открытом море, когда я с небольшой частью моего народа отправился на корабле путешествовать.

Вот он, мой народ, — пленник корабля, затерянного посреди моря. Молча и не спеша я обошел корабль. Люди сидели, склонившись над подносами с едой, кормили детей, перебирали четки и молились. Мой народ жил. Царством ему стал корабль.

Но однажды ночью стихия очнулась. В молчании моей любви я пошел посмотреть, что делает мой народ, и увидел: он занят своей жизнью. По-прежнему куются кольца, прядется шерсть, ведутся тихие разговоры, — люди без усталости трудятся, чтобы не оборвались связующие их нити, чтобы преодолеть отъединенность и стать единым целым, где смерть одного — потеря для каждого. С молчаливой любовью я слушал их голоса. Я не слушал, о чем они говорят, о чайниках или болезнях. Я знаю: смысл вещей не в вещах, — в устремлении. И тот, кто с важностью улыбнулся, подарил сам себя, а другой, которого томит тоска, не догадывается, что тоскует оттого, что напуган или оставлен Господом. Вот какими я видел их в молчании моей любви.

А тем временем море, о котором и знать ничего невозможно, не спеша раскачивало нас на своих плечах. Высоко подбрасывало вверх, и на миг мы повисали в пустоте. Корабль сотрясался, словно разваливаясь на части. Исчезала реальность, и люди замолкали, переставали молиться, кормить детей, чеканить тусклое серебро. Оглушительный, похожий на раскат грома, треск раздирал деревянную обшивку. Корабль наливался тяжестью и, падая, был готов раздавить сам себя. Его падение выжимало из людей рвоту.

Что же, они так и будут жаться друг к другу в этом скрипучем хлеве при тошнотворном мигании керосиновых ламп?

И я, опасаясь, как бы они не отчаялись, сказал:

— Пусть чеканщики вычеканят мне серебряный кувшин. Повара пусть готовят еду повкуснее. Здоровые позаботятся о больных. А молящиеся за всех помолются...

И когда я увидел у борта побледневшего как смерть человека, который прислушивался в реве валов к священной песне моря, я сказал ему:

— Спустись в трюм и пересчитай павших овец. Случается, что, перепугавшись, они затаптывают друг друга.

Он ответил:

— Бог сызнава лепит море. Я слышу треск мидель-шпангоутов. У них не должно быть голоса, они для нас основа основ, наш костяк и опора. Не должно быть голоса и у опор в глубинах земли, которой мы доверили свои дома, аллеи олив, кротких тонкорунных овец, медленно жующих в хлеву Господнюю траву. Отрадно растить оливы, растить овец, заниматься едой и любовью у себя в доме. Страшно, когда опасными для тебя становятся собственные стены. Когда завершенное вновь пускают в работу. Вот и сейчас молчаливое обретает голос. Что с нами будет, если забормочут горы? Я слышал их бормотанье, и мне его не забыть.

— Какое бормотанье? — спросил я.

— Господин мой, раньше я жил в деревне, раскинувшейся на покойной спине холма, крепко стоящей на своей земле под своим небом, собиравшейся долго жить и прожившей долго. Шероховатые каменные колодцы, пороги домов, ложе родника благодаря вековому служению обрели благословенную гладкость. Но однажды ночью что-то очнулось в земных глубинах. Мы поняли, что земля ожила у нас под ногами и захотела стать другой. Завершенное вновь поступало в работу. И мы испугались. Не за себя — за плоды многолетних усилий. За то, на что положили жизнь. Я — чеканщик, и жалел чудесный кувшин, над которым трудился два года. Два года бдений стали прекрасным кувшином. Сосед боялся за пушистые ковры, которые ткал с такой радостью. Каждый день он просушивал их на солнце, гордясь, что его заскорузлые руки превратились в эту серебристую зыбь, кажущуюся бездонной. Другой сосед боялся за посаженную им оливковую рощу. Поверь, никто из нас не боялся умереть, но все мы боялись, что погибнут сделанные нами вещи, казалось бы, ничего не значащие и ничтожные. Вот тогда мы поняли: смысл жизни в том, на что она потрачена. Смерть садовника не подкосит дерева. Но сруби плодоносящее дерево, и садовник будет убит. В нашей деревне жил один старик, он знал самые древние легенды пустыни, и в его устах они становились еще прекраснее. Больше никто не знал таких сказок и легенд, а сыновей у него не было. С того мига, как зашевелилась земля, он боялся за свои бедные сказки, которых никто уже не расскажет больше. А земля продолжала жить и искать себе новую форму. Мало-помалу она превратилась в оползающую рыжую хлябь. Скажи, на что можно тратить себя, если все вокруг уничтожается неподвластной тебе стихией? Что можно построить, если все пришло в движение?

Перекосились дома, балки лопались, словно их начинили порохом. Стены дрожали и рассыпались в прах. Мы выжили, но стали ненужными даже самим себе. Кроме сказочника, — он пел и рассказывал что-то, потому что утратил рассудок.

Зачем ты посадил нас на корабль? Корабль пойдет ко дну, и с ним вместе всё, над чем мы трудились. Я чувствую, как обтекает нас бесплодное время. Я чувствую, как оно утекает. Время не должно течь так ощутимо. Оно должно обрести форму, созреть и состариться. Оно должно стать вещью, постройкой. Но какой формы ему ждать теперь, если мы ничего не можем, если от нас ничего не останется?

VI

Я смотрел на свой народ и думал: никто теперь не тратит свою жизнь на дело своих рук, нет наследия, которое неизменным передавало бы одно поколение другому, время теперь течет бесплодно, словно песок. Я думал: выстроенный нами дом слишком тесен, а дело, которому человек служит, слишком недолговечно. И я вспомнил фараонов, принуждавших свой народ воздвигать гигантские усыпальницы. Незыблемые и угловатые, плыли пирамиды по океану времени, тихонько истирались в пыль. Вспомнил девственные пески, караван вступил на них и увидел вдруг древний храм — полузатонувший корабль, потерявший снасти в голубой невидимой буре, еще плывущий, но уже обреченный. И вот о чем я подумал: не так уж и долговечен храм, нагруженный драгоценной утварью и позолотой, стоивший многих дней человеческой жизни, — храм, собравший мед множества поколений: золотую филигрань, священную позолоту, на которую медленно тратили себя и старели ремесленники, расшитые пелены, — день за днем отдавали им зоркость глаз юные женщины, превращаясь в старух, пока, скрюченные, кашляющие, колеблемые дуновением смерти, не оставляли после себя этот царственный шлейф, вечно цветущий луг. Тот, кто видит его сейчас, шепчет: «Как прекрасна эта вышивка! Как же она прекрасна. . .» А я знаю, что, вышивая, женщины день за днем преображали в вышивку самих себя. И не догадывались, что так совершенны.

Нужен ларец, чтобы хранить их наследство. Нужна повозка, чтобы везти его с собой. Я чу то, что долговременней человека. Я хочу сберечь смысл потраченной жизни. Хочу выковать дарохранительницу, которой люди могли бы доверить все, что в них есть.

И опять я смотрю на полузатонувшие корабли, медлящие в волнах пустыни. Все-таки они плывут. И я понял: прежде всего нужно строить корабль, снаряжать караван, возводить храм — они долговечнее человека. Люди с радостью будут тратить себя на то, что драгоценнее их самих. Только тогда появятся художники, скульпторы, граверы, чеканщики. Но чего ждать от человека, если трудится он для насущного хлеба, а не ради собственной вечности? Я напрасно потратил бы время, обучая таких работников законам архитектуры. Дом — подспорье их жизни, и бессмысленно тратить на него эту жизнь. Дом — средство и ничего больше. «Необходимость» — говорят они о доме и озабочены не домом, а его удобством. В доме они обогащаются. У умирают нищими, не оставив после себя ни расшитых пелен, ни золоченой утвари, сложенной в трюме каменного корабля. Их понуждали к трате, а они захотели, чтобы их обслуживали. Они ушли и оставили после себя пустоту.

С такими мыслями бродил я среди людей моего народа тихим вечером, который всех отпустил на свободу, и смотрел, как они сидят на пороге жалких лачуг в измятой ветхой одежде, отдыхая после пчелиного усердия дня. Но думал я не о них, — о душистом меде, который они все вместе собрали сегодня. Я остановился и посмотрел на одного из них — слепого старикам калеку. При малейшем движении он кряхтел, словно старое кресло, на вопросы отвечал не сразу, потому что прожитые годы затуманили для него смысл слов. Но тем осмысленней, тем проникновенней веяло от него работой, на которую он положил жизнь, веяло от узловатых рук, от дрожащих пальцев, — уже не вещественной, но ставшей благоуханным ароматом. Благодаря ей он чудесно отъединялся от своей коснеющей плоти, становясь все счастливее, все неуязвимей. Нетленнее. И приближаясь к смерти, чувствовал не ее леденящее дыхание, а дрожь мерцающих звезд у себя в руках.

Всю свою жизнь они трудились ради бесполезной роскоши, тратя себя на нетленность вышивки... малая их часть истратилась на полезное, а все остальное — на оттачивание рисунка, совершенствование формы, чеканку, ненужную серебру. Все это ничему не служит, а только вбирает отданную им жизнь и живет дольше человеческой плоти.

Медленными шагами шел я вечером среди людей моего народа, укрывая их своей молчаливой любовью. Я тревожился лишь за тех, кого снедал бесплодный огонь, а значит, и тоска: за поэта, влюбленного в поэзию и не написавшего ни строки, за женщину, влюбленную в любовь и не умеющую выбрать, она лишена возможности стать собой. И понял: они излечатся, если я подарю им то, что вынудит их выбирать, жертвовать собой и забывать обо всей Вселенной. Любимый цветок — это прежде всего отказ от всех остальных цветов. Иначе он не покажется самым прекрасным. То же самое и с делом, на которое тратишь жизнь. Когда безрассудный упрекает старуху за вышиванье, понуждая ее ткать, — он потворствует небытию, а не созиданию. Я иду по своему раскинутому в пустыне лагерю. Потихоньку, незаметно и не спеша все обретает в нем форму и вызревает, и я чувствую вместе с запахом дыма и пищи аромат молитвы. Временем питаются плод, вышивка и цветок для того, чтобы родиться и быть.

Подолгу бродил я по лагерю и понял: не добротная пища облагораживает царство, — добротные потребности жителей и усердие их в трудах. Не получая, а отдавая, обретаешь благородство. Благородны ремесленники, о которых я говорил, они не пожалели себя, трудясь денно и ночью, и получили взамен вечность, избавившись от страха смерти. Благородны воины: пролив кровь, они стали опорой царства и уже не умрут. Но не облагородишься, покупая себе самые прекрасные вещи у лавочников и любуясь всю жизнь только безупречным. Облагораживает творчество. Я видел вырождающиеся народы: они не пишут стихов, они их читают, пока рабы обрабатывают для них землю. Скудные пески Юга из года в год возвращают племена, жаждущие жить, — наступает день, и эти племена завладевают мертвыми сокровищами мертвого народа. Я не люблю людей с омертвелым сердцем. Тот, кто не тратит себя, становится пустым местом. Жизнь не принесет ему зрелости. Время для него — струйка песка, стирающая его плоть в прах. Что я верну Господу после его смерти?

Горе, когда разбивается сосуд, не успевший наполниться. Смерть старика похожа на чудо, он истратил жизнь и себя на труды, он ушел в землю, а на земле благоухают плоды его труда — в земле лежит сработавшееся орудие. Но я видел, как умирают дети моего народа, — они умирали молча, задыхаясь, они прикрывали глаза, удерживая пушистыми ресницами меркнувший в зрачках свет.

«У Ибрагима умирает ребенок», — услышал я. Медленно проскользнул я, никем не замеченный, в дом Ибрагима, зная, что молчаливая любовь понятна и через завесу слов. Никто не обернулся, все вслушивались в шаги смерти.

Если в доме говорили, то шепотом, если ходили, то бесшумно, словно в нем поселился кто-то очень пугливый, готовый исчезнуть при тишайшем звуке. Не касались дверей, не открывали и не закрывали их, словно в доме трепетал слабый огонек на текучей поверхности масла. Я посмотрел на ребенка и понял, что он мчится где-то далеко-далеко, понял по учащенному дыханию и сжатым кулачкам, вцепившимся в горячку, уносящую его от нас галопом, по упрямо закрытым глазам, не желающим ни на что смотреть. Все вокруг старались залучить его обратно и приручить, как приручают дикого лесного зверька. Ему подставили чашку с молоком и, затаив дыхание, ждали: вдруг вкусный запах остановит его, ему захочется молока и он напьется.

Тогда можно будет заговорить с ним, как заговаривают с ланью, лизнувшей ладонь.

Но он был по-прежнему невозмутим и серьезен. И если хотел чего-то, то вовсе не молока. Тогда старые женщины тихо-тихо, будто приманивая голубку, запели его любимую песню о девяти звездах, купавшихся в роднике, но он уже так далеко ушел, что не услышал. Ушел и даже не обернулся. Смерть принудила его к вероломству. И его умоляли о прощанье, беглом дружеском взгляде, который бросает путник, не замедляя шаг... о каком-нибудь знаке признательности. Его поворачивали с боку на бок, вытирали потное личико, уговаривали попить воды, пытаясь во что бы то ни стало разбудить от смерти.

Я собрался уходить, а они раскидывали все новые и новые ловушки, чтобы заманить малыша в жизнь. Но как легко малыш обходил все силки! Ему протягивали игрушку, чтобы зачаровать его счастьем, но когда она оказывалась слишком близко, маленькая ручка отстраняла ее, как отстраняют ветку, если она мешает скачке.

Я побыл с ними. Мне пора было уходить. Этот дом лишь одна из минут, одна из свечей, одна из крупниц жизни моего города. Ребенка окликнули, и он нечаянно улыбнулся, отозвался на оклик. И опять отвернулся к стене. Присутствие малыша стало невесомым присутствием птицы... Я оставил их творить тишину, которая, может быть, поможет приручить ребенка, который уходит в смерть.

Я шел вдоль узкой улочки. Я слышал, как за дверьми бранят служанок. Дома приводили в порядок, собирая необходимое, чтобы безопасно переплыть ночь. Мне не было дела, справедливо или нет бранят их. Я слушал голос усердия. А чуть дальше, у колодца, уткнувшись лицом в ладошки, плакала маленькая девочка. Я ласково погладил мягкие волосы и повернул ее к себе личиком, но не спросил, какое у нее горе, понимая, что этого она еще не знает. Горюют всегда об одном — о времени, которое ушло, ничего по себе не оставив, о даром ушедших днях. Когда плачут о потерянном браслете, плачут о времени, заблудившемся неведомо где; когда оплакивают умершего брата, плачут о времени, которое больше ничему не послужит. Девочка, повзрослев, будет горевать об ушедшем возлюбленном, не понимая, что оплакивает утерянную дорогу к жизни, к чайнику, к запертому дому, к ребенку, лежащему у груди. Не понимая, что плачет о времени, которое будет течь сквозь нее бесплодно, как песок в песочных часах.

Вот на порог дома вышла, улыбаясь, женщина. Я посмотрел на нее, и она в ответ улыбнулась еще счастливее, радуясь, верно, тому, что наконец укачала ребенка, сварила вкусный суп, или просто вернулась домой, или своей свободной минутке. Я прохожу мимо знакомого сапожника без ноги. Он старательно расшивает золотом бархатные туфельки и, хотя у него давным-давно нет голоса, я понимаю, что он поет.

— Чему ты так рад, сапожник?

Но не вслушиваюсь в ответ, зная, что он ошибется, сказав о полученных деньгах, скором ужине или отдыхе. Он не знает, что счастлив, истратив себя самого на раззолоченные туфельки.

VII

И вот что я еще понял: ошибается обыватель, веря в незыблемость покоя, защищенного стенами дома, — любой из домов в опасности. Храм, построенный на вершине горы, обдувает северный ветер, унося песчинку за песчинкой, и вот он уже похож на изношенный форштевень и идет ко дну. Храм в пустыне осаждают пески и мало-помалу возьмут над ним верх. Рано или поздно ты увидишь пустынную гладь, сомкнувшуюся над остатками твоих построек. Все, что

строишь,— в опасности. В опасности и мое царство. Я построил его своей любовью из домов, овец, гор и коз, но если не будет меня, его средоточия и творца, царство исчезнет, и останутся опять только горы, дома, козы и овцы.

Дробность вместо целостности, материал, ждущий нового ваятеля. И придут племена из пустыни и построят другое царство. Любя всем сердцем другую картину, они придут и по-новому расположат древние буквы в книге.

Ведь и я поступил точно так же. Я не устану славить вас, горделивые ночи моих военных походов. Раскинув на бесплодных песках треугольный лагерь, я поднимался на холм, ждал темноты и смотрел на темный треугольник внизу,— треугольник чуть больше деревенской площади, где я разместил своих воинов, верблюдов и оружие,— смотрел и думал о его уязвимости. В самом деле, как жалка эта горстка полуголых людей под голубыми шатрами: им грозит ночной холод, уже заморозивший звезды, грозит жажда, ибо воды в бурдюках должно хватить на девятидневный путь до колодца, грозят песчаные бури, неистовством похожие на бунт, грозят сабельные удары, от которых плоть, как перезрелый гранат, истекает алым соком. И человек уже ни на что не годен. Как жалки эти голубые полотняные шатры, которые не стали прочнее от спрятанной в них стали, которые стоят без защиты на запретной для них земле!

Но что мне до уязвимости? Я связал их всех в один узел и спас от рассеяния и гибели. Построив свой треугольник в ожидании ночи, я уже отъединил их от пустыни. Мой лагерь сжат, как кулак. Я видел: так защищался кедр от бесплодных утесов, спасая от гибели зеленеющие ветви. Кедр не спит, день и ночь он ведет борьбу, оборачивая в глубинах ствола себе на пользу те же самые частички враждебного мира, которые могут послужить его гибели. Кедр растит себя каждую секунду. И каждую секунду я укрепляю свой дом, заботаюсь о его долговечности. Из дробности, которую развеяло бы одно дуновение, я сложил треугольник, прочностью равный башне и неизменностью форштевня. Опасаясь, как бы мой лагерь не погрузился в сон и не растворился в забытии, я поставил по его углам дозорных, чтобы они вслушивались в шорохи пустыни. Слово кедр, уплотняющий свою древесину благодаря скале, мой лагерь укрепляется благодаря грозящим ему со всех сторон опасностям. Благословенны ночные молчаливые вестники, их шагов никто не слышит, они внезапно появляются из темноты и, присев у костра, рассказывают, кто идет к Северу, а кто к Югу, ища своих украденных верблюдов, о ропоте, поднявшемся из-за убийства, и о замыслах тех, кто молчит в своем шатре, обдумывая, какой из ночей напасть. Как внимательно ты их слушал, этих вестников, говорящих о молчании молчаливых! Благословенны и те, другие,— они неожиданно возникали у нашего костра и приносили такую страшную весть, что мои воины, не медля, засыпали песком огонь и бросались плашмя с ружьем на землю, венчая лагерь короной порохового дыма.

Ибо тьма, едва она только сгустится, чревата необычайным.

Каждый вечер смотрел я на свой лагерь, окруженный, словно корабль, бескрайним простором, и знал, что заря вернет мне его невредимым и все в нем, как бойцовые петухи, будут радостно приветствовать рассвет. Воины мои выючили верблюдов, голоса их в прохладе утра звучали как трубы. Взбодренные хмельной свежестью новорожденного дня, они дышали полной грудью, радуясь необъятным просторам.

Я вел своих воинов на завоевание оазиса. Не знающий людей убежден, что благоговение перед оазисом возвращено в оазисе. Нет, живущие в нем не задумываются, где живут. Благоговееет перед оазисом

иссушенное песками сердце бродяги. И я учил своих воинов любить оазисы.

Я говорил: «Вы увидите там душистую траву, журчащие родники, женщин в цветных покрывалах. Они кинутся бежать от вас толпой испуганных ланей, но сладостной будет ваша охота, ибо создали их, чтобы пленять».

Я говорил: «Им покажется, будто они ненавидят вас, и, защищаясь, они будут царапаться и кусаться. Но чтобы покорить их, достаточно погрузить мощную пятерню в их иссиня-черные волосы».

Я говорил: «Чтобы остановить их, ваша сила должна стать силой нежности. Они закроют глаза, не желая вас видеть, но ваше молчаливое терпение нависнет над ними, как тень орла. И когда они поднимут на вас глаза, их слезы будут слезами о вас.

Вы станете для них неизмеримостью, и они не смогут вас позабыть».

И еще я сказал, желая возбудить в них нетерпеливое желание завладеть этим раем:

«Вы узнаете там, что такое пальмовые рощи и пестрые птицы... Оазис покорится вам, ибо вы боготворите его, а те, кого вы изгоните, стали его недостойны. Их женщины, стирая белье в ручейке, журчащем по круглым белым камням, исполняют тяжкую нерадостную повинность, позабыв, что смеющийся ручей — всегда праздник. Вас выдубили пески, иссушило солнце, просолили жгучие солончаки, и когда вы возьмете в жены этих женщин и, подбоченившись, будете смотреть, как они стирают в голубой воде ручья, вы узнаете сладость победы.

В бесплодных песках вы научились жить, как кедр, утверждаясь благодаря врагам, которые окружили вас со всех сторон. Завоевав оазис, вы останетесь в живых, если не превратите его в нору, куда забиваются и обо всем забывают. Помните: оазис — это каждодневная победа над пустыней.

Вы одержите победу, потому что жители оазиса закоsnели в себя любви и довольстве накопленным. Пески, осаждающие оазис, кажутся им красивой золотой короной. Они издеваются над докучающими им своим беспокойством. Они не хотят сменить дозорных, задремавших у границы благословенной земли, рождающей родники.

Их сгноило призрачное счастье потреблять готовое. Не бывает счастливых без рабочего пота и творческих мук. Отказавшись тратить себя и получая пищу из чужих рук, изысканную пищу и утонченную, читая чужие стихи и не желая писать свои, они изнашивают оазис, не продлевая ему жизнь, изнашивают песнопения, которые им достались. Они сами привязали себя к кормушке в хлеву и сделались домашней скотиной. Они приготовили себя к рабству».

И вот еще что я сказал: «Вы завоюете оазис, но суть вещей останется прежней. Оазис — тот же лагерь в пустыне, но только в ином обличье. Со всех сторон опасности грозят моему царству. Оно построено из домов, гор, овец и коз; стоит развязать узелок, связавший их воедино, как не останется ничего, кроме груды строительных материалов — подарка грабителям.

VIII

Мне показалось, что люди нередко ошибаются, требуя уважения к своим правам. Я озабочен правами Господа в человеке и любого нищего, если он не преувеличивает собственной значимости, чту как Его посланца.

Но я не признаю прав самого нищего, прав его гнойников и калечества, чтимых нищим как божество.

Я не видел ничего грязнее городской окраины на склоне холма, она сползала к морю, как нечистоты. Из дверей на узкие улочки влажные клубами выползало смрадное дыхание домов. Человеческое отребье вылезало из вонючих нор и без гнева и обиды, грязно, сипло перекорялось, как будто хлюпала и лопалась пузырями болотная жижа.

Я взгляделся в хохочущих до слез, вытиравших глаза грязными лохмотьями прокаженных, — они были низки и ничего больше. Они были довольны собственной низостью.

«Сжечь!» — решил мой отец. И весь сброд, вцепившись в затхлые свои трущобы, завопил о своих правах. Правах гнойной язвы.

— Иначе и быть не может, — сказал мне отец. — Они понимают справедливость как нескончаемость сегодняшнего.

А сброд вопил, защищая свое право гнить. Созданный гниением, он за него боролся.

— Расплоди тараканов, — сказал отец, — и у тараканов появятся права. Права, очевидные для всех. Набегут певцы, которые будут воспевать их. Они придут к тебе и будут петь о великой скорби тараканов, обреченных на гибель.

Быть справедливым. . . — продолжал отец, — но сначала ты должен решить, какая справедливость тебе ближе: Божественная или человеческая? Язвы или здоровой кожи? И почему я должен прислушиваться к голосам, защищающим гниль?

Ради Господа я возьмусь лечить прогнившего. Ибо и в нем живет Господь. Но слушать его я не буду, он говорит голосом своей болезни.

Когда я очищу, отмою и обучу его, он захочет совсем другого и сам отвернется от того, каким был. Зачем же пособничать тому, от чего человек потом откажется сам? Зачем, послушавшись низости и болезни, мешать здоровью и благодетству?

Зачем защищать то, что есть, и бороться против того, что будет? Защищать гниение, а не цветение?

— Каждый для меня хранитель сокровища, я чту сокровище в каждом, и в этом моя справедливость, — говорил отец. — Чту я и самого себя. В нищем теплится тот же свет, но его едва видно. Справедливо видеть в каждом путь и повозку. Мое милосердие в том, чтобы каждый сумел воплотиться.

Но ползущая к морю грязь? Мне горько смотреть на гниющие отбросы. Как исказился в них облик Господа! Я жду, что они однажды поступят по-человечески, но жду напрасно.

— Я видел среди них и тех, кто делился хлебом, нес мешок увечному, жалел больного ребенка, — возразил я отцу.

— У них все общее, — ответил отец, — они свалили все в общую кучу, так им видится милосердие. Так они его понимают. Они научились делиться и хотят заменить милосердие дележкой добычи, какой заняты и шакалы. Но милосердие — высокое чувство. А они хотят убедить нас, что дележка и есть благотворение. Нет. Главное знать, кому творишь благо. Здесь низость домогается низостей. Пьяница домогается водки, ему хочется одного — пить. Конечно, можно потворствовать и болезни. Но если я озабочен здоровьем, мне приходится отсекал болезнь. . . и она меня ненавидит.

— Своим милосердием они помогают гниению, — добавил отец. — А что делать, если мне по душе здоровье?

— Если тебе спасут жизнь, — продолжал отец, — не благодари. Не преувеличивай собственной благодарности. Если твой спаситель ждет ее от тебя, он — низок. Неужели он полагает, что оказал услугу тебе? Нет, Господу, если ты хоть чего-то стоишь. А если ты изнемогаешь от благодарности, значит, у тебя нет гордости и нет скромности. В спасении твоей жизни значимо не твое маленькое везенье, а дело, которое

му ты служишь и которое зависит и от тебя тоже. Ты и твой спаситель трудитесь над одним, так за что же тебе благодарить его? Его вознаградили собственным трудом: он сумел спасти тебя. Это я и называю сотрудничеством в общем деле.

У тебя нет гордости, если ты идешь на поводу низменных чувств твоего спасителя. Потакая его мелочному самолюбию, ты продаешься ему в рабство. Будь он благороден, он не нуждался бы в твоей благодарности.

Меня заботит одно: общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Мне в помощь и ты, и камень. Кто благодарен камню, положенному в основу храма?

Обитатели трущоб работают только на себя. Отбросы, сползающие к морю, не тратят себя на песнопения, на статуи из мрамора, на самодисциплину во имя грядущих завоеваний. Единственное их занятие — поиск наивыгоднейших условий для дележа. Смотри, не споткнись тут. Пища необходима, но она куда опаснее голода.

Они поделили все, даже жизнь они поделили на две части, и обе эти части лишены всякого смысла: сперва они достигают, потом хотят наслаждаться достигнутым. Все видели, как растет дерево. Но когда оно выросло, видел ли кто-нибудь, чтобы оно наслаждалось своими плодами? Дерево растет и растет. Запомни: завоеватель, превратившийся в обывателя, погиб. . .

В сотрудничестве — милосердие моего царства.

Я приказываю хирургу изнурять себя долгим путем по пустыне ради того, чтобы поправить сломанный инструмент. Пусть инструментом будет рука простого работяги, который рубит камень в каменоломне. А хирург мой будет искуснейшим врачом. Нет, я не возвеличиваю посредственность, я хочу, чтобы починили повозку. А вожатый и у одного, и у другого — один. Я забочусь о том, о чем заботятся ухаживающие за беременной. Ради будущего ребенка они занимаются ее тошнотой и недомоганиями. А благодарности она заслуживает только потому, что родит. Но вот женщины начинают требовать внимания и ухода, потому что их тошнит и они недомогают. Я отворачиваюсь, ибо сама по себе рвота отвратительна. Женщина — сосуд, сосуд не благодарят. И сама она, и ее помощники служат рождению, так о какой благодарности может идти речь?

К моему отцу пришел генерал:

— Смешно смотреть на тебя! Ты возвеличиваешь царство и служишь ему. Но я тебе помогу, я заставлю всех чтить прежде всего тебя, а во имя тебя и твое царство!

Я видел и доброту моего отца. Он говорил:

— Нельзя унижать тех, кто главенствовал и кому воздавали почести. Нельзя отбивать у царя царство и превращать в нищего подававшего милостыню. Если ты так поступишь, ты разрушишь остов своего корабля. Я всегда ишу наказания, соразмерного виновнику. Я отрубаю голову, но не превращаю князя, если он оступился, в раба. Однажды я повстречал принцессу, которую сделали прачкой. Ее товарищи издевались над ней: «Куда подевалось твое величие, постирушка? Раньше ты могла казнить и наказывать, а теперь мы можем грязнить тебя в свое удовольствие. Вот она, справедливость!» Ибо справедливостью они считали возмездие.

Принцесса-прачка молчала в ответ. Она чувствовала свое унижение, но еще больше унижение того, что куда значительнее нее. Бледная и прямая, склонялась принцесса над корытом. Сама она вряд ли вызвала бы озлобление: она была миловидна, скромна, молчалива. И я понял, издеваются не над ней, — над ее падением. Если вызывающий

зависть сравнивается с нами, мы его с наслаждением разорвем. Я подзвал к себе принцессу.

«Я знаю, что ты царствовала. С сегодняшнего дня жизнь и смерть твоих товаров в твоей власти. Я возвращаю тебе трон. Царствуй!».

Возвысившись над низким сбродом, она презрела воспоминания о перенесенных обидах. И прачки больше не злобились, потому что порядок был восстановлен. Теперь они восхищались благородством принцессы. Они устроили празднество в честь ее воцарения и кланялись, когда она проходила. Они чувствовали, что возвысились, если могли коснуться ее платья.

Вот почему я не отдаю принцев на посмешище черни и издевательство тюремщиков. Нет, под трубные звуки золоченых рогов им на круглой площади по моему приказу отрубают голову.

Унижает тот, кто низок сам, — говорил мне отец. — И никогда не позволяй слугам судить хозяина.

IX

Отец говорил мне так:

— Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если ты хочешь, чтобы они возненавидели друг друга, брось им маковое зерно.

И еще говорил мне отец:

— Плоды их трудов — вот моя забота. Жатва их ручейками должна стекаться ко мне в житницу. Житница для них — я. И пусть они служат моей славе, обмолачивая зерно в ореоле золотой пыли. Только так попечение о хлебе насущном можно сделать духовным песнопением. И тогда не жаль тех, кто сгибается под тяжестью мешка по дороге на мельницу. Или идет с мельницы, поседев от мучной пыли. Тяжелый мешок с зерном возвышает душу точно так же, как молитва. Посмотри, как они счастливы, стоя со снопом в руках, похожим на свечу, мерцающую золотом колосьев. Облагораживает взыскательность, а не сытость. Что же до зерна, то, конечно же, они получают его и съедят. Но пища для человека не самое насущное. Душа жива не тем, что получено от зерна, — тем, что было ему отдано.

И я повторяю вновь и вновь: племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны презрения. Я называю их стоячим болотом. И не вижу над ними золотящегося ореола пылинок, поднимающихся при молотье.

Разумеется, отдавая, я и получаю тоже. Иначе что я буду отдавать? Благословен нескончаемый обмен отданного и полученного, благодаря ему можно отдавать все больше и больше. Полученное укрепляет тело, душу питает отданное.

Я смотрел на танцовщиц, которые танцуют. Танец придуман, станцован. Кто может воспользоваться им, унести и превратить в припас на будущее? Он миновал, как пожар. Но я назову благородным народ, танцующий свои танцы, хоть нет для них ни закровов, ни житниц. А тех, кто расставляет по полкам прекраснейшие творения чужих рук, несмотря на умение восхищаться, я назову варваром.

Мой отец говорил:

— Человек — это тот, кто творит. Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесет покоя сделанный им запас.

Моему отцу возразили:

— Ты говоришь о творчестве, что ты имеешь в виду? Немногие способны создать что-то выдающееся. Ты, стало быть, обращаешься к немногим. А остальные? Что делать им?

Отец ответил:

— Творить — значит оступиться в танце. Неудачно ударить резцом по камню. Дело не в движении. Усилие показалось тебе бесплодным? Слепец, отойди на несколько шагов. Посмотри издали на суетливый город. Что ты видишь, кроме усердия и золотистого ореола пыли над занятыми работой? Как тут различить, кто ошибся? Народ занят, и мало-помалу возникают дворцы, водоемы и висячие сады. Волшебство искусных рук сотворило шедевры, не так ли? Но поверь мне, удачи и неудачи равно сотворили их, потому как, подумай, можно ли расчленивать человека? И если спасать только великих ваятелей, можно остаться без ваятелей вообще. Кому достанет безумства избрать себе ремесло, сулящее так мало шансов выжить? Великие ваятели поднимаются на черноем плохих. Они для них вместо лестницы и поднимают вверх ступенька за ступенькой. Прекрасный танец рождается из желания танцевать. Когда хочется, танцуют все, даже те, кто танцует плохо. А что остается, если пропадает желание? Мертвая выучка, бессмысленное зрелище.

Историк судит об ошибках, он смотрит в прошлое. Но кто упрекает кедр за то, что он еще семечко, росток или растет не так, как надо? Его дело расти. Ошибка за ошибкой, и поднимется кедровый лес, благоухающий в ветреный день птицами.

— Я тебе уже говорил, — добавил отец, — неудача одного, успех другого, — не утруждай себя, не дели. Плодотворно лишь сотрудничество всех благодаря каждому. Любой неудачный шаг помогает удачному, а удача ведет к цели и того, кто промахнулся, они идут к ней рука об руку. Нашедший Бога находит Его для всех. Царство мое подобно храму, я бужу и побуждаю людей. Я созываю их возводить его стены. И вот уже это их храм. Воздвигнутый храм возвышает людей в собственных глазах. И они придумывают позолоту. Все вместе, и тот, кто искал и не нашел, тоже. Потому что замысел позолоты рожден всеобщим усердием.

В другой раз отец сказал мне:

— Не желай государства, где царило бы совершенство. Безупречный вкус — добродетель хранителя в музее. Неоткуда ждать картин, садов, замков и танцев, если презирать дурной вкус. Боязнь черной работы и грязной земли рождает снобов. Праздное совершенство оставит тебя ни с чем. Заботься о государстве, где все было бы проникнуто усердием.

Х

Словно от непосильной тяжести изнемогли мои воины. И офицеры пришли ко мне:

— Когда мы вернемся домой? Наши женщины лучше женщин завоеванного оазиса.

Один из них сказал мне:

— Господин мой, мне снится та, которой принадлежало мое время и с которой я ссорился. Я хотел бы вернуться к себе и сажать деревья. Я перестал видеть смысл вещей, мой господин. Позволь мне самому пуститься в рост в тишине моей деревни. Я чувствую, для меня настала пора подумать, что же такое моя жизнь.

И я понял: они нуждаются в тишине. В тишине каждый найдет свою истину и укоренится в ней. Но для этого необходимо время, как при вскармливании младенца. Материнская любовь поначалу и есть вскармливание. Кто видел, чтобы ребенок вырос в одну секунду? Никто. Удивляются гости и говорят: «Как он вырос!» Но ни мать, ни отец не видят, что ребенок вырос. Его неспешно лепит время, и в каждый миг он таков, каким должен быть.

Теперь время понадобилось и моим воинам. Не для того ли, чтобы постигнуть суть дерева? Чтобы из вечера в вечер садиться на пороге смотреть на одно и то же дерево, с теми же самыми ветвями? Чтобы мало-помалу дерево открылось им.

Как-то у костра в пустыне поэт рассказал нам о своем дереве. Мои воины внимательно слушали его, хотя многие из них не видели ничего, кроме верблюжьей колючки, кустарника и карликовых пальм.

— Вы даже не представляете себе, что такое дерево, — говорил он. — Однажды по прихоти случая дерево выросло в заброшенной лагуне без окон и отправилось на поиски света. Человеку нужен воздух, рыбе — вода, а дереву — свет. Корнями оно уходит в землю, а ветвями к звездам, оно — путь, соединяющий нас с небом. Дерево, о котором я рассказываю, родилось слепым, но и в темноте оно сумело набраться сил и поползло на ощупь от стены к стене. Запечатлевая свою боль искривлениями ствола. Наконец оно добралось до окна в потолке, разбило его и потянулось к солнцу, прямое, как колонна. Я видел его победу со стороны и мог только засвидетельствовать ее с бесстрашием историка.

Какое великолепное несходство — искореженный усилиями узловатый ствол, запертый в темном гробу, и разросшаяся в тишине и спокойствии мощная крона, вскормленная небесным светом, обильно питаемая богами, похожая на обширный стол, за который садится пировать солнце.

Каждое утро я видел, как просыпалось это дерево — все, от ликующих листьев до искривленных корней. Крона его была переполнена птицами. С зарей они пробуждались и начинали петь. Но стоило показаться солнцу, как дерево, словно добрый пастырь, отпускало своих обитательниц в небо, дерево-дом, дерево-замок, опустевший до вечерней зари...

Поэт говорил, а мы вдруг ощутили, как долго нужно смотреть на деревья, чтобы они проросли и в нас. И каждый позавидовал сердцу, отягощенному птицами и листвою.

— Когда же, — спрашивали меня воины, — кончится наконец война? Нам тоже есть о чем подумать. Мы тоже хотим найти себя...

Случалось, что мои воины ловили лисенка, и он соглашался брать пищу из рук, и его из рук кормили. Случалось, из рук кормили газель, которая снизошла до жизни в неволе. День ото дня моим воинам становилось дороже их сокровище: как радовала их солнечная шкурка, шалости и голод лисенка, настоятельно требующего от них усердия. Они жили тщетной иллюзией, веря, что зверек нуждается в них, что его создала, вскормила и питает их любовь.

Но приходил день, и лисенок, который любил только свою пустыню, убежал к ней, и пустыней становилось человеческое сердце. Я видел, как посланный в засаду воин погиб, потому что ему не захотелось защищаться. Нам принесли весть о его гибели, и мне вспомнились загадочные слова, какими он ответил на утешения товарищей после бегства его лисенка, — ему советовали поймать другого, а он ответил: «Нужно слишком много терпения не для того, чтобы поймать, для того, чтобы любить его».

Они устали от лисят и газелей, когда поняли, что тратить на них бесполезно, потому что лисенок любит пустыню, но ни пустыня, ни лисенок не нуждаются в человеке.

— У меня три сына, — говорил мне один из них, — они растут, а я ничему не научил их. Ничего им не передал. Что останется от меня после смерти?

Укрывая всех моей молчаливой любовью, я смотрел, как моя армия истаивает среди песков, подобно потоку, рожденному грозой. У такого

потока нет надежного русла, и он умирает бесплодным, не перевоплотившись дорогой в дерево, траву, хлеб для деревень.

Ради блага моего царства мои войны хотели перевоплотиться в оазис, украсить мой замок новым отдаленным владением, чтобы, рассказывая о нем, можно было прибавить:

— Сколько прелести придают ему зеленеющие на Юге пальмы, наши новые пальмовые рощи и деревни, где режут слоновую кость...

Да, мы завоевали оазис, но ни для кого он не сделался домом, и каждый теперь мечтал об одном: вернуться. Исчезло единое царство, оно разделилось, дробность мира затуманила его облик.

— Для чего нам чужой оазис? Что он нам прибавит? Чем обогатит? — роптали они. — Для чего он нам в деревне, куда мы вернемся и где проживем до старости? Он для тех, кто поселится в нем, будет собирать инжир и стирать белье в торопливом ручье...

XI

Они не правы, но я ничего не могу поделать. Угасает вера, и умирает Бог. Он кажется никому не нужным. Истошилось рвение, распалось царство, потому что скрепляло его усердие. Нет, оно не было обманом. Дорога под оливами и дом, который любят от всего сердца и берегут, — вот мое царство, но если оливы точно такие же, как сотни других, а дом под ними защищает только от дождя, то где оно, мое царство, и как уберечь его от разрушения? И проданные оливы останутся оливами, а дом домом.

Посмотрите на князя, хозяина здешних мест, — одинокий шагает он по дороге и плащ его влажен от утренней росы. Где богатства его? Что в них толку? Он вязнет в грязи после вчерашнего дождя, он отводит палкой колючие ветки, — как бродяга, любой бродяга, бродяга из бродяг. Спустился в ложбину и потерял из виду два свои владения. Но несмотря ни на что он — князь.

Ты встретишь его, он на тебя посмотрит, и это будет взгляд князя. Он спокоен, он уверен в себе, опорой ему все, что сейчас ему не служит. Да, сейчас он не пользуется ничем, но ничего и не утратил. Его владения: пастбища, ячменные поля, пальмовые рощи — прочная опора. Поля отдыхают. Дремлют житницы. Молотильщики не вздымают цепами золотого ореола пылинок. Но все это живет в сердце князя. И не кто-нибудь, а хозяин шагает по своей люцерне...

Слеп тот, кто судит о человеке по его занятиям, плодам трудов или достижениям. Значимо для человека совсем не то, чем он располагает в эту секунду: на прогулке в руке у князя пучок колосьев или сорванное дорогой яблоко. Воин, что ушел со мной воевать, полон своей любимой. Он не может увидеть ее, обнять, коснуться — ее как бы и не существует; в ранний, предрассветный час она и не помнит о нем; шагающем где-то вдалеке с тяжким грузом своих воспоминаний, потому что ушла далеко-далеко от мира живущих. Потому что ее как бы и нет на свете, потому что она крепко спит. Но для мужчины она живет и бодрствует, и он несет в себе груз нежности, сейчас бесполезной, и которая тоже спит, словно зерно в житнице, несет ароматы, которые не вдыхает, журчанье родника — сердце своего дома, — он не слышит его, но несет с собой все свое царство, и оно отличает владельца от всех остальных людей.

Вот твой друг, ты повстречал его, а у него болен ребенок, и тяжесть его болезни он повсюду носит с собой. Малыш далеко. Отец не держит горячей ручки, не слышит плача, жизнь его течет привычной чередой. Но я вижу, как придавила его тяжкая забота о малыше, который живет в его сердце.

Они похожи: князь, который не может охватить взглядом своего царства, не пользуется своим богатством, но знает, что он есть и всегда остается властелином; отец больного ребенка, который страдает за него, и мой воин, который служит своей любви, пока любимая блуждает по стране сновидений. Смысл, которым окрашено происходящее, — вот что значимо для человека.

Бывает и по-другому, я знаю. Кузнец из моей деревни пришел ко мне и сказал:

— Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо, и большего мне не нужно. Что мне до каких-то страданий?

Но хорошо ли в доме, одиноко стоящем посреди Вселенной? Если ты и твоя семья под полотняным шатром, затерявшимся в пустыне? Я заставил поправиться кузнеца.

— Хорошо, если по вечерам приходят друзья из шатра по соседству, если есть о чем потолковать и есть новости о пустыне. . .

Я же видел вас, не забывайте об этом! Видел, как вы сидели ночью вокруг костра, как жарили барашка, слушал всплески ваших голосов. Не спеша, с молчаливой любовью подходил я к вам. Да, конечно, вы говорили о детях: один растет, а другой болеет; говорили, конечно, и о доме, но без особого воодушевления. Зато как вы оживлялись, когда к вашему костру подсаживался странник, пришедший с караваном из дальних мест, и рассказывал о тамошних чудесах: о княжеских белых слонах, о замужестве девушки, чье имя едва вам знакомо, о переполохе в стане врагов. Он мог рассказывать о комете или обиде, о любви или мужестве в смертный час, о ненависти к вам или, напротив, участии. Множество событий соприкасалось с вами, пространство расширяло вас, и ваш собственный шатер, любимый и ненавистный, уязвимый и надежный, становился вам во сто крат дороже. Вас ловила волшебная сеть, и вы становились куда пространственней, чем были сами по себе. . .

Вам необходим простор, а высвобождает его в вас только слово.

Я вспомнил случай с беженцами-берберами. Мой отец поселил их отдельно, в небольшом селенье на севере от города. Он не хотел, чтобы они смешались с нами. Он был к ним добр: давал чай, сахар и полотно на одежду. Он не требовал от них никакой работы в уплату за свою щедрость. Кому еще жилось беззаботнее, и каждый из них мог сказать:

— Какое мне дело до чужих и далеких? У меня есть сахар и чай, мой осел сыт, жена со мной рядом, дети растут и умнеют. У меня все хорошо и большего мне не нужно. . .

Но кому они показались бы счастливыми? Мы изредка навещали их, когда отец меня учил. . .

— Смотри, — говорил он, — они сделались домашним скотом и потихоньку гниют. . . не плотью, а сердцем. . .

Ибо мир для них обесмыслился.

Даже если ты не поставил на кон состояния, игра в кости для тебя мечта об отарах, земле, золотых слитках и бриллиантах. У тебя их нет. Но они есть у других. Однако приходит день, и ты перестаешь мечтать при помощи игры в кости. И бросаешь игру.

А наши подопечные бросили разговаривать, им стало не о чем говорить. Истерлись похожие друг на друга семейные истории. О своих шатрах, похожих как две капли воды, они все рассказали друг другу. Они ничего не боялись, ни на что не надеялись, ничего не придумывали. Слова служили им для самых обыденных дел. «Одолжи мне таганок», — просил один. «Где мой сын?» — спрашивал другой. Чего хотеть, когда лежишь у кормушки? Ради чего стараться? Ради хлеба? Им кормят. Ради свободы? Но в пределах своей крошечной вселенной они свобод-

ны до беспредельности. Они захлебывались от своей безграничной свободы, и у богатых от нее пучило животы. Ради того, чтобы восторжествовать над врагами? Но у них не было врагов.

Отец говорил:

— Ты можешь прийти к ним один, пройти по всему селенью, хлеща их бичом по лицу. Они оскалятся, как свора собак, попятятся, огрызаясь и желая укусить, но ни один не пожертвует собой. Ты останешься безнаказанным, скрестишь руки на груди и почувствуешь оскомину от презрения...

Он говорил:

— На вид они люди. Но под оболочкой не осталось ничего человеческого. Они могут убить тебя по-подлому, в спину,— воры тоже бывают опасны, — взгляда в глаза они не выдержат.

А берберы тем временем занемогли враждой. Не той, что делит людей на два лагеря, — бестолковой враждой каждого ко всем остальным: ведь каждый, кто съел свой припас, мог своровать что-то у других. Они следили друг за другом, как собаки, что кружат вокруг лакомого куска. Равенство было для них справедливостью, и во имя равенства они начали убивать. Убивать того, кто хоть чем-то был отличен от большинства.

— Толпа, — говорил отец, — ненавидит человека, потому что всегда бестолкова и распоздается во все стороны разом, уничтожая любое творческое усилие. Плохо, если человек подавил толпу. Но это еще не безысходность рабства. Безысходное рабство там, где толпе дано право уничтожать человека.

И вот во имя сомнительной справедливости кинжалы вспарывали животы, начиная ночь трупам. А на заре эти трупы сваливали, словно мусор, на пустыре, откуда забирали их наши могильщики. Работы у них не убавлялось. И мне вспомнились отцовские слова: «Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если хочешь увидеть их ненависть, брось им маковое зерно».

Мы заметили, что берберы, пользуясь словами все реже и реже, отывают от них. Когда мы с отцом шли мимо, берберы сидели с пустыми тупыми лицами, смотрели и не узнавали. Иногда мы слышали глухое ворчанье и догадывались, что приближается час кормежки. Берберы бытовали, позабыв, что значит горевать и хотеть, любить и ненавидеть. Они не мылись, не уничтожали паразитов. Пошли болезни, язвы. От поселения стал исходить смрад. Мой отец опасался чумы. И вот что он сказал:

— Я должен разбудить ангела, что задыхается под этим гноищем. Не их почитаю я, но Господа, который и в них тоже...

XII

— Вот одна из великих загадок человеческой души, — сказал отец. — Утратив главное, человек даже не подозревает об утрате. Разве знают об утрате жители оазиса, стерегущие свои припасы? Откуда им знать о ней, раз припасы при них?

На прежних местах дома, овцы, козы, горы, но они уже не царство. Не ощущая себя частичкой царства, люди, сами того не замечая, понемногу ссыхаются и пустеют, потому что все вокруг обесмыслилось. На взгляд, все осталось прежним, но бриллиант, если он никому не нужен, становится дешевой стекляшкой. Твой ребенок, он больше не подарок царству, не драгоценность. Но ты пока не знаешь об этом, ты держишь его на руках, а он тебе улыбается.

Никто не заметил, что обеднел, потому что в обиходе у нас все те же вещи. Но каков обиход бриллианта? Для чего он, если нет праздничного торжества? Для чего дети, если не существует царства и мы

не мечтаем, что они станут воителями, князьями, зодчими? Если судьба их быть слабым комочком плоти?

Люди не знают, что царство вскармливает их, как мать младенца, что оно питает душу, словно спящая где-то вдали и словно бы несуществующая возлюбленная. Но ты ее любишь, и благодаря твоей любви обретает смысл все, что с тобой происходит. Ты не слышишь ее тихого дыхания, но благодаря ему мир сделался чудом. Князь шагает по росистой траве на рассвете, и пока не проснулись его землепашцы, царство бодрствует в его сердце.

И вот что еще загадочно в человеке: он в отчаянии, если его разлюбят, но когда разочаруется в царстве или разлюбит сам, не замечает, что стал беднее. Он думает: «Мне казалось, что она куда красивее... или милее...», и уходит, довольный собой, доверившись ветру случайности. Мир для него уже не чудо. Не радуется рассвет, он не возвращает ему объятий любимой. Ночь больше не святая святых любви и не плащ пастуха, какой была когда-то благодаря милому сонному дыханию. Все потускнело. Одеревенело. Но человек не догадывается о несчастье, не оплакивает утраченную полноту, он радуется свободе — свободе небытия.

Тот, в ком умерло царство, похож на разлюбившего. «Мое усердие — наваждение идиота!» — восклицает он. И прав. Потому что видит вокруг коз, овец, дома, горы. Царство было творением его влюбленного сердца.

Для чего женщине красота, если мужчины не вдохновляются ею? Чем драгоценен бриллиант, если никто не жаждет им обладать? Где царство, если никто ему не служит?

Влюбленный в чудесную картину хранит ее в своем сердце, живет и питается ею, как младенец материнским молоком, она для него суть и смысл, полнота и пространство, краеугольный камень и возможность подняться ввысь. Если отнять ее, влюбленный погибнет от недостатка воздуха, словно дерево с подсеченным корнем. Но когда картина вместе с человеком меркнет день за днем сама по себе, человек не страдает, он сживается с серостью и не замечает ее.

Вот почему нужно неусыпно следить, чтобы в человеке бодрствовало великое, нужно его понуждать служить только значимому в себе.

Не вещественность питает, а узел, благодаря которому дробный мир обрел целостность. Не алмаз, но желание им любоваться. Не песок, а любовь к нему племени, рожденного в пустыне. Не слова в книге, но любовь, поэзия и Господня мудрость, запечатлевшиеся в словах.

Если я понуждаю вас к сотрудничеству, если, сотрудничая, вы становитесь единым целым и целое, нуждаясь в каждом, каждого обогащает, если я замкнул вас крепостью моей любви, то как вы сможете воспротивиться мне и не возвыситься? Лицо прекрасно глубинным созвучием черт. На прекрасное лицо душа отзывается трепетом. Созвучные сердцу стихи вызывают на глаза слезы. Я взял звезды, родник сожаления. Ничего больше. Я соединил их произволом моего творчества, и теперь они ступени божественной гармонии, которой не обладали по отдельности и которая теперь овеает их.

Мой отец послал сказителя к опустившимся берберам. Наступили сумерки, сказитель сел посреди площади и запел. Его песня бередила души, будя созвучия, напоминающая о многом. Сказитель пел о царевне и о долгом пути к любимой по безводным пескам под палящим солнцем. Жажда влюбленного была готовностью к жертве и одержимостью страстью, а глоток воды — молитвой, приближающей его к возлюбленной. Сказитель пел: «Сгораю без тенистых пальм и ласки капель, измучен жаждой улыбнуться милой, не знаю, что больнее жалит — зной солнца или зной любви?»

Жажда жаждать обожгла берберов, и, потрясая кулаками, они закричали моему отцу: «Негодяй! Ты отнял у нас жажду, а она — жертва во имя любви!»

Сказитель запел о могуществе опасности, она приходит вместе с войной и царит, превращая золотой песок в гнездо змей. Она возвеличивает каждый холм, наделяя его властью над жизнью и смертью. И берберам захотелось соседства смерти, оживляющей мертвый песок. Сказитель пел о величии врага, которого ждут отовсюду, который, словно солнце, странствует с одного края света на другой, и неведомо откуда ждать его. И берберы возжаждали близости врага, чье могущество окружило бы их, словно море.

В них вспыхнула жажда любить, они словно бы заглянули в лицо любви и вспомнили о своих кинжалах. Плача от радости, ласкали берберы стальные клинки — забытые, заржавленные, зазубренные, — но клинки для них были вновь обретенной мужественностью, без которой мужчине не сотворить мира. Клинок стал призывом к бунту. И бунт был великолепен, как пылающий огонь страсти.

Берберы умерли людьми.

XIII

Вспомнив о берберах, мы решили лечить мое умирающее войско поэзией. И вот какое случилось чудо — поэты оказались бессильными, солдаты над ними потешались.

— Лучше бы пели о всамделишном, — говорили они, — о колодце в нашем дворе и как вкусно за ужином пахнет похлебка. А всякая ерунда нам неинтересна.

Так я понял еще одну истину: утраченное могущество невосвратимо. Мое царство никого больше не вдохновляет. Прекрасные картины умирают, как деревья. Истошив возможность завораживать, они превращаются в пепел и удобряют другие деревья. Я отошел в сторону, желая поразмыслить над новой загадкой. Да, видно, не существует в мире большей или меньшей подлинности. Существует большая или меньшая действенность. Я выпустил из рук волшебный узел, когда-то сливший дробный мир воедино. Узел ускользнул от меня и развязался. Теперь мое царство распадается будто само по себе. Но если буря обламывает ветки кедра, если суховея иссушает его древесину, если пустыня одолевает кедр, то не потому, что песок стал сильнее, — потому, что кедр перестал сопротивляться и распахнул ворота варварам.

Сказитель пел, а слушатели упрекали его в фальши. Патетика сказителя и впрямь звучала фальшиво, казалась отжившей и старомодной. «Неужто он и в самом деле влюблен до потери сознания во всю эту чепуху — в коз, овец, дома и пригорки? — интересовались мои солдаты. — Он, что, всерьез обожает речную излучину? Но что она по сравнению с ужасом войны? Она не стоит и капли крови!» Ничего не поделать, и мне показалось, что поэты кривили душой, что рассказывали малым детям дурацкие побасенки, а дети смеялись над ними...

Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне с жалобой на сказителей. «Они не умеют петь!» — кричали генералы. Но я знал, почему фальшивят сказители: они воспевали бога, который умер.

А мои генералы, дотошные и недалекие, стали задавать мне вопросы. «Почему солдаты не хотят воевать?» — спросили они, обижаясь за свое ремесло, как могли бы спросить: «Почему жнецы не хотят жать хлеб?» Вопрос их не имел смысла. Речь шла не о ремесле. И в молчании моей любви я спросил по-другому: «Почему мои солдаты отказываются умирать?» И моя мудрость стала искать ответа.

Нет, не умирают ради овец, коз, домов и гор. Все вещественное существует и так, ему не нужны жертвы. Умирают ради спасения не-

зримого узла, который объединил все воедино и превратил дробность мира в царство, в крепость, в родную, близкую картину. Тратят себя ради целостности, ибо и смерть укрепляет ее. Смерть, которая стала данью любви. Тот, кто неспешно тратил жизнь на добротную работу, что долговечнее человека, — на постройку храма, например, который будет шествовать сквозь века, — тоже согласится на смерть, если дробный мир покажется ему прекрасным замком и, влюбившись в замок, он захочет с ним слиться. Его примет большее, чем он сам. Он отдаст себя своей любви.

Но как согласиться отдать жизнь из выгоды? Выгоднее всего жить. Песни моих сказителей не будили в душе созвучий — значит, за кровь моим воинам платили фальшивой монетой. Их лишили возможности умереть во имя любви. Так зачем тогда умирать?

А тот, кто все-таки шел на смерть, повинувшись долгу, который стал непонятем, умирал в тоске: вытянувшись, он молчаливо смотрел тяжелым взглядом, от отвращения став жестоким.

И я стал искать в своем сердце слова для нового поучения, чтобы вернуть себе моих воинов. Но понял: человека ведет не логика и не мудрость, мне нужна новая картина, а картины творят художники и ваятели, заставляя камень и краски служить произволу своего творчества, и я стал молиться Господу, чтобы он мне открыл новую картину.

Всю ночь я бодрствовал среди моих воинов и слушал, как скрипит песок, неторопливо перемещая дюны. Ветер то завешивал луну красноватой дымкой, то сдувал ее. Я слышал, как перекликаются дозорные, стоя по углам моего треугольного лагеря, и так пусты были их громкие безнадежные голоса.

Я сказал Господу: «Нет у них больше крова... Слова истерлись и износились. Берберы ни во что не верили, но вокруг них было мощное царство. Мой отец послал к ним сказителя, и его голосом заговорила мощь царства. За одну ночь всемогущее слово обратило их в нашу веру. Но сильными были не слова, а царство.

У меня нет сказителя, нет истины, нет плаща, чтобы быть пастухом, и теперь они начнут по ночам убивать друг друга ударом ножа в живот, бессмысленным, словно проказа. Как мне собрать их снова?»

Там и здесь возвышали голос пророки, и люди прислушивались к ним. Уверовавшие — пусть их было немного — воодушевлялись и во имя своей новой веры готовы были умереть. Но их вера не интересовала других. Веры враждовали между собою. Ненавидя инакомыслящих, каждый строил свой маленький храм, привычно деля всех на заблудших и праведных. И то, что не признавалось истиной, объявлялось заблуждением, а то, что не считалось заблуждением, становилось истиной. Но я-то знаю, что заблуждение не противоположность истины, оно тоже храм и выстроено из тех же камней, но по-другому. Сердце мое кровоточило, видя готовность людей умереть за миражи. Я молился Господу: «Открой мне истину, в которой поместились бы все их маленькие правды, которая укрыла бы их всех одним плащом. Чтобы из враждующих былинки я сотворил дерево, душа его одухотворяла бы всех и одна ветка росла бы благодаря мощи другой, потому что дерево всегда чудо сотрудничества и цветение под солнцем.

Неужели у меня не достанет сердца, чтобы приютить их всех?»

И настало время торжества торгашей. Время издевательств над добродетелями. Все продавалось. Покупали невинность. Расхищали запасы, собранные мной на случай голода. Убивали. Но я не так простодушен, чтобы в разгуле страстей и порока видеть причину упадка моего царства. Я знаю, добродетели истощились, потому что умерло царство.

— Господи! — просил я. — Дай мне увидеть картину, которую они полюбили бы всем сердцем. И все вместе, благодаря усилиям каждого, становились бы сильнее и сильнее. Вот тогда у них появятся добродетели.

XIV

В молчании моей любви я казнил многих. И каждая смерть питала подземную лаву возмущения. Соглашаются с очевидным. Но очевидность исчезла. Никто уже не понимал, во имя какой из истин гибнет еще и этот. И тогда Божьей мудростью мне было даровано поучение о власти.

Властвуют не суровостью — доступностью языка. Суровость помогает обучить языку, который ничем не обусловлен извне, который не истинней и не лживей других, но просто говорит об ином. Но какая суровость поможет обучить языку, который разделяет людей и позволяет им противоречить друг другу? Язык противоречий поощряет несогласие, а несогласие уничтожает всякую суровость.

Суров и я в моем произволе и многое упрощаю. Я принуждаю человека стать иным — более раскованным, просветленным, благородным, усердным и цельным в своих устремлениях. Когда он становится таким, ему не нравится та личинка, какой он был. Он удивляется свету в себе и, обрадованный, становится моим союзником и защитником моей суровости. Оправдание моей суровости — в действенности. Она — ворота, и удары бича понуждают стадо пройти через них, чтобы избавиться от кокона и преобразиться. Преобразившись, они не смогут быть несогласными, они будут обращенными.

Но что толку в суровости, если, пройдя через ворота и потеряв былого себя вместе с коконом, человек не ощутит за спиной крыльев, а узнает, что он — жалкий калека? Разве станет он воспевать искалечившую его суровость? Нет, он с тоской повернется к берегу, который покинул.

Как горестно бесполезна тогда алая кровь, переполнившая реку!

И казни мои — знак того, что я не могу обратить казнимых в свою веру, знак, что я заблудился. И вот с какой молитвой обратился я к Господу:

— Господи! Плащ мой короток, я — дурной пастух, и народ мой остался без крова. Я насыщаю одних, но другие обижены мною...

Господи! Я знаю, что любая любовь — благо. Любовь к свободе и любовь к дисциплине. Любовь к достатку ради детей и любовь к нищете и жертвенности. Любовь к науке, которая все исследует, и любовь к вере, которая укрепляет слепотой. Любовь к иерархии, которая обожествляет, и любовь к равенству, которая делит все на всех. К досугу, позволяющему созерцать, и к работе, не оставляющей досуга. К духовности, бичующей плоть и возвышающей человека, и к жалости, пеленающей израненную плоть. Любовь к создаемому будущему и любовь к прошлому, нуждающемуся в спасении. Любовь к войне, сеющей семена, и любовь к миру, собирающему жатву.

Я знаю: противостоят друг другу только слова, а человек, поднимаясь ступенька за ступенькой вверх, видит все по-иному, и нет для него никаких противоречий.

Господи! Я хочу преисполнить моих воинов благородством, а храм, на который люди тратят себя и который для них смысл их жизни, переполнить красотой. Но сегодня вечером, когда я шел с пустыней моей любви, я увидел маленькую девочку. Она плакала. Я повернул ее к себе и посмотрел в глаза. Горе ее ослепило меня. Если, Господи, я пренебрегу им, я пренебрегу одной из частичек мира, и творение мое не

будет завершено. Я не отворачиваюсь от великих целей, но не хочу, чтобы плакала и малышка. Только тогда мир будет в порядке. Маленькая девочка — тоже крупица Вселенной.

XV

Трудное дело война, если она не неизбежность и не страстное желание. Мои генералы, дотошные и недалекие, взялись за изучение хитроумных тактик, стремясь достичь победы раньше, чем начали воевать. Бог не воодушевлял их, они были только трудолюбивы и добросовестны. И конечно, они были обречены на поражение. Я собрал их и стал учить:

— Вы никогда не победите, потому что ищете совершенства. Но совершенство годится только для музеев. Вы запрещаете ошибаться и, прежде чем начать действовать, хотите обрести уверенность, что ваше действие достигнет цели. Но откуда вам известно, что такое будущее? Вы никогда не победите, если прогоните художников, скульпторов и выдумщиков-изобретателей. Повторяю вам еще и еще раз: башня, город и царство подобны дереву. Они — живые, ибо рождает их человек. Человек уверен, что главное — правильный расчет. Он не сомневается, что стены воздвигаются умом и соображением. Нет, их воздвигает страсть. Человек носит в себе свой город, он хранит его в своем сердце, как дерево — семечко. Вычисления, расчеты — оболочка его желания. Контур. Не объяснишь дерева, показав воду, минеральные соли и солнце, наделившие его своей силой. Не объяснишь города, сказав: «Своды будут стоять потому, что... вот расчеты строителей». Если город должен родиться, всегда найдутся расчетчики, которые правильно сделают расчет. Но они только помощники. Если считать их главными и верить, что их руки создали город, ни одного города не вырастет больше в пустыне. Они знают, как строятся города, но не знают, почему. Пусть вождь племени неграмотен, отправь его вместе с его народом покорять скудный и каменистый край, а потом навести — новый город будет сверкать на солнце тридцатью куполами. Ветвями кедра покажутся тянущиеся к солнцу купола. Покоритель загорелся страстью иметь город с тридцатью куполами и как средство, путь и возможность удовлетворить свою страсть нашел столько расчетчиков, сколько нужно.

Вы ничего не хотите, вы проиграете вашу войну,— сказал я моим генералам.— В вас нет страсти. Вы не устремились все вместе в одну сторону, вы утонули в разноголосице умственных решений. Посмотрите: увлекаемый собственной тяжестью, камень катится вниз по склону. Остановится он, только достигнув дна. Все пылинки и все песчинки, благодаря которым он обрел свою тяжесть, стремятся вниз и только вниз. Посмотрите на воду в копани. Напирая на земляные стенки, вода ждет благоприятной случайности. Потому что случайность неизбежно возникает. Не уставая, днем и ночью давит и давит вода. Она кажется спящей, но она живет. И стоит возникнуть узкой трещине, как вода уже в пути. Она втекла в нее, обогнула, если получилось, препятствие и, оказавшись в тупике, вновь погрузилась в мнимый сон до новой трещины, которая откроет перед ней новую дорогу. Ни единой возможности не упустит вода. И неведомыми путями, какие не вычислит ни один вычислитель, утечет просто потому, что весома, и вы останетесь без воды.

Ваша армия — вода, не перегороженная плотиной. А сами вы — тесто без дрожжей. Земля без семян. Толпа без желаний. Вы распоряжаетесь, а не увлекаете. Вы — несведущие свидетели. А темные силы, что напирают, да, напирают на стены царства, не станут дожидаться ваших распоряжений, — захлестнув, они погребут его под собой. Зато потом ваши еще более бестолковые истории объяснят вам при-

чины катастрофы и скажут, что противники одержали победу благодаря лучшей выучке, расчету и военной науке. Но говорю вам: нет выучки, расчета и военной науки у воды, сметающей плотины и затопляющей города людей.

Я занимаюсь будущим, как ваятель: он ударяет резцом по глыбе мрамора, высвобождая свое творение. Отлетает осколок за осколком, за которыми пряталось лицо бога. Кто-то скажет: «В мраморе уже был этот бог. Ваятель нашел его. Нашел, умея работать резцом». А я говорю вам: ваятель не рассчитывал и не находил. Он работал с камнем. Не капли пота, не блеск мелькающего резца заставили улыбнуться мрамор. Улыбаться умел ваятель. Освободи человека, и ему захочется творить.

XVI

Собрались мои генералы, дотошные и недалекие. «Нужно разобратся,— сказали они,— почему у нас люди враждуют и ненавидят друг друга?» И генералы устроили судилище. Они выслушивали одних, выслушивали других, вникали в притязания тяжущихся и восстанавливали справедливость, возвращая положенное по закону одним и лишая других незаконного обладания. Но вот причиной раздора стала ревность. Генералы пытались выяснить, кто прав, а кто виноват. И ничего не могли понять, так безнадежно запутывалось дело. Один и тот же поступок выглядел благородным в глазах одного и низким в глазах другого, великодушным и одновременно жестоким. Генералы засиживались до глубокой ночи, и чем меньше спали, тем больше тупели. Наконец они явились ко мне: «Все это безобразие,— сказали они,— заслуживает одного — потопа!»

А я вспомнил слова моего отца: «Когда зерно покрывается плесенью, не перебирай зерен, поменяй амбар. Если люди ненавидят друг друга, не вникай в дурацкие причины, какие они нашли для ненависти. У них найдутся другие и для любви, и для безразличия, но они о них позабыли. Я не обращаю внимания на слова, я знаю: они — вывеска, и прочесть ее трудно. Не умеют же камни передать тишину и прохладу храма; вода и минеральные соли — тень и листву дерева, так зачем мне знать, из чего выросла их ненависть? Она выросла, словно храм, и сложили ее из тех же камней, из каких можно было сложить любовь».

Они отягощали свою ненависть всяческими причинами, а я смотрел и не помышлял лечить их тщетным лекарством справедливости. Поиск справедливости только укрепил бы весомость причин, подтвердив правоту одних и вину других. Он укрепил бы озлобление наказанных и самодовольство оправданных. И вырыл бы между ними пропасть. Мой отец был мудр, и вот какую историю я вспомнил:

В давние времена отец завоевал новые земли и, не вполне доверяя жителям, оставил в помощь губернатору еще и генерала. Побывав в новых провинциях, путешественники поспешили сообщить моему отцу:

— В такой-то области,— сказали они,— генерал оскорбил губернатора. Они больше не разговаривают.

Приехал путешественник из другой провинции:

— Государь, губернатор возненавидел генерала.

Приехали из третьей: «Государь, тебя умоляют разобрать великую тяжбу — судятся генерал с губернатором».

Поначалу отец выслушивал причины ссор. И причины всегда были. Одного обидели, и он решил отомстить. Другого постыдно предали. Были неразрешимые споры, были кражи и оскорбления. И разумеется, всегда были правые и виноватые. Но пересуды и рассказы утомили моего отца.

— У меня есть дела поважнее,— сказал он,— мне недосуг разбирать

их дурацкие ссоры. Они вспыхивают во всех концах страны, всякий раз новые и всегда одинаковые. Каким чудом я ухитрился набрать столько генералов и губернаторов, которые не могут ужиться друг с другом?

Когда у тебя падает скот, не копайся в падали, отыскивая причину зла,— сожги хлев.

Отец позвал к себе гонца:

— Я не определил права генерала и права губернатора. Они не знают, кто из них возглавляет торжества. Они ревнуют друг друга. Плечом к плечу идут к столу, но во главе садится либо тот, кто толще, либо тот, кто умнее, а второй его ненавидит. И клянется быть в следующий раз проворнее, поторопиться и усесться первым. Конечно, потом они будут сманивать друг у друга жен, красть овец и браниться. Они купаются в грязных сплетнях, а им кажется, доискиваются до истины. Но я не вслушиваюсь в bestолковый шум.

Если хочешь, чтобы они любили друг друга, не бросай им зерна власти, которое пришлось бы делить. Пусть один служит другому, а другой — царству. Тогда они будут помогать друг другу и строить вместе.

Отец жестоко наказал губернаторов и генералов за гвалт бессмысленных ссор.

— Царству нет дела до ваших распрей! — сказал им отец. — Я приказываю генералу подчиняться губернатору. С губернатора взыщу за неумение приказывать, с генерала за неумение повиноваться. И обоим советую замолчать.

Во всех концах страны начались примирения. Вернулись похищенные верблюды. Неверных жен простили и оправдали. Оскорбления извинили. Похвалы начальника радовали подчиненного, и жизнь у него стала намного приятнее. А начальника радовала власть, и своей властью он возвышал подчиненного: пропускал его вперед и сажал во главе стола на торжествах.

— Дело не в чьей-то глупости,— говорил отец. — Дело в словах, которые передают пустяки, не достойные внимания. Приучи себя не вслушиваться в ветер слов и не вникай в рассуждения, которыми обманывают себя люди. Будь проникателен. Ненависть совсем не бессмысленна. Пока каждый камень не встал на место, храма нет. Но когда все камни на месте и служат храму, значимы только тишина и молитва. И к чему тогда вспоминать о камнях?

Вот я и не обратил внимания на трудности моих генералов. А они просили меня вникнуть в проступки людей, отыскать причину их разногласий, навести порядок. Но я с молчаливой любовью обошел мой лагерь и еще раз посмотрел, как они ненавидят друг друга. Потом закрыл дверь и стал молиться Господу:

— Господи! Они враждуют, потому что не строят больше царства. Я не обманываюсь, думая, что царство не строится больше оттого, что они принялись враждовать. Научи меня, Господи, какой должна быть башня, чтобы они, несмотря на все свои несогласия, захотели потратить себя на нее. Башня, которая нуждалась бы в каждом из них и каждого бы насытила, понудив достигнуть предела своих возможностей и обогатив ощущением величия.

Я — дурной пастух, у меня короткий плащ, и я не умею сплотить их так, чтобы все они укрылись его полой. Они ненавидят друг друга, оттого что замерзли. Ненависть — всегда неудовлетворенность. У всякой ненависти есть глубинный смысл, но она его прячет. Былинки во вражде между собой и иссушают друг друга. Дерево, растя каждую из ветвей, становится мощнее. Дай мне, Господи, край Твоего плаща, чтобы укрыть им воина и землепашца, ученого мужа и просто мужа — и жену — и плачущего младенца — всех, всех до единого.

Речь зашла и о добродетели. Мои генералы, дотошные и недалекие, пришли ко мне поговорить о ней.

— Все наши беды, — сказали они, — оттого, что люди развратились. Их пороки разваливают царство. Нужно устрожить законы, ужесточить наказания. Нужно рубить головы тем, кто провинился.

А я? Я размышлял:

— Может, и впрямь пора рубить головы. Но добродетель всегда только следствие. Испорченность моего народа говорит о порче царства, которое требует для себя людей под стать. Здоровое царство питает в людях благородство.

И я вспомнил, что говорил мне отец:

— Добродетель — не беспорочность, она — поощрение в человеке человеческого. Вот я решил выстроить город и собирал всех подонков и проходимцев, чтобы они облагородились благодаря доверию и ощущению собственной силы. Я одарил их упоением, не похожим на бедное упоение от краж, взломов и насилий. Их жилистые руки создают. Их гордыня становится башнями, храмом, крепостной стеной. Жестокость — величием и суровой дисциплиной. Посмотри, они стали слугами города, рожденного их руками. Города, в который вложили душу. Спасая свой город, они умрут у его стен. Посмотри, они — воплощенная добродетель.

Воротить нос от навоза — этой мощи земли — из-за червей и вони — значит поощрять небытие. Нельзя хотеть, чтобы человек перестал потеть. Вместе с потом ты уничтожишь и людскую силу. Во главе царства поставишь кастратов. Кастраты уничтожат пороки, которые свидетельствуют о силе — силе без доброго применения. Кастраты уничтожат силу и вместе с ней жизнь. Став хранителями музея, они будут блюсти мертвое царство.

— Кедр, — говорил отец, — питается брением, но превращает его в смолистую хвою, а хвою питает солнце.

— Кедр, — говорил мне отец, — это грязь, достигшая совершенства. Очищаясь до высокой добродетели грязь. Если хочешь спасти свое царство, позаботься об усердии. Усердие очистит и объединит людей. И тогда те же самые поступки, стремления и деяния, которые разрушали твой город, будут укреплять его.

А я добавлю:

— Стоит закончить строительство, город умрет. Люди живут отдавая, а не получая. Деля накопленное, люди превращаются в волков. Усмирив их жестокостью, ты получишь скотину в хлеве. Но разве возможно закончить строительство? Утверждая, что завершил свое творение, я сообщаю только одно: во мне иссякло усердие. Смерть приходит за теми, кто успел умереть. Совершенство недостижимо. Стать совершенным — значит стать Господом. Нет, никогда не завершить мне мою крепость. . .

Поэтому я не уверен, что мне помогут отрубленные головы. Конечно, дурную голову лучше отсечь, чтобы не портила остальные, — гнилое яблоко выбрасывают из подпола и больную корову выводят из хлева. Но лучше поменять подпол и хлев, они в первую очередь в ответе за гниение и болезни.

И зачем карать, если можно обратиться в свою веру? И я помолился Господу:

— Господи! Дай мне край твоего плаща, чтобы я укрыл всех, кого тяготят несбыточные желания. Я устал карать в страхе за свое царство тех, кому не сумел дать приют. Я знаю, они — соблазн для других и угроза моей несовершенной истине, я знаю, истина есть и у них, и знаю, они тоже полны благородства.

XVII

Ветер слов — тщета, я всегда презирал его. Я не верю в пользу словесных ухищрений. И когда мои генералы, дотошные и недалекие, говорят мне: «Народ возмущен, но вот какой фокус мы предлагаем...» — я гоню их прочь. На словах можно фокусничать как угодно, но что создашь с помощью фокусов? Что ты делаешь, то и получаешь, только то, над чем трудишься, ничуть не больше. И если, добываясь одного, твердишь, что стремишься к другому, прямо противоположному, то только дурак сочтет тебя ловкачом. Осуществится то, к чему ты стремился делом. Над чем работаешь, то и создаешь. Даже если работаешь ради уничтожения чего-то. Объявив войну, я создаю врагов. Выковываю их и ожесточаю. И напрасно я стану уверять, что сегодняшнее насилие создаст свободу завтра, — я внедряю только насилие. С жизнью не шукавишь. Не обманешь дерево, оно потянется туда, куда его направят. Прочее — ветер слов. И если мне кажется, что я жертвую вот этим поколением во имя счастья последующих, я просто-напросто жертвую людьми. Не этими и не теми, а всеми разом. Всех людей я обрекаю на злосчастье. Прочее — ветер слов. И если я воюю во имя мира, я укрепляю войну. С помощью войны не установить мира. Довериться миру, который держится на оружии, и разоружиться — значит погибнуть. Я могу установить мир только с помощью мира. Иными словами, готовностью принимать и вбирать, желанием, чтобы каждый человек обрел в моем царстве воплощение своей мечты. Люди любят одно и то же, но каждый по-своему. Несовершенство языка отторгает людей друг от друга, а желания их одинаковы. Я никогда не встречал людей, любящих беспорядки, подлость и нищету. Во всех концах вселенной люди мечтают об одном и том же, но пути созидания у каждого свои. Один верит, что человек расцветет на свободе, другой — что человек возвеличится благодаря принуждению, но оба они мечтают о величии человека. Этот верит во всеобъединяющее милосердие, тот презирает его, видя в нем потакание зловонным язвам, и понуждает людей строить башню, чтобы они почувствовали необходимость друг в друге, но оба они пекутся о любви. Один верит, что важнее всего благоденствие: избавленный от забот и тягот человек будет развивать ум, думать о душе и сердце. Другой не верит, что совершенство души зависит от пищи и досуга, считая, что душа возрастает, неустанно даря себя. Он считает прекрасным лишь тот храм, который стоит многих усилий и возводится из бескорыстного угождения Господу. Но оба они хотят облагородить сердце, душу и ум. И все по-своему правы: кого облагородят рабство, жестокость и отупение от тяжелых трудов? Но не облагородят и распушенность, расхлябанность, потакание гниющим язвам и мелочная суета, рожденная желанием хоть как-то занять себя.

Но смотри, люди уже взяли в руки оружие, чтобы защитить обещую для всех любовь, которую эфемерные слова сделали такой различной. Идет война, идет поиск, борьба, и пусть беспорядочно, но люди все-таки движутся в направлении, которое так властно управляет ими, они похожи на дерево, о котором пел мой поэт: слепое, оно оплетало стены своей темницы, пока не вышибло наконец чердачное окно и, прямое и торжествующее, не потянулось к солнцу.

Я не навязываю мира. Принудить к миру — значит создать себе врагов и растить недовольство. Действенно лишь умение обратить в свою веру, а обратить означает и приютить. Протянуть каждому удобную одежду по росту, укрыть всех одним плащом. Обилие противоречий говорит лишь об отсутствии гениальности. И я повторяю мою молитву:

— Просвети меня, Господи! Дай возвыситься мудростью и прими-

рить всех, никого не принуждая отказаться от рожденных усердием желаний. Примирить, подарив новую мечту, которая покажется им старинной, знакомой. Вот и на корабле, разве не так, Господи?! Те, кто натягивает паруса у левого борта, спорят с теми, кто натягивает их у правого. Они ненавидят друг друга, потому что не умеют понять. Но если научить их видеть целое, они станут помогать друг другу и служить ветру.

Медленно растет дерево мира. Словно кедру, нужно ему вобрать и переработать множество песчинок, чтобы создать из них единство...

Хотеть мира — значит строить хлев, где могло бы уснуть все стадо. Строить дворец, где хватило бы места всем и не надо было бы оставлять свою кладь у двери. Не надо ничего отрезать и калечить ради того, чтобы войти и разместиться. Печься о мире — значит просить у Господа плащ пастуха, чтобы укрыть каждого, как бы далеко ни простирались его желания. Хватает же у матери любви на всех ее сыновей, и на застенчивого и робкого, и на жадного к жизни, и на тщедушного никчемного горбуна. Что ей до непохожести? Каждый трогает ее сердце. И каждый, по-своему ее любя, служит ее славе.

Но как медленно растет дерево мира. И света ему нужно куда больше, чем есть у меня. Мне еще ничего не ясно. Я выбираю и потом отказываюсь. Легко было бы жить мирно, если бы все люди были одинаковы.

Нет, ничему не помогут уловки моих генералов, а они, дотошные и недалекие, пришли ко мне и принялись рассуждать. Мне опять вспомнился мой отец. «Искусство рассуждать — это искусство обманывать самого себя», — говаривал он.

А генералы рассуждали: «Нежелание воинов служить царству означает, что они одрябли. Мы будем посылать их в засады, они закалятся, и царство будет спасено».

Так мог бы рассуждать профессор, выводя из одного умозаключения другое. Но жизнь — она просто есть. Как есть дерево. И росток вовсе не средство, которое отыскало семечко, чтобы превратиться в ветку. Семя, росток и ветка — это совместность возрастания.

Я поправил моих генералов: «Воины одрябли, потому что царство перестало снабжать их жизненной силой и они его разлюбили. Когда кедр истощает жизненную силу, он перестает превращать песок в древесину и сам потихоньку превращается в песок. Нашим воинам нужна вера, тогда они воодушевятся». Но генералы не поняли меня, они сочли мои слова преступным попустительством. Я не стал им возражать. И они довели свою игру до конца, послав людей умирать за сухой колодец, где по случайности расположился враг.

Нет слов, схватка из-за колодца была прекрасна. Она была танцем вокруг вожделенного цветка, и отвоеванная земля становилась наградой победителю, вместе с давно забытым желанием побеждать. Испугавшись нас, враг взметнулся беспорядочной стайей воронья, ища себе места то здесь, то там, где он был бы в безопасности. Песок дюн, которые прятали его где-то там, впереди, пропах порохов. Каждый, играя жизнью и смертью, чувствовал себя мужчиной. Каждый, то приближаясь, то удаляясь от колодца, участвовал в танце.

Но будь в колодце вода, игра была бы другой. Лишенный воды и смысла, колодец был игровой костью, на которую не поставили состояния. Но генералы видели, как, играя в кости, один игрок смошенничал, а другой застрелился, и поверили во всемогущество игровых костей. Они поставили на кон сухой колодец. Но кто станет стреляться, даже если партнер смошенничал, когда на кону пусто?

Мои генералы никогда хорошенько не понимали, что значит для

жизни любовь. Они видели, как радуется заре влюбленный, потому что вместе с солнцем в нем проснулось счастье. Видели, как радуются заре воины, потому что солнце приближает их победу. Победу, которая поутру расправляется в них и заставляет смеяться. И генералы поверили во всемогущество зари.

Но я говорю: если нет любви, то не стоит браться ни за какое дело. Если не верить, что осуществится твоя мечта, скучно играть в кости. Скучной будет заря, вернувшая тебя к собственной опустошенности. И со скукой в душе ты отправишься воевать ради бестолкового колодца.

Но когда ты влюблен, ради своей любви ты готов на самый изнурительный труд, и чем он изнурительней, тем больше твое воодушевление. Ты тратишь себя, ты растешь. Но нужен тот, кто примет отданное. Дарить себя и тратить себя попусту — разные вещи.

Мои генералы, видя радость, с какой отдают себя влюбленные, не догадались, что есть тот, кому они себя отдают. Им не пришло в голову, что для воодушевления мало обобрать и ограбить человека.

Я увидел, с какой горечью умирал наш раненый. Он сказал мне:

«Государь, я умираю... Я отдал свою жизнь. А мне ничего не дали. Я уложил врага пулей в живот, и пока мне за него не отомстили, я смотрел на убитого. Мне показалось, что он был счастлив, потому что отныне нераздельно принадлежал тому, во что верил и чему служил. Смерть стала его богатством. А я, я умираю, служа капралу, моя смерть ничего ему не прибавит, а умирая зазря, трудно чувствовать себя счастливым. Я умираю достойно, но меня тошнит...»

Остальные? Они разбежались.

XVIII

В тот же вечер, поднявшись на черную скалу, я смотрел на черные точки в треугольнике моего лагеря. Да, он был по-прежнему треугольным, в нем по-прежнему стояли дозорные и было много пуль, пороха и ружей, но, несмотря на это, он был готов рассыпаться и исчезнуть, как сухое мертвое дерево. Я простил моих воинов.

Я понял: гусеница, приготовив кокон, умирает. Дожив до семян, засыхает цветок. Кто бы ни перерождался, он мучается тоской и отчаянием. Ведь нежданно он сделался ненужным. Кто бы ни перерождался, он — тоска о былом и могила. Мой лагерь приготовился к перерождению. Он износил былое царство, которое никто не сумел бы омолодить. Нельзя вылечить гусеницу, цветок, ребенка. Ребенок переродился, но, желая быть по-прежнему счастливым, требует, чтобы его вернули в детство, вернули занимательность наскучившим играм, сладость — материнским поцелуям, вкус — молоку. Но игры скучны, материнские поцелуи досаждают, молоко отвратительно, и подросток тоскует и мучается. Износив былое царство, люди, сами того не подозревая, требуют нового. Ребенок, став мужчиной, вырос из материнских объятий и будет страдать от неприкаянности до тех пор, пока не найдет себе жену. Только жена вновь примирит его с самим собой и даст покой. Но кто в силах показать людям новое царство? Кто из дробности мира может мощью своего гения создать новую картину и заставить людей всмотреться в нее? Всмотреться и полюбить? Нет, не логик, а художник, ваятель. Ваятелю не нужны словесные ухищрения, он наделяет камень силой будить любовь.

XIX

Я позвал к себе зодчих и сказал:

— Вы в ответе за будущий город, — не за душу — за лицо и улыбку. Постарайтесь расселить людей как можно лучше. Город должен

быть удобным, чтобы силы в нем не тратились напрасно. Но имейте в виду и никогда не забывайте разницы между существенным и насущным. Хлеб — насущен, человек должен быть накормлен: голодный — недочеловек, он теряет способность думать. Но любовь, смысл жизни и близость к Богу важнее хлеба. Мне не интересно достоинство пищи. Меня не заботит, будет ли человек счастлив, благополучен и удобно устроен. Меня заботит, какой человек будет счастлив, благополучен и устроен. Лавочнику, распухшему от безмятежной жизни, я предпочитаю номада, он всегда бежит по следам ветра, и служение такому просторному Богу совершенствует его день ото дня. Бог отказал в величии лавочнику и дал его номаду, поэтому я отправляю мой народ в пустыню. В человеке я люблю свет. Толщина свечи меня не волнует. Пламя скажет мне, хороша ли свеча.

Но я не считаю, что принц хуже грузчика, генерал — сержанта, начальник — подчиненного только потому, что они богаты. Живущие за каменной стеной не кажутся мне хуже тех, кто построил для себя земляной вал. Я не разрушаю иерархическую лестницу, которая позволяет человеку подниматься все выше и выше. Но никогда не спутаю цель и средство, храм и ступени к нему. Лестница необходима для храма, иначе он будет пуст. Но значим только храм. Необходимо, чтобы каждый жил и у каждого была возможность подниматься все выше. Однако жизнь — только ступени, ведущие к человеку. Храмом будет душа, которую я создам в человеке, душа и есть самое главное.

Я запрещаю вам заниматься насущным, считать его своей целью. Да, дворцу нужна кухня, но значим только дворец, а кухня его обслуживает. Вот я созвал вас и спросил:

— Зодчие! Что главное в вашей работе?

Вы стояли передо мной и молчали.

Наконец вы ответили:

— Мы служим людям. Даем им кров.

Так служат скоту, строя ему хлев, привязывая в стойле. До, конечно, стены нужны человеку, он должен быть укрыт, чтобы стать семенем. Но ему нужен и Млечный Путь, и морской простор, хотя ни звезды, ни море никак ему не служат. Но что это значит — служить? Я видел, как долго и тяжело взбирались люди на гору, обдирали колени и ладони, изнуряли себя тяготой подъема, торопясь встретить рассвет на вершине и утолить свою жажду голубой глубиной долины, как утоляют ее водой долгожданного озера. Они садились, они смотрели, они дышали полной грудью. В сердце у них билась радость, они нашли лекарство против усталости от жизни.

Я видел, как стремились люди медленный шаг своих караванов к морю, потому что оно им было нужно. Они стояли на высоком берегу, оглядывая ступившийся простор, таящий в своих глубинах тишину, кораллы и водоросли, вдыхали горечь соли и любовались бесполезным зрелищем, ведь моря с собой не унесешь. Любовались, и сердца их высвобождались из рабства будничности. Может, с отвращением и тоской, как на решетки тюрьмы, смотрели они на чайник, кухонную утварь, недовольную жену, — на пелену обыденности, которая может быть любимой картиной, таящей сокровенную суть мира, а порой становится саваном, связывает по рукам и ногам, не дает вздохнуть.

Они запасались простором и приносили в дом покой и счастье, которым надышались. Дом становился другим оттого, что где-то голубела долина на восходе солнца, где-то плескалось море. Все тянется к большему, чем оно само. Все хочет стать дорогой в неведомый мир, окном в него.

Так что не говорите, что служите людям, когда складываете кирпичные стены. Если люди не видели звезд и в вашей власти выстроить для них Млечный Путь с небывалыми пролетами и арками, потратив

на строительство целое состояние, неужели вы сочтете, что выбросили деньги на ветер?

Еще и еще раз повторяю вам: если вы построили храм — бесполезный, потому что он не служит для стряпни, отдыха, заседаний именитых граждан, хранения воды, а только растит в человеке душу, умиротворяет страсти и помогает времени вынашивать зрелость, если храм этот похож на сердце, где царит безмятежный покой, растворение чувств и справедливость без обездоленности, если в этом храме болезнетворные язвы становятся Божьим даром и молитвой, а смерть — тихой пристанью среди безбурных вод, — неужели вы сочтете, что усилия ваши пропали даром?

Если ты в силах хоть изредка привечать тех, чьи руки покрылись кровавыми мозолями, кто, не щадя себя, натягивал в бурю паруса, кто от соленой ласки моря превратился в кровотокающую рану, — привечать в мирных водах гавани, где остановилось движение, время, ратоборство, где мерцает водная гладь, чуть примятая прибытием большого корабля, неужели и тут ты сочтешь свои труды бесполезными? А как сладостна для усталых тихая вода залива после мятущейся гривы морских бурунов . . .

Вот чем ваш талант может одарить человека. Сложив камни по-своему, вы выстроите тишину, необычайные надежды и мечту о тихой гавани.

Ваш храм своей тишиной зовет их погрузиться в себя. И они открывают, каковы они. Без храма звать их будут только лавки. И они откроют в себе покупателя. Никогда не родится в них величие. Никогда не узнать им, как они пространственны.

Я знаю, вы скажете: толстяк лавочник и так всем доволен, ему ничего больше не нужно. Когда у человека мало сердца, удовлетворять его не трудно.

Глупый язык именует ваши творения бесполезными. Но сами люди опровергают словесное суждение. Вы же видите, со всех концов света стекаются они к каменным чудесам, от строительства которых вы отказались. Вы отказались строить житницы для души и сердца. Но видели ли вы когда-нибудь, чтобы люди объезжали мир ради складских помещений? Да, все пользуются товарами и продуктами, пользуются, поддерживая свое существование, но они ошибаются, если думают, что пища для них важнее всего. В странствие они пускаются не ради пищи. Кто не видел путешественников? Куда они едут? Что их соблазняет? Иногда чудесный залив или одетая снегом гора, вулкан, обросший наплывами лавы, но чаще всего утонувший во времени корабль, который один и может увести куда-то.

Они обходят его со всех сторон и, сами того не подозревая, мечтают стать пассажирами. Потому что этот корабль не везет к небытию. Но храмы не берут больше странников, не увозят их и не перерождают, как куколка, из личинки в благородную бабочку. Теперешние странники лишились каменных кораблей, у них нет возможности переродиться. В конце странствия они не получают вместо скудной увечной души щедрую и благородную. И вот они кружат вокруг затонувших храмов, осматривают, вглядываются, бродят по истертым до блеска каменным плитам и, заблудившись в лесу мраморных колонн, слышат в величественной тишине только эхо собственных голосов. Им кажется, что они обогащаются знанием истории, но биение собственного сердца могло бы подсказать им, что, переходя от колонны к колонне, из зала в зал из нефа в неф, они ищут вожакого; что, озябнув сердцем, собрались здесь, взывая о помощи, которой неоткуда ждать, что жаждут перерождения, в котором им отказано. Они погребены сами в себе, потому что храмы мертвы и засыпаны песком, потому что здесь лишь корабли, получившие пробойну и потерявшие драгоценный груз полумрака и тишины;

голубая вода неба хлещет в обвалившиеся купола, и тихо шуршит песок, всыпаясь сквозь трещины стен. А голод, которым голодны люди, не утолен. . .

Так вот что вы будете строить, говорю я вам. Да, человеку нужны непроходимые леса, Млечный Путь и равнина в голубой дымке, на которую смотрят с вершины горы. Но сравнится ли необъятность Млечного Пути, голубеющей долины и моря с необъятностью тьмы в каменном чреве, если зодчий сумел наполнить его тишиной? И вы, зодчие, вы сами обретете величие, потеряв интерес к насущному. Созидая поистине великое, вы переродитесь. Оно не станет служить вам, оно заставит вас служить себе, и вам придется вырасти. Вы превзойдете самих себя. Невозможно стать великим зодчим, строя всю жизнь балаганы.

Вы станете великими, если камни, над которыми вам дана власть, перестанут быть просто камнями, предназначенными служить нехитрым будничным удобствам, но станут ступенями, ведущими к престолу Господа.

XX

Я устал от рассуждений моих генералов, дотошных и недалеких. А они обсуждали будущее, как обсуждают закон в парламенте. И полагали, что очень предусмотрительны. Лучше всего мои генералы знали историю, даты моих побед, даты моих поражений. Даты рождений и смертей они знали наизусть. Они не сомневались, что события вытекают одно из другого. История человечества представлялась им длинной цепочкой причин и следствий, начиналась она с первой строки исторического учебника и продолжалась до той главы, где до сведения грядущих поколений доводилось, что пройденный путь благополучно привел к рождению целого созвездия генералов. Теперь генералы от следствия к следствию усердно выстраивали будущее и со своими тяжело-весными конструкциями шли ко мне. «Вот так ты должен поступать, чтобы народ был счастлив. . . так, чтобы установить мир. . . так, чтобы царство процветало. Все у нас по науке, мы изучили историю».

Но я-то знаю, что наукой становится только то, что неизменно повторяется. Сажая семечко кедр, предвидят, что вырастет дерево. Бросая камень, предвидят, что он упадет. Потому что кедр повторяет кедр, падение повторяет падение. И неважно, что камень брошен впервые и впервые посажено семечко. Но кто возьмется предсказать судьбу этого кедр? Из семечка он переродился в дерево, из дерева в семечко, и то, как он будет перерождаться, не имеет себе подобий. Этот кедр существует впервые, он растет по-своему, он — таков, каких еще не бывало. И я не знаю, каким он вырастет. Не знаю я, и куда движется мой народ.

Да, причины того, что произошло, генералы отыскивали с помощью логики. «Ибо все имеет свои причины, — объяснили они мне, — и все — свои последствия». Двигаясь от причин к последствиям, они велеречиво вышли на ложный путь. Потому что случившемуся можно отыскать причину, но понять, что случится, по тому, что имеешь, невозможно.

После схватки с врагом я могу прочесть на твердом, мелком песке все, что с ним было. Потому что и мне известно, что одному шагу непременно предшествовал другой, что цепочка вытягивается звено за звеном, не потеряв ни единого. Если только не было ветра, что пренебрежительно смахнул все письма, словно вытер ребячью грифельную доску. А без ветра след за следом я доберусь до истока пути и вновь возвращусь к ложбине, где остановился наш враг, сочтя себя в безопасности, и где мы застигли его врасплох. Я прочесть его историю, но у меня нет и намека на то, что случится с ним в будущем. То, что ведет

караван, не имеет ничего общего с песком, которым располагаю я. Следы начертили мне контур, но он пуст, он ничего не знает о ненависти, страхе и любви, которые правят людьми.

— Ну что ж,— сказали мне генералы, увязшие в своей безнадежной тупости,— нам все ясно. Мы узнаем, что управляет ими: ненависть, любовь или страх, и пойдем, чего ждать в будущем. Будущее укоренено в настоящем. . .

Я ответил им: да, мы можем предвидеть следующий шаг каравана. Он должен повторить предыдущий и быть точно таким же, как он. Повторяемость — вот основа нашей науки. Но караван в ту же секунду свернет с пути, предначертанного моей логикой, потому что ему захотелось чего-то совсем иного. . .

Генералы не поняли меня, и я рассказал им историю о великом бегстве.

Случилось это на соляных коях. Песок и голые камни не слишком пригодны для жизни, но люди кое-как приспособились. В небе палило белое солнце, а в глубине узких штолен сверкала не вода, а глыбы соли. Соль убила бы любую воду, если б колодцы не высохли сами. Солнце и каменная соль ждали людей, которые приходили сюда с водой в бурдюках и кирками, чтобы крошить прозрачные глыбы, которые были для них и жизнью, и смертью. А поработав, они возвращались на благодатную щедрую водой землю, привязанные к ней, словно дети к матери.

Жестоким и жгучим, как голод, было здешнее солнце. Вокруг соляных копей гладь песка пропороли черные скалы, твердостью превосходящие алмаз, и ветер с тщетной злобой вгрызался в них. Веками ничего не менялось в незыблемом порядке пустыни, и скалам этим было предназначено стоять еще много-много веков. Веками будет стачивать гору тончайшее лезвие ветра, веками будут добывать соль люди, а верблюды подвозить припасы и воду и отвозить домой этих каторжных. . .

Но однажды на заре люди взглянули на гору, и явлено им было то, чего они никогда не видели.

Волей ветра, точившего скалу вот уже много веков подряд, на ней показался гигантский лик, и был он гневен. На пустыню, на копи, горстку людей, прижившихся на окаменевшей соли, куда более жестокой, чем соленая гладь океана, смотрел из пропасти ясного неба черный разгневанный лик, и рот его приготовился изрыгать проклятия. Ужас обуял людей, и в панике они обратились в бегство. Весть достигла работавших в глубине копей, они выбрались наверх, взглянули на гору и со смятенным сердцем заторопились к палаткам, наскоро собрали пожитки, браня жен, детей и рабов, двинулись на север. Но достояние их было обречено под жестоким безжалостным солнцем. У них не было воды, они все погибли. Бессмыслицей оказались предсказания логиков, которые видели, что ветер очень медленно истачивает гору, а люди во что бы то ни стало цепляются за жизнь. Откуда им было знать, что неожиданно возникнет?

Когда я обращаю взгляд к истокам, я вижу вместо храма кучу кирпичей и камня. Мне не трудно их увидеть. Как не трудно расчленить труп и увидеть кости и мускулы, расчленить дом и получить кучу щебня, расчленить царство и получить горы, дома, коз и овец. . . Но если я направляю свой шаг в будущее, я должен буду считаться с постоянным рождением чего-то нового, оно будет преобразовывать существующее, но предугадать его мне не дано, потому что оно иной природы. Это новое исчезает и рассеивается, стоит только попробовать его расчленить. Если сложить камни, родится новое — тишина, но она исчезнет, если их разобрать. Лицо возникает как новое для мрамора и

исчезает, если мрамор разобьется. Для губ, носа и глаз лицо тоже что-то новое и исчезает, если смотреть только на губы или нос. Что-то новое и царство для домов, гор, овец и коз. . .

Я не в силах предвидеть, я в силах созидать. Будущее создают. Если у меня рука ваятеля, то прекрасным лицом станут drobные черты моего времени и то, чего я хочу, осуществится. Но я скажу неправду, утверждая, что сумел предугадать будущее. Я сумел его сотворить. Дробные черты окружающего я превратил в картину, заставил полюбить ее, и она стала управлять людьми. Так управляет подданными царство, требуя иной раз заплатить за свое существование жизнью.

Вот я постиг и еще одну истину: попечение о будущем — тщета и самообман. Проявлять уже присутствующее — вот единственное, над чем можно трудиться. Проявить — значит из drobности создать целостность, которая преодолет и уничтожит разброд. Значит, из кучи камней создать тишину.

Остальные притязания — ветер слов. . .

XXI

Все мы знаем: в рассуждениях есть логика, но нет истины. Как изощренны были мои доказательства, как весомы доводы, но мои противники не струнулись с места. «Да, конечно, ты прав,— услышал я в ответ,— но все-таки мы думаем по-другому». — «Тупицы!» — можно сказать о них. «Нет, мудрецы!» — не соглашусь я. Они чтут истину, которая не в словах.

А ведь многие считают, что слова несут в себе весь мир, что человеческое слово исчерпывает Вселенную, что слово вмещает в себя и звезды, и счастье, и закат, и царство, и любовь, и зодчество, и боль, и тишину. . . Но я знаю, человек стоит перед огромной горой и горсть за горстью делает ее своим достоянием.

Я не сомневаюсь, что архитектор, который спроектировал крепостную стену, знает, что такое стена, и по его проекту возможно ее построить. Стена и есть истина для архитектора. Но какой архитектор понимает всю значимость крепостной стены? Разве прочитаешь по чертежу, что стена — это плотина? Поймешь, что она — кора кедра, укрывающая живую плоть города? Откуда узнаешь, что она — ограда для усердия, что она — помощь и что огражденные незыблемой крепостью люди, поколение за поколением, будут работать на Господа. Для строителей стена — расчеты, кирпич и цемент. Так оно и есть, стена — расчеты, кирпич и цемент. Но она и мидель-шпангоут корабля, и дом, где есть место каждому. Я верю только в личную обособленную жизнь. Обособленная, частная — вовсе не означает ограниченная, скудная. Она — цветок, она — окно, раскрытое, чтобы понять весну. Она — весна, преобразившаяся в цветок. Если нет ни одного цветка у весны, она для меня не весна.

Может, и не важна та любовь, с какой жена ждет возвращения мужа. Не важен и прощальный взмах руки. Но этот взмах — примета чего-то бесконечно важного. Может, и не важен свет одного окошка в городе — светит маленький фонарик на корабле, — но за ним чья-то жизнь, и у меня нет меры, чтобы измерить ее важность, смысл и значение.

Стены — кора, кокон. Город — личинка, город — дерево. Светящееся окно — цветок на его ветке. И возможно, за этим окном бледный малыш пьет молоко, не умеет пока молиться, играет, шалит и станет завоевателем будущего, заложит новые города и обнесет их крепостными стенами. Он — семечко моего дерева. Важное семечко, неважное семечко — откуда мне знать? Я и не думаю об этом. Ведь я уже говорил: не надо членить дерево, чтобы понять и почувствовать его.

Но строитель не подозревает о растущем дереве. Он уверен, что знает толк в крепостных стенах, потому что поставил их. Он уверен: его расчеты — основа и суть любой стены, подкрепи их кирпичом и цементом, и встанет стена — укрепление города. Но смысл стены не сводим к чертежу и расчету, и если возникнет необходимость объяснить вам, что такое стена, то я соберу вас вокруг себя и год за годом вы будете учиться постигать ее, и трудам вашим не будет конца, потому что нет такого слова, чтобы оно исчерпало ее смысл, суть и сущность. Ведь и я только обозначаю что-то знаками, только знак — расчеты строителей, и кольцо мужских рук, оберегающее беременную жену, таящую в себе мир и будущее, — тоже только знак.

Все мы похожи на человека, который бедными своими словами объясняет печальному, что печалиться ему не о чем, но разве словом справиться с горем? Или с радостью? Или с любовью? Разве излечивают слова от любви? Слово — это попытка соединиться с сущим и присвоить его себе. Вот я сказал: «Гора» и забрал ее вместе с гиенами, шакалами, затишками, подъемом к звездам, выветренным гребнем... но у меня всего-навсего слово, и его нужно наполнить. И если я сказал: «Крепостная стена», то нужно наполнить и это слово. Каждый по-своему, наполняют его строители, поэты, завоеватели, бледный малыш и его мама, которая благодаря этой стене спокойно раздувает огонь в очаге и ставит греть к ужину молоко, не опасаясь, что ее потревожит кровавая резня. Можно рассуждать о постройке моих стен, но как рассуждать о самих стенах, если наш язык не в силах вместить их целиком? Если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого?

Желая показать мне город, меня пригласили подняться на гору. «Посмотри, вот наш город», — сказали мне. И я залюбовался четким порядком улиц и рисунком крепостных стен. «Вот улей, — подумал я, — в котором уснули пчелы. Ранним утром они разлетятся по полям за медом. Люди трудятся и пожинают плоды. Вереница осликов повезет в житницы, амбары и на рынки плоды их дневных трудов... Город отпускает своих жителей на заре, чтобы вечером собрать их с грузом припасов на зиму. Человек — это тот, кто производит и потребляет. Я помогу ему, если упорядочу производство и распределение, отладив их, как в муравейнике».

Другие, показывая мне город, перевезли меня через реку, чтобы я полюбовался им с противоположного берега. На закатном небе нарисовались темные силуэты: дома повыше, пониже, побольше, поменьше и минареты, как мачты, дотянулись до пурпуровых дымных облаков. Мне показалось, я вижу флот, готовый к отплытию. Незыблемый порядок, установленный зодчими, перестал быть сутью города, ею стало обживание новых земель при попутном ветре для каждого корабля. «Вот, — сказал я, — горделивая поступь завоевания. Пусть главными в моих городах станут капитаны, только вкус незнаемого, творчество и победа делают человека счастливым». И слова мои не были ложью, но не были и истиной, они просто говорили о другом.

Третьи, желая, чтобы я полюбовался их городом, увлекли меня в глубь крепости и привели в храм. Я вошел, и меня обняла тишина, полумрак и прохлада. Я задумался. И размышление показалось мне драгоценней и побед, и пищи. Я ем, чтобы жить, живу, чтобы побеждать, и побеждаю, чтобы вернуться к себе и предаться размышлениям, чувствуя, как ширится душа в тиши моего отдохновения. «Вот, — сказал я, — истинная сущность человека, душа живит его. Главными в моих городах будут пастыри и поэты. Благодаря им расцветут души». И эти слова не были ложью, но не были и истиной, они опять были о другом.

Теперь, став мудрее, я не пользуюсь словом «город» для логиче-

ских рассуждений, словом «город» я обозначаю все, что легло мне на сердце, все, что я узнал и пережил: мое одиночество на его улицах, распределение пищи под кровом, горделивый силуэт на равнине, прекрасную четкость рисунка с высоты горы. И многое другое, чего мне не дано выразить в слове или что я позабыл в эту минуту. Так как же рассуждать при помощи слов, если знак верен для чего-то одного и неверен для чего-то другого? . .

XXII

Мне показалось, что нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из поколения в поколение. . . Не спеша, я иду по моему городу, смотрю на него с молчаливой любовью и вижу: вот невеста говорит с нареченным и улыбается ему с робкой нежностью, вот жена, она ждет с войны мужа, вот хозяйка, она выговаривает за нерадивость служанке, вот оратор, он проповедует смирение, а может быть, необходимость справедливости, вот прохожий, он возмутился, раздвинул толпу зевак и встал на защиту слабого, вот резчик, он режет слоновую кость и в сотый раз начинает работу сызнова, приближаясь шаг за шагом к таящемуся в нем совершенству. Я смотрю, как засыпает мой город, слушаю молкнущий шум, похожий на замирающее гуденье потревоженных цимбалов, и мне кажется, что звенеть его заставило солнце, как заставляет оно звенеть летящих пчел, а вечер отяжеляет их, он закрывает цветы, запирает аромат, чтобы не вился больше тропкой в русле ветра. Я вижу, меркнут мои угольки, подергиваются пеплом, укрыв свое достояние — кто зерно в амбар, кто детей, игравших на пороге, кто собаку, осла, кто стариковский табурет. . . Город мой затихает, словно огонь, дремлющий под пеплом, и все размышления, молитвы, намеренья, рвение, страхи, сердечные желания, да и нет, нерешенные вопросы, ждущие разрешения, ненависть, ожидающая зари, чтобы начать убивать, самолюбивые притязания, ослепшие в темноте, мольбы, обращенные к Господу, оставлены и не нужны, словно лестницы в закрытом магазине, все отложено, все кажется мертвым, но родовое наследство, никому не нужное сейчас, не уничтожено, оно сохраняется, и солнце, разбудив улей, оделит им каждого, и разберут: кто — свои поиски, кто — счастье, кто — горе, ненависть или гордыню, и когда мои пчелы вновь устремятся к своему чертополоху и своим лилиям, я задумаюсь: «Что же они такое, эти люди — хранилища множества картин?»

Я знаю: если бы мне повелели воспитать, научить и наполнить тысячью разноречивых биений еще неодоушевленного человека, то язык как средство сообщения был бы для меня мостком слишком узким.

Да, мы способны что-то сообщить, но наши книги хранят лишь ничтожную часть общеродового наследия. Если я соберу детей, устрой кучу малу и буду каждого учить чему попало, я пушу на ветер немалую часть нашего наследия. Дурная участь ждет и мое войско, если я не буду поддерживать в нем преемственность поколений и не сделаю его династией без смутных времен. Конечно, капралы всегда будут обучать новобранцев. Конечно, новобранцы всегда будут подчиняться капитанам. Но слова капралов и капитанов слишком малы, чтобы передать весь необъятный накопленный жизнью опыт, не сводимый ни к одной из формул. Невозможно передать полноту понятия словом или книгой. Ведь каждая жизнь определена внутренними пристрастиями, особенностями восприятия, нежеланиями и устремлениями, образом мыслей, способом действий. . . Но если бы я попробовал все это растолковать, то не осталось бы вообще ничего. Моя любовь создала царство, но если я расскажу о козах, овцах, домах, горах, что от него останется? Сокровенное и сущностное передается не словом, а приобщением к

любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди накопленное наследство. Но отторгните один-единственный раз одно поколение от другого, и любовь умрет. Если старшие в моем войске перестанут заботиться о младших, войско станет вывеской на нежилом доме, он рассыплется при первом же толчке. Если отнять у мельника сына, улетит душа мельницы, исчезнет уклад, усердие, тысяча неприметных умений и навыков, объяснить которые невозможно, но они существуют. В том, что существует, запрятано больше премудрости, чем может вместить слово. А вы требуете, чтобы люди перестроили мир только потому, что прочитали какую-то книжонку. В этой книжонке нет ничего, кроме отраженных картинок, пустых и неплодотворных по сравнению с обилием познаний, накопленных опытом живой жизни. Человек представляется вам нехитрой и беспамятной скотинкой, но вы позабыли, что человечество живет подобно дереву, живет потому, что один человек важен для другого, узловатый ствол, ветки, листья — все это одно и то же дерево. Вот оно, мое огромное дерево, и откуда мне знать, что такое смерть? Я смотрю с холма на мой город: там и здесь слетает листок, там и здесь набухает почка, и густота кроны неизменяна. Частные неблагоприятия не вредят живоносной сердцевине: смотри — храм продолжает строиться, житница одарять и наполняться, песня украшаться, а родник сверкать все ярче. Но вот ты порвал связь времен, отторг одно поколение от другого, ты захотел, чтобы зрелый человек стал бессмысленным младенцем, забыл все, что узнал, постиг, почувствовал, чего хотел и чего опасался; ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу, — в людях осталось только то, что годится для схемы. Слова искажают, чтобы вместить, упрощают, чтобы передать, и убивают, чтобы понять, — твоих людей перестала питать жизнь.

И я напоминаю: чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей и в их распоряжении будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания, плодоносному дереву можно привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что будет поставлять им призвание.

Еще и еще раз мне показали: логика убивает жизнь. И сама по себе она пуста...

Любители формул и схем не знают человеческой сущности. Они спутали плоскую тень и объемистое золотисто-коричневое дерево с раскидистой смолистой кроной, полной птиц, — ветер слов слаб, ему не выдюжить тяжести кедра. Они спутали обозначение явления с самим явлением.

И я понял, не нужно и вредно избегать противоречий. И сообщил об этом генералам, которые пришли поговорить со мной о порядке, но спутали силу, которая все расставляет по местам, с упорядоченностью в музее.

Дерево для меня и есть порядок. Порядок дерева — это целостность и единство, торжествующие над дробностью и разнородностью. На одной его ветке — гнездо, на другой нет. Одна ветка тянется к небу, другая клонится к земле. Но мои генералы в рабстве у картинок из военных журналов, и порядок для них — единообразие. Если я дам им волю и позволю упорядочить святые книги, где явлен порядок Господней мудрости, они начнут с букв, ведь и ребенку ясно, что они перемешались... В одно место они соберут все «А», потом все «Б», потом все «В», и книга, наконец, будет упорядочена. Специальная книга для генералов.

Генералам невольно терпеть то, что никак не укладывается в

формулу, что еще в пути, что вступило в противоречие с какой-нибудь из общеизвестных истин. Откуда им знать, что слова только обозначают, но не передают суть, поэтому словесные истины могут противоречить друг другу? Какое противоречие, если я скажу «лес» и скажу «царство»? Хотя леса могут быть разбросаны по многим царствам и нет царства, целиком покрытого лесом, хотя у меня в царстве может быть множество лесов и ни одного, который целиком помещался бы в моем. Но мои генералы, если уж они взялись славить царство, то будут рубить головы поэтам, которые славят лес.

Одно дело — противостоять и другое — противоречить. Жизнь — единственная истина для меня, и я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира. Дробность сама по себе не занимает меня. Мой порядок — это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок. Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что язык — это тоже жизнь. Нельзя отказываться от чего бы то ни было ради порядка. Можно отказаться от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги, — порядок будет безупречным. Можно заставить мой народ жить по законам муравейника, и опять будет безупречным порядок. Но по нраву ли мне муравьи? Я люблю человека, одухотворенного животворящими божествами, которые я вырастил в нем, чтобы он тратил себя и свою жизнь на большее, чем он сам: на дом, родину, Господнее царство. Так зачем мне мешать людям спорить, раз я знаю: успех рождается множеством безуспешных усилий, раз я знаю: человека возвращает творчество, а не подражательство. Использование готового не насыщает человека. Знаю я и то, что даже корабль должен перемениться, если он плывет по жизни. Если повторять и повторять его без изменений, корабль умрет, став экспонатом для музея. Я вижу: есть преемственность и есть подражательство. Есть устойчивость и есть косность. Косность не служит крепости кедра, крепости царства. «Вот это и есть истина, — сказали генералы, — и ее мы менять не будем». А я? Я ненавижу обывателей и оседлых; заверченный город — некрополь.

XXIII

Плохо, если сердце возобладало над душой.

Плохо, если чувство возобладало над духом.

Вглядываясь в мое царство, я понял: легко объединяет людей не дух, а чувство, но дух выше чувства. Значит, дух должен сделаться чувством, но совсем не потому, что чувство важнее.

Поэтому-то и нельзя, чтобы художник был в подчинении у народа. Творчество должно открыть народу, чего ему желать. Он должен вкусить от духа и полученное сделать чувством. Народ — желудок, полученную пищу он должен переработать в свет и благодать.

Соседний государь создал свое царство, выносив его своим сердцем. Его народ стал величальной песнью созданному царству. Но его народ не доверял одиноким, боялся горних троп, вьющихся, словно плащ пророка, бесед со звездами и их ледяных вопросов, тишины и голоса, звучащего и молчащего в тишине. Тот, кто поднимался в одиночестве в горы, возвращался, причастившись Божественной пищи. Он спускался, спокойный и величавый, пряча неведомый мед под своим плащом. Мед приносят лишь те, кто отделились от толпы. И мед их всегда горек. Новое плодоносное слово всегда горько, ибо, повторяю, — нет радостных перерождений. Я рашу вас, и значит, словно нож из ножен, извлекаю из собственной кожи, чтобы нарастить, как на змее, новую. Только так из песенки родится псалом, от искорки займется лес.

Но человек, отвернувшийся от нехитрой мелодии, но народ, запретивший одному из себе подобных быть свободным и подниматься в горы, убивает дух. Тишина — единственный простор, где дух расправляет крылья.

XXIV

Я размышлял о тех, кто использует, ничего не давая взамен. Вот государственный муж, он лжет, хотя власть его держится на доверии к сказанному. Благодаря доверию его слово действительно. Благодаря доверию действительно его ложь. Но воспользовавшись моим оружием так, я притупил его. Сегодня я победил противника ложью, но завтра у меня не найдется против него оружия.

Вот стихотворец, он прославился, сломав общепринятые правила синтаксиса. Шоковый эффект часто ведет к успеху. Но он — браконьер, из личной выгоды он разбил сосуд с общим достоянием. Ради самовыражения не пощадил возможности выражать себя каждому. Желая посветить себе, поджег лес и всем остальным оставил пепел. Нарушения войдут в привычку, я никого больше не изумлю неожиданностью. Но мне уже не воспользоваться благородной красотой утраченного стиля. Я сам обесмыслил его фигуры, прищур, умолчания, намеки — всю гамму условных знаков, которую так долго и так тщательно отработывали и умели вразить ею самое тайное, самое сокровенное.

Я выразил себя тем, что сломал ее, сломал инструмент для самовыражения. Инструмент, который принадлежал всем.

Не люблю издевок, насмеются всегда бездельники. Нами правит правитель, мы относимся к нему почтительно, но издеваясь, я сравнил его с ослом и поразил всех своей дерзостью. Со временем осел сольется с правителем, такая очевидность совсем не смешна. Я разрушил иерархию, возможность подняться вверх, полезное честолюбие, представление о величии. Я растратил капитал, которым пользовался. Ограбил житницу и зерна пустил на ветер. Я использовал величие правителя в своих целях и разрушил то, что создавали другие. Вот в чем мое предательство, мое преступление. Мне представили возможность выразить себя. Я выразил себя тем, что уничтожил все возможности. И предал всех.

Поэт, который жестоко работает над собой, желая воспользоваться накопленным наследством, совершенствует инструмент, пользуясь им. Правитель, говорящий правду своему народу, несмотря на тягость ее и горечь, не растеряет союзников, ведя войну. Тот, кто заботится о возможностях роста для человека, готовит себе помощь, которая завтра сослужит ему службу.

XXV

Вот почему я созвал воспитателей и сказал им:

— Ваш долг не убить человека в маленьких людях, не превратить их в муравьев, обрекая на жизнь муравейника. Меня не заботит, насколько будет доволен человек. Меня заботит, сколько будет в нем человеческого. Не моя забота — счастье людей. Кто из людей будет счастлив — вот что меня заботит. А довольство сытых возле кормушки — скотское довольство, — мне не интересно.

Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы — пустота, обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити.

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов, обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать.

Не судите о способностях по легкости усвоения. Успешнее и даль-

ше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию — вот главное мерило.

Не учите их, что польза — главное. Главное — возрастание в человеке человеческого. Честный и верный человек гладко выстругает и доску.

Научите их почтению, потому что насмехаться любят бездельники, для них не существует целостной картины.

Боритесь против жадности к вещественному. Они станут людьми, если вы научите их тратить себя, не жалея; если человек не тратит себя, он закостеневаает.

Научите их размышлению и молитве, благодаря им расширяется душа. Научите не скудеть в любви. Чем заменишь любовь? Ничем. А любовь к самому себе — противоположность любви.

Карайте ложь и доносительство. Бывает, что и они помогают человеку и, на первый взгляд, в помощь царству. Но силу рождает только верность. Нельзя быть верным одним и неверным другим. Верный всегда верен. Нет верности в том, кто способен предать того, с кем вместе трудится. Мне нужно сильное царство, и я не собираюсь основывать его мощь на человеческом отребье.

Привейте им вкус к совершенству, ибо любое дело — это путь к Господу и завершает его только смерть.

Не учите их, что главное — прощение и милосердие. Плохо понятие, обе эти добродетели обернутся потаканием нечести и гниению. Научите их благому сотрудничеству — общему делу, где каждый в помощь благодаря другому. И тогда хирург поспешит через пустыню к человеку с разбитой коленкой. Потому что речь идет об исправности повозки. А вожатый у них один.

XXVI

Я задумался о великом таинстве перерождения и изменения самого себя. Жил когда-то в нашем городе прокаженный.

— Я хочу показать тебе бездну, — сказал отец.

И он повел меня на окраину, где за домами виднелся голый замусоренный пустырь. Маленький домишко стоял посреди пустыря за забором, отгородившим прокаженного от остального мира.

— Ты, верно, думаешь, что он в отчаянии? Присмотрись, он сидит на пороге и зеваает. В нем умерла любовь, только и всего. Его сгноило изгойство, всего-навсего. Запомни, изгойство не терзает болью, оно изнашивает тебя день за днем. В изгнании питаются снами, и в кости играют понарошку. Да, он сыт, но что толку в сытости? Он — король царства теней.

Наше спасение в необходимости, — продолжал отец. — Что за игра в кости без денег? Что за жизнь в мечтах? Мечты не приносят счастья, они слишком податливы. Как безнадежен рой мечтаний, заполняющий пустоты юности. На пользу каждому все, что сопротивляется и противится. Не болезнь беда прокаженного — податливость жизни. У него нет необходимости идти, он осел у своей кормушки.

Горожане приходили поглядеть на него. Окружив забор, они затаивали дыхание, словно заглядывали после тяжелого подъема в кратер вулкана. Они бледнели, словно уже услышали грозный гул в глубине земли. Жизнь за забором казалась им исполненной тайны. Но тайны в ней не было.

— Не тешь себя иллюзиями, — сказал отец, — не выдумывай прокаженному бессонных ночей, отчаяния и рук, заломленных в бессиль-

ной ярости против самого себя, Господа и всех людей на свете. Он — неучастие, и с каждым днем он от нас все дальше и дальше. Что связывает его с людьми? Глаза ему затянула пелена гноя, бессильные руки повисли плетью. Городской шум для него — шум проезжающей неведомо где телеги. Жизнь — не слишком понятное зрелище. А что такое зрелище, спектакль? Пустяк, он ничего не стоит. Живит только то, что переделывает тебя. Нельзя жить, превратившись в склад с мертвым грузом. Мог бы жить и прокаженный, подвози он на лошади камни для постройки храма. Но нет, этого снабдили всем.

Со временем вошло в обычай навещать прокаженного каждый день, сострадать ему и через забор, отгородивший его от мира, перекидывать ему приношения. Он стал божком, ему служили, его украшали и одевали, кормили лучшими яствами. В праздник чествовали музыкой. И все же нуждался во всех он, а сам не был никому нужен. У него было все, но отдать ему было нечего.

— Ты видел деревянных идолов,— сказал отец,— они тоже обвешаны дарами. Перед ними возжигают свечи, им кадят дымом жертвоприношений, украшают драгоценностями. Но поверь, преобразаются и растут люди, жертвуя своему божеству золотые браслеты, драгоценные камни,— деревянный идол пребывает деревом. Он не может перодиться. Дерево живет, преобразая землю в цветы.

Я видел прокаженного, он выходил из лачуги и обводил толпу незрячим, тусклым взглядом. Говор собравшейся толпы мог бы польстить ему, но для него он значил не больше дальнего шума волн. Он был для нас недосыгаем. Нас ничего не связывало друг с другом. И если кто-то в толпе громко жалел его, взгляд прокаженного туманился презрением... Изгой. Его воротило от игры, где все понарошку. Что за жалость, если не берут на руки и не баюкают? Ведь для нас как настоящий он не существовал. И когда вдруг в нем просыпалось что-то древнее, инстинктивное, когда он вдруг загорался яростью, не желая больше служить ярмарочной забавой,— яростью, по существу поверхностной, ибо мы не были частью его жизни, а чем-то вроде детей у пруда, где едва шевелится одинокий карп,— ярость его не задевала нас. Ярость, не способная нанести удар, швыряющая на ветер пустоту слов. Мне показалось: взяв на себя его пропитание, мы ограбили его. Я вспомнил прокаженных Юга, они взирали на оазисы с высоты своего коня, с которого, по закону о прокаже, не имели права спешиться. Они опускали вниз палку с плоской и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом: счастливое лицо для них — лишняя возможность удачной охоты. Да и чем могло досадить им чужое счастье? Чуждое и далекое, вроде незаметной возни полевок на лугу. Вот они и смотрели вокруг тяжелым равнодушным взглядом. Тихим шагом подъезжали к лавчонке, опускали на веревке корзину и терпеливо ждали, пока лавочник наполнит ее. Не по себе становилось от их тяжелого равнодушного терпенья. Неподвижно стояли они вдоль нашей улицы, и были для нас лишь пристанищем страшной болезни, жадной, прожорливой печью, сжигающей человеческую плоть. Они были для нас тем, что стараешься миновать,— заброшенным пустырем, обителью зла. Но чего ждали они сами? Ничего. Ждут ведь не от себя, ждут от иного, чем ты. И чем скуднее твой язык, тем грубее и проще твоя связь с людьми, тем меньше знакомы тебе скука и томление ожидания.

Так чего они могли ждать от нас, эти люди, ничем не связанные с нами? Они ничего от нас и не ждали.

— Смотри,— сказал мне отец,— он больше не зевает. Он разучился скучать, скука — тоже тоска по людям.

XXVII

Я понял, что все несчастны. Ночь — вот корабль, на который Господь посадил всех странников, не дав им кормчего. И я решил объединить людей. Но сперва решил понять, что же такое счастье.

Я ударил в колокол. «Придите ко мне, счастливые» — позвал я. Счастливый подобен зрелому плоду, источающему сок и сладость. Я видел — женщины, наклонившись вперед, прижимают руки к груди, боясь расплескать полноту счастья. И пришли счастливые и встали по правую мою руку.

«Придите, несчастные!» — позвал я и ударил в колокол для несчастных. «Встаньте от меня по левую руку», — сказал я им.

И разделив всех, я задумался: «Что же такое несчастье?»

Я не верю в арифметику. Не перемножишь горе на радость. Если среди моего народа страдает один-единственный человек, мука его так велика, как если бы мучился весь народ. Плохо и то, что, мучаясь, человек забывает о царстве.

А радость? Когда замуж выходит принцесса, танцует и пляшет весь народ. Дерево потратило себя, и распустился бутон. Дерево — это каждая из его веточек, по ним я и сужу о дереве.

XXVIII

Слишком просторным показалось мне одиночество. Тишины и неспешности искал я для моего народа. И вот напился простором души и горней тоской до горечи. А внизу я видел огни вечернего города. Город звал сбиться всех потеснее, запереть двери, прижаться друг к другу. Так все и поступали, а я — я смотрел, как одно за другим гаснут окна, и за каждым из них угадывал любовь. А потом тоску и разочарованье, если любовь не становилась большим, чем просто любовь...

Непотухшие окна говорили о болезни. Два-три неизлечимо больных — негасимые свечи в ночи. А вот и еще одна мерцающая внизу звездочка — кто-то творит, единоборствуя с неподатливой глиной, он не уснет, пока не вплетет в венок еще одного бессмертника. Несколько окон зажжены безнадежной мукой ожидания. Господь и сегодня собрал свою жатву, кому-то никогда уже не возвратиться домой.

Но были в моем городе и те, кто не спал и бдением своим противостоял опасностям ночи, как бдит дозорный в открытом море. «Это блюстители, — сказал я, — они блюдут жизнь перед лицом непроницаемой стихии. Они на переднем крае, на пограничье. Нас мало, бдящих в ночи над спящими, с нами беседуют звезды. Нас мало стойких, мы положились на произвол Господень. Нас мало среди мирных городских жителей, на наших плечах тяжесть города, нас обжигает ветер, упавший со звезд, словно ледяной плащ».

Капитаны, друзья мои, тяжка необъятная ночь. Спящим неведомо, что жизнь — это нескончаемые перемены, напряжение до стопа древесины и мука перерождения. Нас мало, мы за всех несем общий груз, мы на пограничье, нас обожгла боль, и мы выгребаем к восходу, мы — дозорные на вахте, застывшие в ожидании ответа на немой вопрос, мы из тех, кто не устает верить, что любимая возвратится...

И я понял, что усердие и тоска сродни друг другу. Их питает одно и то же. Бескрайность — их пространство, бесконечность времени — их пища.

— Пусть бдят со мной лишь тоскующие и усердные, — сказал я. — Остальные пусть спят. Они трудятся днем, и не их призвание — пограничье. . .

Но этой ночью город не спал, он лишился сна из-за человека, который на заре искупит смертью свое преступление. Город верил, что он невиновен. Улицы обходила стража, следя, чтобы люди не собирались вместе, но людей будто что-то выталкивало из дома и притягивало друг к другу, как магнит.

А я? Я думал: «Один мученик разжег пожар. Тюремный узник реет над целым городом, словно знамя».

И мне захотелось посмотреть на него. Я направился к тюрьме, — глухим квадратом чернела она на звездном небе. Стражники отомкнули мне ворота, и, заскрипев, они медленно повернулись на петлях. Толстые стены, зарешеченные окна — тяжело от них. Черные стражники сторожили дворы и коридоры, возникая на моем пути, словно ночные хищные птицы. . . Всюду спертый воздух, всюду глухое эхо подземелья, вторящее шагам по плитам, звону оброненного ключа. Я подумал: «Для чего воздвигать эту громадину, стремясь придавить человека, он так слаб, так уязвим — гвоздя довольно, чтобы лишить его жизни. Неужели же преступник так опасен?»

Все ноги, чьи шаги я слышал, топтали узника. Все стены, все двери, все столбы давили на него «Он — душа тюрьмы, — сказал я себе, размышляя об узнике. — Он ее смысл, суть и оправдание. И он же — кучка тряпья, сваленная за решеткой, возможно, он спит и похрапывает во сне. Но каким бы он ни был, он взбудоражил весь город. Вот он отвернулся от одной стены, повернулся к другой, и произошло землетрясение».

Мне приоткрыли глазок, я стал смотреть на узника. Я знал, что мне есть над чем поразмыслить. Я долго смотрел на него, пока наконец его не увидел. А увидев, подумал: «Наверное, ему не в чем себя упрекнуть, кроме как в своей любви к людям. Но каждый зодчий строит свою крепость по-своему. Все способы хороши. Но не все вместе. Потому, что тогда не построить крепости».

Лицо, изваянное в мраморе, отвергло множество других возможностей. Каждая была прекрасна. Но не все вместе. Я не сомневаюсь, мечта узника была не хуже моей.

Он и я — на вершине горы. Я один, и он тоже. Этой ночью мы поднялись с ним на вершину мира. Встретились, сошлись. Что делить нам на такой высоте? Как и мне, ему нужна только справедливость. Но умрет все-таки он.

Мне стало больно.

Прежде чем желание станет деянием, дерево — веткой, женщина — матерью, будет сделан выбор. Жизнь укрепляется несправедливостью выбора. В красавицу влюблены многие. Послушная жизни, она выберет одного и многих обречет на отчаяние. Справедливость не затбит сушее.

И я понял — творчество прежде всего жестоко.

Я затворил дверь и долго шел коридорами. Меня переполняли восхищение и любовь. На что ему жизнь раба, когда он велик гордыней? Я проходил мимо стражников, тюремщиков, подметальщиков, все они верно служили своему узнику. Толстые стены берегли его и были похожи на руины замка, они что-то значили лишь благодаря спрятанному в них сокровищу. Я еще раз обернулся и посмотрел на тюрьму. Башня в зубчатой короне тянулась к звездам — сторожевой корабль шел с важным грузом. . . Куда он его везет? — спросил я у само-

го себя. А потом, когда я уже был далеко, ружейный залп в ночи...

Я подумал о своих горожанах: «Они будут плакать о нем». «Хорошо, что они будут плакать», — подумал я.

Я вспомнил, о чем поет мой народ, на что ропщет, о чем думает. «Они похоронят его. И не похоронят. Опущенное в землю дает всходы. Не мне противостоять жизни, и однажды он окажется правее меня. Я обрек его на позорную казнь. Придет день, я услышу, как воспевают его смерть. Песню полюбит ищущий путь к тому, что мной отвергнуто. А я? Куда иду я?»

Я иду к иерархии, но не такой, какая сложилась, — к иной. Благо покоя я хочу отличать от омертвения. Стремясь к покою, не хочу расправляться с противоречиями. Я должен вобрать их. Зная при этом, что одна сторона хороша, другая — нет. Не терплю, когда плохое и хорошее смешивают в одну кучу, сладкой кашкой питаются слабаки, поддерживая свое бессилие. Я принял моего врага, чтобы стать больше и сильнее него».

(Продолжение следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

Ариадна Ардашникова

ПАЛОМНИЧЕСТВО КО СВЯТОЙ ГОРЕ

НА ВОКЗАЛАХ

Хочу вспомнить, как все было. Всю себя сосредоточить в воспоминании. . . Поезд выкинул нас в Бресте среди ночи. Раскрываю спальный мешок рядом с лужей у ограды летнего кафе, под навесом. Всухую дожевывая анальгин, укладываю тошную голову на мокрые свои туфли и — ныряю в забвение. Последние ниточки мыслей. Это — п а л о м н и ч е с т в о ? «Паломник — богомолец». Так у Даля. В те времена паломников встречали свежим хлебом, парным молоком. . . Есть хочется. Ничего не купишь. Дорого. Да и не продают. А наши консервы на дне сумки. . . Таможенники, наверно, кагебешники. Нарочно нас унижают, к Богу, мол, задарма захотели. Еще под себя ходить станете — в туалеты очереди часовые, а водичка сырая, другой, извините, нету, другая у Папы Римского.

К чистому — «ихнему» — перрону приходят «ненаши» электрички. В них впрыгивают счастливики, протиснувшиеся за решетку. Поезда уходили почти пустыми.

Живем слухами, что комитет Пилигримов присылает для нас вагоны с обедами. . . Таможенник выкрикивает фамилии из общего списка, заменяющего нам заграничные паспорта, но пробиться к нему через свалку людей и вещей невозможно. И вернуться нельзя. Билет коллективный, купить новый не на что, деньги и водку просили не брать. Многие, однако, взяли.

Ну, с водкой понятно: почти валюта. А вот дети зачем? Совсем маленькие? . .

Поездом мы должны были доехать до Кракова, но, задержавшись в Бресте, а потом на каком-то уже польском полустанке, выбились из графика и, испугавшись, что Паломнический комитет нас потеряет, вскочили в первую же электричку. Электричка оказалась варшавской. Теперь вот табором бегаем с рюкзаками и тележками с платформы на платформу. Пытаемся втиснуться в проходящие поезда, но третий класс набит битком, а в первый и второй нас не берут; за запертой дверью проводники делают руками всем понятный косой крест.

Солнце палит нещадно. Август называется — тридцать градусов! Но я засыпаю на ходу. В поезде опять не удалось выспаться. Сначала на меня рухнул чей-то рюкзак, потом начала скандалить соседка, понося поляков: нарочно, мол, из национальной ненависти обрекли нас на эту кошмарную дорогу.

В пять утра мы прибыли наконец в Краков. Здесь нас встречали. От вокзала шли пешком, показалось, что очень долго. Волочили тележки, рюкзаки. Спящие дети на плечах. Один сознательный бутуз шел

сам, с выражением важности на сонном лице. Отец, с рюкзаками на груди и на спине, тащил его за руку. Я сказала: «Молодец, будешь настоящей мужчиной!» Отец мальчика с трудом повернул ко мне голову, стиснутую металлическими коромыслами рюкзаков: «А ты молчала бы. Тебя никто не спрашивает». Он был моложе моих детей.

Привели нас в интернат медучилища; спальных мест там оказалось вдвое меньше, чем требовалось. Мы с подругой легли валетом.

Теперь, когда надо было спать, не спалось. Ноги дергало и ломало.

ПЕРЕД ПЕШИМ ПОХОДОМ

Папа Римский специально для нас назначил VII Всемирный День молодежи в Польше. До Буэнос-Айреса или Сантьяго де Компостелла, где проходили предыдущие Дни, нам ведь не доехать! Святой Отец валютой оплатил Польше наше питание, проживание и проезд от границы до Ченстоховы, где на Ясной Горе, у ног польской святыни — Ченстоховской Иконы Божьей Матери — назначил нам встречу. Иоанн-Павел II сказал, что ждет всех желающих. И мы поехали.

Кто же мы? Чего желающие? Желающие увидеть за границу. Желающие сделать мелкий бизнес. Желающие не вернуться назад. Желающие просто воспользоваться тем, чем другие не смогли. . .

А паломничество ко Святым местам совершают люди, Богу молясь. Кто же из нас верующий? Не только крещеный, а живущий по вере? В глаза бросаются одни «желающие». Они быстро нашли друг друга и стали бороться за выживание своего и выживание из своей среды чужого. Захватить лучшую комнату, лучшую постель, место у окна, припрятать спички про запас, утаить свою еду и требовать паломнического пайка, быть все время обиженными и все время качать права! За два дня туалеты сделались непроходимыми. В унитазах плавали полиэтиленовые пакеты, раковины были забиты ягодами, чаем и волосами. Некоторые руководители групп заискивали перед администрацией в надежде на большее количество льгот. По углам чем-то обменивались, скручивали тысячные бумажки золотых, сговаривались идти на утренние толкучки, ругались и завидовали. Через пару дней я начала понимать, что с монахами — пешком из Кракова в Ченстохову — пойдут единицы, хотя священники были строги. «Папа сказал: к началу пешего паломничества ни одного русского в Кракове не должно остаться». Атмосфера стала по-настоящему советской. Следили друг за другом, шептались за спиной друг у друга, обсуждали возможности возвращения, соединялись в группы и исчезали — кто куда.

Мы, небольшой группой, начали молиться. Радовались ясным глазам и счастливым лицам. Наши подростки и их родители готовились к пешему переходу. Но глядя на них, нельзя было даже представить себе, что они смогут по жаре в течение пяти дней делать по тридцать пять километров!

Увы, и мне поход был не по возрасту и не по силам. Я за всю-то жизнь свою не была ни разу даже в однодневном турпоходе! Но хотелось быть вместе и вместе не падать духом. К тому же нас пугали невозможностью найти свою группу в Ченстохове, где ожидалось два миллиона человек. А переехать границу обратно мы могли только вместе, по общему билету. Я посмотрела на свои ноги, торчащие из лодочек подушками, и одолжила для похода — кеды.

Вечером на Вавеле, в Краковском кремле, была Месса. Все в ней так странно для меня. Я люблю полутьму наших православных церквей, жаркое разбрызгивание воска свечами, на «кануне» — для мерт-

вых и у «праздника» — для живых. Люблю уголок за иконами на клиросе, где иногда мне дается в дар покаяние. Литургия для меня всегда была связана с закрытым пространством, с тайной задернутой завесы, сомкнутых Царских врат. И вот — сейчас, здесь, на Алтаре под открытым небом, в лучах яркого солнца — совершится Таинство?!

Поражали и сотни монахов, молодых, веселых, подвижных, в светлых одеждах. Они заполнили площадь вместе с паломниками и вместе с ними пойдут завтра на рассвете в пеший поход к Святой Горе. Площадь гудела радостными голосами и смехом. В нашем православном храме смех звучит кощунственно, как несоответствие Евхаристии, но этот смех не был кощунством, нет! В нем была радость о Господе! Деревянная подмосковная церковка, мой храм, остался сокровенным в моем сердце, которое здесь, в Кракове, на вершине Вавельского холма, вместе с этими людьми, — славило Бога. И как любовь к своей родине вовсе не требует ненависти к чужой, так привязанность к своему вероисповеданию не мешает видеть достоинства других. Мне нравится, что молитвы поются всей площадью, нравится католический «Ангелус», когда все людское пространство гулким шепотом произносит слова Ангела: «Радуйся, Мария, Благодатная! Господь с Тобою!»

... Читали из Иоанна. Христос с высоты Креста указал Матери на Иоанна: Это сын Твой. А ему: Это Мать твоя. И мы дети Ее, и Она Мать наша. И мы должны, как Иоанн, взять Ее в дом свой и заботиться о Ней...

Я стала молиться Ей близко, жарко и уже не хотела ни идти, ни остаться, а только — как Она повелит. Домой шла спокойная, зная, что мне ничего не надо делать. Просто ждать, как проявится Ее воля.

Вещи были сложены, начиналась ночь — я не принимала решения. Подруга моя ждала спокойно, готовая и идти, и остаться. В одиннадцать часов ночи все разрешилось, по-видимому, само собой. Распорядители решили не брать группу с маленькими детьми, остались и мы с подругой, в отдельной комнате и на отдельных кроватях, получив в подарок на два дня — Краков.

КРАКОВ ВОСЬМИДЕСЯТОГО

Теперь мне предстоит признаться, что странная эта решимость — мне, боящейся всяких неудобств и смолоду-то не любившей никаких походов, поехать паломником в Польшу, — странная эта решимость имела источник: память, тоску по Кракову.

Кривые, не повторяющиеся изгибы каменных форм Вавеля выступают из земли как ее природная часть. Будто человек доделал природное творение по Божьему замыслу. В силу своих человеческих возможностей. А впрочем... Эти свободно стоящие остроугольные башни, круглые бастионы, нависающие над глухими стенами полукруглые смотровые башенки-балкончики, мощные въездные ворота, подъемные мосты над рвами, — разве возможно все это сделать человеку без Бога?

Удивительно, как в архитектуре Кракова сочетаются аскетизм и роскошество, простота и сложность, монументальность и юмор. Разве не улыбнешься, увидев узкие разновысокие и разноформенные арки Курьей ножки или капители из человеческих голов? Бесконечные сочетания разнообразных форм на вершинах храмов заставляют подолгу смотреть в небо, а низкие арочные колоннады ставят тебя на колени, чтобы увидеть небо в конце узкого коридора.

Архитектура Старого Кракова заставляет двигаться в ее пространстве по своим законам. Если отдаться этому движению, оно рождает движение внутреннее. Осознать его в своей душе, закрепить чувством,

ритмом, мыслью — таинственное и притягательное занятие. Я много ездила. И многое полюбила в природе и в творениях человека, но в Кракове. . . я чувствую себя одновременно мудрой и наивной, тяжелой и легкой, молодой и старой. В Кракове для меня единосушно — противостоящее. Не знаю, хотела бы я здесь жить повседневно. Но родиться? . . . Но умереть? . . .

Краков обрушился на меня в восьмидесятом году своими Ювеналиями, праздником студентов по окончании учебного года. Польша накануне революции. Длинные хвосты очередей за хлебом в утренних туманах, обступавших наш благополучный интуристский автобус, казались массовой фильмой об Отечественной войне. Гостеприимные хозяйки открывали нам заветные дверцы шкафов, за которыми — тома Солженицына, «Континента», «тамиздатских» журналов и брошюр, в том числе и на русском языке. Я все время таскала с собой обрывающую свои ручки сумку с драгоценной литературой, боясь оставить в гостинице пищу для КГБ. Ночами читала «по диагонали» все подряд и записывала в маленькую книжечку «шифрованные» мысли. Глаз КГБ виделся мне повсюду, но ходила на сходки молодежи, восхищаясь ее готовностью противостать «застойному» маразму.

В напряженном предгрозовом воздухе веселие и единение молодых поражали. Взявшись за руки, они останавливали человека, машину, автобус, азартно и весело мыли ветровые стекла, тащили старухам кошелки и за все, с шутками и припевками, требовали плату (за несколько дней Ювеналий студент скапливал «деньгу» на каникулы). Всюду — на стенах, мостовых, тротуарах — продавали картины, рисунки, поделки. Особенное веселье было на Площади Главного Рынка, в центре Старого Кракова. Площадь мыли мыльным порошком, готова «стол» для молодежного пира. При мне с подъемника небольшой машины намылили щетками бронзового Мицкевича. Под потоками белой пены, смешанной с пометом тех, кто разделял с ним его памятную славу, Мицкевич смущенно улыбался. Никогда не думала, что у памятника может быть столь интимное выражение. Величие и беспомощность.

Канун великих потрясений. «Праздничное и жуткое», как когда-то заметил Бунин.

И вот я снова в Кракове.

В другом Кракове, другая я.

НА ПЛОЩАДИ ГЛАВНОГО РЫНКА

Я сижу на Площади Главного Рынка. Напротив — собор Девы Марии. Там прохладно. . . В средние века умели строить по молитве. . . И иконы писали по молитве. В соборе воздух особенный, у него есть объем. . . Я сижу на площади в голубином углу. Со всех сторон — голуби. Урчат. Один — хохолком на темени у Мицкевича. Мицкевич дремлет, не споняет. На каменном колодце со старинным насосом — табличка: «Вода для приготовления пищи младенцам не годится». А старухам? Пить хочется.

Наши уши в пять утра. Представляю себе зной шоссейной дороги, плавающийся асфальт.

Один голубь в стороне. Медленно тащит свое перламутровое тело. В России голубей кормят хлебом, они жирные, и цвет у них глухой. А эти, кормленные зерном, радужные, будто отражают и многоцветье площади, и солнце, и небо! . . . «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

А мой голубь лежит на боку у самых корней дерева. Прилетела горlinkа. Мелко-мелко, с лапки на лапку, забегала-заходила кругами.

Вскочила на тельце друга. Выпростала ему головку из крыл. И клювом — в клюв. И опять забегала. Вспокоилась. И опять вскочила. И опять целует. Нет, не слышит. Не видит он своей голубки. Так и ушла. А голуби знают, что похожи на Дух Святой? А мы знаем, что похожи на Бога?

Кто знает, тот и похож...

Хорошо как умер, незаметно, среди птиц, под небом и солнцем, под ногами у людей. А в храме на Вавеле в полу медная доска. Там, под ней, Святой Станислав лежит. Глава всей церкви Польской. Не побоялся конфликта с королем. Тот и велел во время Мессы отрубить ему руки и голову. Господь верных Своих отмечает мученичеством. Для нас, дураков, чтоб Христа с Антихристом не спутали?..

Так и отца Александра Меня отметил. Чтоб знали о чуде Его: жил среди нас праведник...

НА УЛИЦАХ КРАКОВА

Солнце пропало, но жара сильная.

У Вавеля на постаменте — конный памятник. Прежний уничтожили немецкие фашисты. Этот воссоздали жители современного Дрездена в дар Кракову. Похоже, у них и вправду будет общий дом. Им хорошо в Европе, на одном клочке земли. А у нас две части света — простыня в треть земной окружности. Не дом, а общий погост. На Флорианской улице доска: «Гете останавливался здесь в 1790 году 5—7 сентября». Всего-то три дня здесь жил гений того народа, от которого столько страдали поляки, и никто не скинул? не опоганил память?! Национальное чувство возвращается в человеке, когда он оберегает свои национальные — культурные, духовные — богатства, а не уничтожает «чужие». Национальная гордость питается созиданием, а не разрушением. Впрочем, я не знаю национальной гордости. Раньше думала, что воспитана интернационально. Нет! Нас воспитывали внационально. Меня лишили естественного национального чувства, как хотели лишить женского пола, заставляя изолированно учиться, маршировать, командовать, заседать, некрасиво одеваться. Пол мне вернула природа. А национальность мне уже не вернуть. Зачем человеку национальность, если он Христов?..

На улицах людно. Предпразднично. Ждут Святого Отца. У Марианского собора грандиозный навес над открытым Алтарем. Для Мессы, что будет служить Иоанн-Павел II. Интересно, здесь всегда говорят на многих языках или это гости приехали на встречу с Папой?

Опять солнце. Ну и жара... Есть ли уже в интернате вода? Вчера не было. Наши сразу обиделись: с нами все можно! Поляки всполошились, забегали: сейчас, сейчас! У них это часто бывает. Таскали нам воду из дальней колонки. А одна женщина, увидев это, купила для наших детей целый ящик напитка в баночках.

Вода в душе шла ледяная. Преодолев страх простуды, я наконец насладились обжигающим потоком. Блаженство холода в жару! С мокрой головой, не вытирая лица, шла по коридору. От окна навстречу мне двинулась фигура.

— Простите меня.

— За что? — спросила я. И думая о стекающих по красному носу струях воды, прилипшей челке, добавила объясняюще: — Я мокрая... совсем.

— Простите, это я тогда огрызнулся на Вас... ну, когда мы шли сюда... с Костиком. Я все время мучаюсь... Простите меня.

— Радость моя, да я все понимаю... Это Вы простите меня, что полезла к Вам... Вы же устали, замучились с малышом...

И мы хором говорили «спасибо, спасибо», и «пожалуйста», и «простите меня», и опять «спасибо». И я, смеясь, размазывала мокрой рукой воду и слезы и обнимала его, не прикасаясь ладонями, с которых капало на пол.

К вечеру жара спала, и улицы Кракова стали похожи на улы.

И кругом товары, товары, товары. В окнах, подъездах, прямо на тротуарах и мостовых. И бумажные полотнища купюр невозможно удержать в руках, высчитывая суммы, скрытые за пятью—шестью нулями. Неужели это и нас ждет? Пятьсот золотых — бубличек! Пока я путала себя и подругу, перебирая и вынимая то тысячные, то сотенные, запикивая их комком прямо в сумку, — не по формату и объему наши кошелечки, — веселый мальчик-продавец вытянул из моего комка девятьсот золотых и дал нам — два бублика! Поддержал российских паломников — подарил сотню.

Тайнственный город — Краков. Вроде и ходишь всюду, где хочешь, ни заборов тебе, ни замков, а все как будто тайное что-то в сердце у него остается. А где его сердце? Все эти рекламы, механизмы, товары — как чехол. А он, город, под ним сокровенно живет своей жизнью. Где?

Хожу по храмам . . .

ФРАНЦИСКАНСКИЙ КОСТЕЛ

В костеле пустынно. Откинув веревочку, сажусь на скамью. Тишина. Гулкая. Прохладная. Вместе с жарой на улице остается и время . . .

. . . Все-таки сидя мне трудно молиться. Привыкла, значит. Уже привыкла . . . Первые мои молитвы были на больничной кровати. Может, и не молитвы, а мысли о Боге . . . Иногда я видела себя, окружение, ситуацию, будто находясь и а д собой. То Я, которое это видело, было больше болезни, больницы, больше видимой жизни . . . И долгое время потом молилась только ночью — лежа в постели. В церкви все мешало: безвкусное убранство, грубые бумажные цветы яркого «химического» цвета, какие-то «самодельные» нехудожественные иконы, толчея, духота, бабки постоянно дергают: не там встал, не так перекрестился . . . Отец Александр сказал: «А я люблю молиться в храме, найду глазами человека, что молится, и — рядом с ним, с его молитвой. Вместе». У меня, наверно, стало получаться не от его слов, а по его молитве обо мне . . .

А в безвкусице наших церквей есть наивность. Сердечная детскость. А может, сердцу эстетизм вообще вреден? . . . А наши иконы, духом писанные, теперь и католикам открылись как чудо Божье . . . А толкотня и «бабки» — это душе для закаливания. Упражнение духовное. Иногда так хочется обласкать их, чтоб злобные чары с них спали, сказать: «Ну что, что мне для вас сделать, бабоньки?!»

А молиться стоя . . . в этом что-то есть. Недаром же та девочка у Цветаевой, никогда не ходившая, просила Господа поднять ее: «Чтоб стоя я могла молиться! . . .» Цветаева выделила это «стоя».

Храм — большой. Сложной конфигурации, не сразу и сообразишь, где вход, где выход. Храму много веков. Века, как слои, видны в его архитектуре и росписях. И умели же зодчие в старину наслаивать века! Один на другой, один рядом с другим. И не приходило в голову разрушить до основанья, а затем . . . В голову? Им, наверно, в сердце не приходило. Теперь нам видно, что ценили они в искусстве непосредственность, естественность: и в формах, и в орнаменте — легкая неточ-

ность, кривизна. Видно, что сделано не мертвой машиной, а рукой человека. И как прекрасно уживаются в росписях готическое с модерном, растения — с геометрическим рисунком.

Напротив главного Алтаря, в конце нефа — витраж. Вверх, к стрельчатому завершению арки устремлено тугое движение облаков и линий летящего Бога Саваофа, извивы его бороды на небесном ветру.

Я отступаю медленно, вглядываюсь, потом закрываю глаза, чтоб проверить, запомнила ли. Отступая спиной, внезапно оказываюсь вровень с боковым Алтарем. За ним в человеческий рост Максимилиан Кольбе. Стоит на фоне зеленовато-серого воздуха, пронзенного в нескольких местах светящимися кровавыми звездами. Там было еще что-то говорящее о концлагере... Я почему-то вижу теперь скрепы колочей проволоки. Или в монашеской одежде отца Кольбе что-то от одежды зека? Не помню... Вижу крепкую, округлой формы голову и большой выпуклый с боков лоб, волевые, энергичные черты. Не могу вспомнить, были ли очки. На фотографиях, которые я видела, он всегда в круглых очках предвоенного времени. Могли быть очки? Не помню... Я ничего не разглядела... Наверно, потому, что это была икона, а не портрет. Икона обладает способностью вводить в иной мир, она зовет войти через нее в молитву, что не исключает, конечно, возможности рассматривать ее как произведение искусства, но в этом уже другой смысл, как в разглядывании художественных достоинств книги Библии.

Кажется, ничего не произошло со мной во Францисканском костеле. Я не вспоминала потом и о чувстве стыда, с которым опустила по жадности в щель жестяной коробки только те сто золотых, что подарил мне юный продавец бубликов.

Ничего не произошло со мной. Почему же я возвращаю и возвращаю себя туда, будто хочу еще раз пережить что-то важное? Что?.. Жесткая скамейка, тени под сводами, прохлада. Облака за витражом кажутся неподвижными, а цветные стекла плывут по небу, а на плите пола — щербинка...

В свой первый приезд в Польшу я была в Освенциме и видела бункер для смертников, в котором четырнадцать суток молился отец Кольбе. С ним вместе молились обреченные на голодную смерть люди. Он укрепил их духовно и проводил своими молитвами из этой жизни в ту. Он был убит фашистами последним — уколом в сердце накануне Успения Богородицы. Ушел — унеся с собой порядковый номер, который дали ему на земле не люди: 16 670.

Я привезла с собой путеводитель по Музею. В нем не было ни слова об отце Кольбе, но зато много о зверствах Гесса, коменданта концлагеря. У входа в Освенцим на помост, где был казнен Гесс, кто-то при мне положил красные цветы!

Господи Иисусе Христе, Ты принес нам Меч, который рассекает и мир мертвых. В глубине низкой камеры, в том месте, откуда Ты взял к Себе Святого отца Максимилиана, тоже были цветы: бледные весенние цветы в белой фарфоровой банке.

Папа Иоанн-Павел II при канонизации отца Кольбе назвал его первым «рыцарем милосердия». Святой Максимилиан пошел на смерть по собственной воле — за другого человека. И было чудо в том, что эсесовцы согласились на замену. Могли убить обоих. И обреченного, и его заступника.

А разве не чудо, что в центре Европы, покрытой проказой фашизма, стоял Город Непорочной — Непокаланов? Это был не просто город, где жило Воинство Непорочной. Это был неиссякаемый источник благих сил, завоевывающих для Нее одну душу за другой, одно за другим все проявления человеческой жизни: культуру, политику, науку, быт. Источник живой воды, возвращающей к жизни людей и все то, что было

умерщвлено европейским и советским фашизмом, атеизмом и язычеством миру (міру) и утверждали мир своим трудом в нем. К началу второй

А разве не чудо, что на другом краю света, в Японии до союзничества ее с Германией, отец Кольбе основал второй, подобный первому, город — Сад Непорочной. Братья Воинства Непорочной отдавали себя миру (міру) и утверждали мир своим трудом в нем. К началу второй мировой войны Воинство Непорочной насчитывало восемьсот тысяч человек.

Великий Джотто изобразил в одном из своих творений легенду: Папа Иннокентий III видит во сне накренившееся, грозящее рухнуть гигантское здание старой церкви. Его удерживают худые руки оборванного бродяги в темном плаще пастуха. Это — Святой Франциск из Ассизи. И кто знает, может быть, Воинство отца Кольбе было той духовной закваской, которая впоследствии дала возможность Европе изжить покаянием грех фашизма и спасти готовую рухнуть европейскую цивилизацию?

ЧЕНСТОХОВА

В ночь на тринадцатое августа мы приехали в Ченстохову. Группа человек в пятнадцать, к которой мы с подругой примкнули, была собрана по советскому признаку: знакомые знакомых. Руководящая товарищ-дама, видимо, восприняла наше присоединение как нежелательное, но мы все-таки втиснулись в ее автобус.

Остановили автобус за городом, у стадиона. Небо было низким, и земля казалась выпуклой. Дождь шел какой-то немокрым, будто висел в воздухе. Мужчины стали устанавливать свои палатки. Рядом с теми, что уже стояли по периметру поля, ближе к лесу. У нас с подругой палатки не было. Раскрыли зонт. Потом из походных кухонь нас кормили супом в пластмассовых мисках и уже перед рассветом отвели на ночлег. Ночлежкой оказался брезентовый загончик человек на десять-двенадцать. Легли в спальниках прямо на голую землю, подстелив полиэтиленовые мешки, в Европе их используют для мусора вместо наших железных контейнеров. Мой ситцевый спальник был такой тонкий, что я легла сверху, накрывшись своей одеждой и обмотав голову платком — он так нелепо пах французскими духами.

... На лицо что-то приятно капало из круглого окошка вагончика. Шел дождь. Я стала натягивать на «иллюминатор» болтающийся на нем брезентовый круг. Дождь бешено забарабанил по брезенту. Небо грохотало и рвало молниями, руки затекали, но сон одолевал — не смотря ни на что. Врывающаяся вода будила меня, и я опять натягивала, прижимала брезент, а потом опять засыпала.

Я проснулась живой и здоровой. У меня не было приступа радикулита-остеохондроза-гайморита-дистонии! Я вытащила на жаркое место вещи и в тени палатки, уже гудящей чужими голосами, отдохнула от ночного «отдыха». Потом, поев московских консервов, мы отправились, волоча тележки со скарбом, в Ченстохову. По имеющемуся адресу. Солнце палило, голова ныла, несмотря на таблетку.

Городской автобус довез нас до главной улицы. Аллея Пресвятой Девы Марии. В конце Аллеи, над Ясной Горой, уходила в ясное небо стройная ступенчатая колокольня. Она была такой тонкой, что казалось заметным ее качание под ветром. Здесь, значит, и есть монастырь паулинов. Мы идем по бульвару посреди улицы, и вместе с нами будто идет в паломничество множество храмов: католических, лютеранских, евангелистских. Вот уже сквозь деревья виден у подножия колокольни монастырский город.

Где-то там, за этими глухими стенами — Она, Пресвятая... С тем-

ным лицом и рубцами на правой щеке. Почему лицо темное? Странно звучит это польское — «Черная Мадонна»... Считается, что Икону писал Святой Лука. Зачем же он сделал Мадонну черной? Может, потом почернела — от горя людского? Или это крышка кипарисового стола у Святого Семейства в Назарете, на которой Ее писал Евангелист, была черной?.. Кипарис, кажется, черный. Потом, передают, Икону подарила Константину Великому его мать. Привезла из Иерусалима в Константинополь. Потом перед Ней молился Карл Великий. Потом Она — не помню как — попала к русским князьям, и однажды князю — забыла имя — во сне было видение, что место Иконе — на Святой Горе, в монастыре паулинов. В XIV веке при нападении на монастырь Ее изрубили мечом. Знатоки в Кракове по приказу короля починили доску Иконы, но шрам упорно проступал. И тогда Икону вернули в монастырь в таком виде. Она много раз творила чудеса. Во времена войн и в мирные дни. Говорят, и сейчас есть стена с костылями. Их оставили здесь исцеленные Божьей Матерью. Прийти на костылях и уйти ногами. Как-то мы уйдем?

Долго обходила монастырь, в гору, а потом с горы. Всюду: за огородами коттеджей, во дворах монастырей и костелов, на любом городском газоне — палатки и эмблемы всех континентов. На чистых, почти сельских улицах много паломников из «нормальных» стран, они приезжают на свои деньги, пользуются платными туалетами, пьют соки, едят фрукты. Сошли бы за обычных интуристов, если б не пели молитвенных песен и если б все время не мелькали среди них юные, крепкие монахи, так странно сочетающие спортивную гибкость с длинными своими одеждами. Их чистые и точные голоса окружают Святую Гору молитвенными мелодиями со всех сторон. Они слышны по отдельности и в то же время сливаются в единый поток, как в русском колокольном звоне. В этой предпраздничной суете поражает количество инвалидов колясок, иногда образующих целые скопления. За спинами ухоженных, радующихся калек и больных — не измученные родители, а такие же радостные девушки и парни, только здоровые. Они ведут общий разговор, смеются и поют вместе.

В полдень подходим к небольшим воротам. Они открыты. Но на траве, внутри — палатки: одна к другой. И здесь все занято! Заполонили Польшу паломники!.. Грустный каламбур... Навстречу выходит женщина. Юбка, кофта, фартук, платок, завязанный сзади, — все серо-голубое. На груди — деревянный крест: две темные простые перекрещенные палочки. На мое робкое бормотание отвечает такой улыбкой всего своего существа, что совершенно ясно: мы пришли на свое место. Здесь нас ждут. Здесь нам рады. Мы дома.

МАЛЫЕ СЕСТРЫ ИИСУСА

Так их зовут. Их служение Христу — делать в миру малые дела. Они исповедуют Христа до начала Его проповеди, когда Он еще не был явлен миру, жил — как все: вставал на заре, ходил на работу, плотничал, возвращался вечером домой.

Помню, отец Александр Мень говорил, что если б мы могли заглянуть в приоткрытую дверь Назаретского Дома, то увидели бы усталого Человека с натруженными руками. Вот Мать подает Ему хлеб, придвигает крынку с молоком. Бог жил среди людей тридцать лет неведомо для них! Как много это должно говорить нам, как внимательны мы должны быть к людям вокруг нас и как благоговеины к нашей «серой» труженической жизни. Наше дело — не тонуть в повседневности и не бежать ее, а жить, ее преображая...

Малые сестры Иисуса это и делают.

Теперь они не спят уже две ночи, принимая и устраивая паломников, в гору на велосипедах возят в рюкзаках груды продуктов для нас. Мы поглощаем эти дивные, «европейские» продукты, эти чаны домашнего варева, а некоторые стараются захватить побольше, припрятать. Мораль заключенных социалистического лагеря.

Открывается дверь на кухню:

— А сыр есть?!

И ведь только что нам, «голодающим», целую головку настоящего, в красной корочке, нарезали! Мне стыдно и за просьбу этого парня, и за форму ее. Сестра же озаряется радостью, заботливо режет и, любовно глядя, протягивает. Я оправдываюсь невнятно: для многих-де паломничество — возможность вырваться из страны на время или навсегда, поэтому не все здесь верующие... Сестра расцветает улыбкой:

— Хорошо, это очень хорошо! Святой Отец сказал, чтоб все-все ехали, кто хочет,— это хорошо!

Я устыжена: я забыла, что Дух Святой дышит, где хочет! Начинаю привычно мыть посуду за молодежью, но с непривычным чувством радости, перекрывающей мой вечный лейтмотив «опять я не могу заняться своим делом».

Сестры говорили мне, что хотят приехать к нам в «Союз» — жить.

— Жить?! Да у нас сейчас есть нечего, у нас плохо!

— Вот и хорошо. Нам хорошо там, где плохо.

Живут в миру среди людей, как все живут. Как все! Как все НЕ живут, как все должны жить. С радостью, в Боге живут, для любых людей.

Сестра К. показала мне фотографию. Матушка Мадлен, их покойная настоятельница, мать Тереза Калькуттская и — наш отец Александр Мень. А вот еще, это похоже на икону: мать Мадлен в серебристо-голубом, а отец Александр рядом сидит. Его плотная фигура возвышается немного сзади, рука на спинке стула матушки. Голова полувисит вытанутой, будто с картины Эль Греко, не как в жизни, но глаза — его. Усталые глаза. Ему остался год жизни.

Матушка Мадлен основала общину Малых сестер Иисуса в 1939 году. Начали они свой подвиг среди диких племен Африки, которые, враждуя, снимали скальпы и убивали на каждом шагу. Сестры изучили их языки и жили одновременно в разных племенах. Просто жили вместе с людьми, зарабатывали на жизнь, делали всю работу, которую должен делать человек, чтобы жить. Своей работой и добротой к людям они свидетельствовали о бессмысленности вражды и убийств, ведь они одинаково любили и тех и других — враждующих.

Матушка Мадлен продолжила дело брата Шарля Фуко. Пережив духовное обращение, он ушел сначала в монашеский орден. Но монастырь имеет достаток, а брат Шарль хотел, как Христос в Назарете, ничего не иметь. Он поехал в Назарет, кармелитки дали ему приют. Он молился, медитировал и работал, чтоб заработать на жизнь. Но люди вокруг жаждали пищи духовной, и он стал священником. Уехал в Алжир, жил среди местных смертельно воюющих племен. И среди них — он жил, как Христос в Назарете: молитва, дружба, труд. Почти без проповеди.

— Он был добрым, как Христос,— говорила мне сестра К,— и люди думали: если этот человек так добр, то как же добр Христос! И шли ко Христу. Это было апостольство Доброты. Он молился в Алжире за Марокко, а они враждовали. На юге Алжира, в горах, его убили. Шальной пулей! При стычке враждующих племен... Это случилось 1 декабря 1916 года...

Он умер так, как хотел жить и жил.

РУССКАЯ МЕССА

Вечером тринадцатого августа сестра Х. повела нас на Русскую Мессу.

Мы стояли на пологом склоне Святой Горы, довольно близко к вытянутому вдоль крепостных монастырских стен грандиозному помосту. В центре его — величественный Алтарь под легким белоснежным навесом. Там Папа Римский Иоанн-Павел II будет служить праздничную Мессу в день Успенья Богоматери. На помосте разместились и многочисленные хоры. Напротив нас юркий человек сначала что-то говорил поющим, потом они спели несколько раз, потом он опять что-то объяснял, иногда стучал дирижерской палочкой по микрофону, прерывая пение, энергично бросал какие-то слова, — и духовный хор обваливался молодым хохотом! Наверно, репетиция была привычной частью Праздничной Мессы, потому что стоящие вокруг умело пристраивались к хору и пели.

Сгущались сумерки, и подсветка монастырских построек и храмов мягко обрисовывала средневековый город с вертикалью ступенчатой колокольни. По небу плыла одна розовая тучка. Потом загорелся золотом балдахин над центральным Алтарем, а на нем восьмерка знака бесконечности. В одном витке — голубь, Дух Святой, в другом, маленьком, — земной шар. Эмблема VII Всемирного Дня молодежи.

Стемнело. Уходящая уступами в небо колокольня резко освещена снизу. Это сделало формы ее неестественными. Для нас привычнее — свет сверху: солнце, луна. Теперь как бы темные ступени (неосвещенные крыши этажей-уступов) спускались на землю. Колокольня превратилась в повисшую над землей лестницу с неба. Пространство перевернулось: мы стояли вверх ногами, головой к тверди. Облако, видимо, тоже упало туда, в небо. Вслед за ним полетела песня многоголосой стройной молитвы. Началось.

Служба шла не в главном Алтаре, а в другом, поменьше. Он был от нас сильно удален, а я была без очков, так что мне невольно казалось, что все происходит там, откуда шел звук направленного на нас усилителя трансляции и где вообще не было никакого Алтаря. Это раздвоение как-то сливалось с новым ощущением пространства: площадь как бы имела объем и была обвита молитвенными песнями. Мощные гимны и хоралы перемежались исповедями и зовами одиноких голосов — женских, звенящих детских и приглушенных мужских. Пели чисто и верно, в высшей степени профессионально. Но это не было исполнением — пели, чтоб славить Бога:

*Maria Regina mundi . . .**

Когда замирали хоры, грудной женский голос плыл, резонируя в неведомых пространствах:

Триста лет в Иерусалиме,
Пятьсот в Царьграде . . .
Я была всемогущей владычицей на земле и на море . . .
Пятьсот лет Ясная Гора почитает Меня своей Царицей . . .

Шел «Ангелус» на польском языке. И вдруг: «Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою . . .» Это была Русская Месса, главные места и молитвы звучали и по-русски.

. . . Кто ты, молодой человек, каково твое место на земле, каковы задачи в конце второго тысячелетия христианства? . . .

. . . Мы собрались здесь, верующие многих церквей мира и неверующие, мы собрались здесь, потому что все мы — дети Божьи . . .

* «Мария. Царица мира . . .» — начало католического гимна. — А. А.

... Не надо иметь целью обратить кого-то в католичество, каждая Церковь имеет свое ценное, свое спасительное на пути к Богу...

... Открой двери своего сердца, откроются и границы государств...

Было уже совсем темно. Я подумала: «Наверно, пала роса — ноги стынут». Но все чувственное было неконкретным, будто и не мои ноги стыли, а как-то вообще, вроде: когда падет роса, стынут ноги. Меня это не касалось.

Началось Причастие. Площадь, забитая людьми, вдруг сама разрезалась от Алтаря лучами свободных проходов, и по ним шли десятки священников в светлых, разного цвета, длинных одеяниях, облатками причащая стоявших на коленях. Потом все жали друг другу руки, все — всем, и что-то говорили друг другу, улыбаясь в глаза, и я говорила: «Господь с нами!» Потом все взялись за руки и, высоко подняв их, раскачивались в такт современной молитвенной мелодии, ритмично, единым человеческим миром (миром). Не молодые и старые, не здоровые и больные, не бедные и богатые, а — любимые и любящие. И миллионами голосов звучало на земле и на небе:

Мы дети Единого Бога,
Мы дети единой Земли.

Потом, не размыкая рук, опустили их и стали пятиться, освобождая пространство перед помостом с Алтарем. Площадь оголилась. И вдруг с криком, хохотом побежали вперед, как дети в куча-малу. Сердце зашло «страхом толпы»: сейчас сомнут и раздавят! Но нико-го не смяли, не уронили и не толкнули.

НОЧЬЮ НА КУХНЕ

Ночь доносила со Святой Горы далекие звуки Мессы и близко похрустывала и всхлипывала в саду. Окно кухни светило слабо, а через щель под дверью свет падал резко, отчего трава у порога казалась черной и будто шевелилась. Ужин я пропустила. Хотелось есть. Я толкнула дверь:

— Добрый вечер, можно?

Он сидел на уголке деревянной скамьи, у печки. На вид лет семнадцати. Золотистая смуглость, черные рассыпающиеся волосы, белоснежная рубашка и джинсы. Я его еще раньше заметила, мы пару раз раскланялись. Он был красив, прекрасно сложен, из-за узких бедер похож на египетского мальчика. А двигался изгибисто, как девушка. Свое простое русское имя произнес при знакомстве на библейский лад. Этому имени не подходили темные, как стоячий омут, глаза, далеко и чуть косо поставленные над широкими скулами.

Теперь все его лицо и даже тело выражали нетерпение:

— Ну что мне делать? Что? Ну как мне быть? — на одной, какой-то истерической ноте говорил он сестре А., полной, невысокой и крепкой женщине, молча согнувшейся над огромными кастрюлями и тазами.

Я собрала со стола грязную посуду от ужина и стала мыть, боковым зрением наблюдая, как сестра А. споро обрабатывала груды свиных ножек, чистила, мыла, резала овощи — будущий обед для русских робинв-бобинов.

Господи, что за откровение для меня — эти Малые сестры Иисуса! Добровольно берут все тяготы на себя и — радуются! Чистят за нами деревянные сортиры во дворе, где на второй день — сиденья стоят на полу, а россияне «орлами» успешно превращают Европу в Совдепию. И все делают сестры ладно, с радостью, все время между ними шутки, светлый смех. Шипящие они произносят особенно, по-польски, отчет-

го их тихий разговор кажется задушевым шепотом. Впрочем, говорят они мало, не проповедуют и не обращают. Свидетельствуют: для того, чтобы иметь Божию радость, надо жить с Богом. А чтобы жить с Ним, ничего не надо иметь, просто жить с Ним.

Сестра А. взяла кастрюлю-чан в руки, с усилием, на животе подняла и поставила на плиту. Радостно, тихо засмеялась. Я чуть не прыснула: лицо ее говорило — «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

— Что мне делать? Вы поймите, я петь хочу, — продолжал он, держа в руках большую кружку, неестественно шумно все время мешая в ней ложечкой. — Почему у меня Бог голос забрал?

На фоне черной закоптелой печи исчезали прямые черные волосы и загорелое тело, только ломко двигались белые одежды.

— Вот вы, вы чем занимаетесь? — обратился он ко мне.

Я кончила мыть посуду и присаживалась к столу с пахучим «сестринским» чаем.

— Вы же устроили свою жизнь? Ага! Устроили! Каждый человек имеет свое место, вот другие же имеют? Имеют! Каждому Бог дал. А почему же у меня так? Голос был! Я же с пятнадцати лет пою. И учитель был, он меня в училище забрал. А теперь?! Чем же я хуже других?!

— Да Вы не сравнивайте себя с другими, их Господь так ведет, а Вас — так, — я глянула на сестру А., ища поддержки, — неисповедимы пути Господни. Вы, главное, не озлобляйтесь. . .

— Я-а-а?! Да я до-о-брый! Я всем все доброе делаю, я сейчас в Москве девочку одну, инвалида, не оставил. Другой на моем месте оставил бы, обязательно оставил, она же ка-ле-ка! А я не оставил, нет, я с ней ездил по ее делам, пока она устраивалась. Я добрее их всех, зачем же так, почему они вон какие сидят, а что же мне делать? Где мне жить? Сестра, вы не знаете, как мне здесь на работу устроиться? Устройте меня, ну, у себя устройте, ну, познакомьте с кем надо. Не хочу я возвращаться, мне жить негде!

— Да ты погоди бежать, себя ведь с собой не увезешь, — ответила сестра А. и, помолчав, добавила: — Не беги от родины: Господь тебе в ней родиться дал. . .

Она сказала «в ней», как — в доме, в лоне, в сердце.

— А родители у Вас есть? — поддержала я. И вдруг поняла, что его родители много моложе меня!

— Родители?! — накинулся он на меня. — Они в поселке химическом живут, за Челябинском! Что же, и мне этой химией отравляться? Там все только пьют и воруют! Я там жить не хочу! Что же мне там, гибнуть?! За что? Я же молодой. Я в Польше останусь.

— Так здесь же вкалывать надо, осилишь?

Он стал хныкать, имитируя слезы, потом действительно размазывая их под носом. Сестра А. вытерла руки, присела на табуретку:

— Тебе сколько лет?

— Двадцать пять.

— Да ты мужик какой, — она толкнула его ласково кулаком в плечо. — Во!

— Господь тебя любит, — тихо зашептала она, близко заглядывая в его глаза через свои круглые «близорукие» очки. От польских придыхательных согласных сам звук ее голоса был шептательный, задушевный, — любит! Смотри, какой ты умный, красивый. Он тебя к Себе ведет: вот ты заболел, так крестился. А раньше крестился бы? Нет! Вот как!

Она вся светилась любовью к нему.

— Пойди к нам в часовню наверх, — протянула она мне ключ, — помолись с ним. — И стала разжигать печь.

ЧАСОВНЯ

Часовня была в доме, под самой крышей. Шли по винтовой встроенной лестничке. У дверей стояло много разной обуви. Я разулась тоже, толкнула узкую невысокую дверь.

Пахло свежим, чистым деревом. Пол был похож на дощатый стол, хотелось положить на него голову. Слева вдоль узкой стены он был приподнят на ступеньку — Алтарь. Деревянный стол-козлы покрыт белоснежным платом-полотенцем, на нем — Святые Дары, Библия. Открыта. На стене Распятие. Деревянное. В углах Алтаря небольшие скульптуры Мадонны и Младенца, терракота. Почти примитив, но очищенные, округлые формы хранят затаенное движение. Это работы одной из Малых сестер. Они известны во всем мире. Я не знаю ее имени — в книгах, которые я видела, написано: рисунки выполнены одной из Малых сестер Иисуса.

Я взяла его за руку, крепко, как отец Александр, молясь со мною, и сказала мысленно: «Отец Александр, помоги мне помочь этому мальчику», и сказала вслух:

— Господи! Мы пришли к Тебе. Услышь молитву нашу. Сам молись в нас . . .

. . . Когда вышли в сад, на кухне уже не горел свет.

— Знаете, когда вы молились, у меня в пальцах такое тепло было, я даже так сделал, — он обхватил себя по-гамлетовски за плечи. — Я очень чувствительный, мне экстрасенсы говорили . . .

Я испугалась, что он сорвется опять в свою пропасть:

— Это хорошо, хорошо, но главное — что теперь у Вас внутри, в сердце.

— А Вы кто по специальности?

— Актриса.

— Ага, вот видите! Вы, значит, свое взяли?! И я свое вырву. Вот увидите, я петь буду!

Он не ждал, а как-то скрючил кулаки. В темноте по отдельности стали видны его белые зубы. Он был похож на суслика.

— Не сердитесь, простите меня, — испугалась я своего глухого темного раздражения. Казалось, я из своей жизни вижу все насквозь: подобрал заезжий эстражник-гомосексуалист, вздрючил его честолюбие, наобещал. Развратил, испортил нервную систему. Может, и колоться научил. Умер, небось, по пьянке. Теперь вот мечется этот человеческий сломанный механизм. Что ни говори ему — не услышит. Только вырвать что-то от жизни ему надо, что-то себе взять, для себя. Как же достучаться до такого?

Ночью на сеновале в сарае, под стропилами крыши, ворочалась . . . Проваливаясь в сон, ныло сердце: до него хочешь достучаться? До себя достучись! Тебе противен этот мальчик, потому что ты двадцать лет сама пыталась то вписаться, то вырваться из мира тех, кто делает теперешнее искусство. Или не помнишь, через что прошла, что пережила, прежде чем отказалась с легким сердцем, прежде чем сказала: «Возьми меня, Господи! Сам сделай, что хочешь Ты по замыслу Твоему обо мне».

— Сестра А., — разыскала я ее утром, — не укреплена я в Духе, не получается у меня помогать: пока молилась, вроде . . . а потом опять! Она потрогала крест на груди тем особенным, свойственным всем сестрам движением:

— Это его Господь испытывает, вот он и мучится. Господь избрал его. Он, может, святым будет.

Вот это да, вот это урок мне! Каждому по вере его — вот он, духовный закон человеческой жизни . . .

ЛЕОНАРДОВА НОЧЬ

Сквозь травинки и соломинки сена брезжил просвет проема — спуск в сад. Где-то там возилась с котятками кошка. Может, влезая, мы опрокинули ее блюдо с молоком? Котята ночью на мне возюкались. Костлявенькие на ощупь. Как птенцы. Мамашу их я тоже видела. Пятнистая такая, бабонька. А тот горностау у Леонардо — «мужик». Это меня еще в восьмидесятом смутило.

... Зверек «мужского полу» в руках у молодой женщины.

Красавица. Гладкие волосы уложены чепчиком под подбородком. Лоб прикрыт почти невидимым тюлем, кружевной край подчеркивает линию бровей. Тогда женщины не то что брови, волосы со лба сбривали. Или выщипывали? При герцогских дворах хватало на это времени. Лоб — высокий, посередине — темный шнурок; охватывает голову. Бусы обвивают изогнутую шею выше впадинки и вторым ожерельем спускаются по груди, чуть поднимаясь по бокам разделяющей грудной ямки. Красавица.

Но у Леонардо красота как бы не принадлежит лицу человека, а существует сама по себе. Только просвечивает сквозь материя. Только сквозит в линиях, формах и светотени.

Кто эта женщина? Какими нитями связана она со зверьком, которого держит у сердца? Какие затаенные чувства и страсти выдает ее рука, линиями напоминающая лебедя? Эти будто движущиеся пальцы готовы ласкать или подчинять? дразнить или усмирять? Лапа зверя одновременно и опирается на руку женщины, и отталкивается от нее. Меня затягивает в пространство их взаимоотношений, сколько тут тайн!.. Как эти двое, женщина и животное, выдают друг в друге звериное и человеческое!.. «роковое их слиянье, и... поединок роковой»...

Но самое притягательное в краковском портрете «Дамы с горностаем» — сокрытые в нем тайны самого Леонардо да Винчи. В его тетрадах сохранилось зеркальной тайнописью: «Ненависть сильнее любви, ибо она в состоянии ниспровергнуть ее и разрушить». Подпав под чары Леонардо тогда, в восьмидесятом, я, вернувшись в Москву, сразу же разыскала репродукцию и — ахнула! То, что лежало передо мной, было возмутительно правдоподобной ложью!

Где мгlistый воздух Леонардо? Та светотень, что называется волшебным словом *sfumato*? Где мистические тени, рожденные, как он говорил, сочетанием духовного света и плотских тел? Где от взора ускользающие сопряжения линий, их меняющиеся соотношения? Где просвечивающая сквозь кожу розовость руки, лежащей на белой шкурке с зеленоватым, как у воды, оттенком? Где нежность лба под едва видимой тенью от тюля? Где этот таинственный черный фон, не уничтоживший, а вобравший в себя все краски солнечного спектра, эта тень цвета тени?? Где все это, несказанное, что заставляет чувствовать даже ум?

Передо мной была карикатура. Труп картины. И я его похоронила у букиниста. На этом дело не кончилось. Восставшие во мне безумные луддиты требовали уничтожения всяких репродукций! Я их раздаривала, продавала и даже рвала. Не помню, что усмирило мое буйство, но я потеряла интерес к разглядыванию сбитого в кучу неживого изображения. Репродукции для тех, решила я, кто хочет знать о живописи, мне хотелось жить ею.

Я долго ждала этой встречи в Кракове, одиннадцать лет.

Тогда, в восьмидесятом, запомнилось так: темнота зала и в теплом свете электрической лампы — она.

За защитным непробиваемым стеклом. Одна в зале. Светлым живым телом в сумраке.

Теперь сквозь стеклянный фонарь в поголке проникал дневной свет, ровно освещая свежий паркет, плюшевую Санкетку в центре, какие-то картины на других стенах и посредине этой, на охристом бархате — небольшой темный прямоугольник: «LA BELE FERONIERE. LEONARD DAVINCI. 1452—1519» — в левом верхнем углу.

И вот в этом окне цвета «темной тени» — юная женщина. Не стоит — движется, уже приближается к левому краю картины, взглянула, чуть обернувшись, и... не исчезла. Не скрылась за дорогой, позолоченной, с сине-красным орнаментом, рамой своего «окна», не обрела мирной кончины вместе с другими людьми своего века. Эта женщина вечно проходит. Эта минута длится вечность, и можно, созерцая, ощутить власть над тем текучестью механического времени. Что это — власть Леонардо над ним? И над нами? Он делает меня ее соучастником?

Этот «временной фокус» в соединении с неизменно ускользающей от меня возможностью постичь, «объяснить» живописную технику, и, наконец, «предмет» картины, ощущаемый мною как тайна отношений природы и Творца, человека и природы, мужчины и женщины, — это и есть ч а р ы Леонардо?..

Людей на портретах Леонардо я всегда воспринимаю как воплощенные образы его внутренней жизни (подобно идеям Гете или Достоевского, живущим в их героях). И образы эти затягивают меня в какую-то Леонардову бездну... .

... Ее глаза меняют свое выражение, когда долго всматриваешься в них. Я сделала из кулака «подзорную трубу» так, чтобы в отверстие было видно только одно лицо, — и выражения глаз разнятся! Так же, как затаенное что-то в уголках губ... Эти выражения как бы перекрестны: передаются от левого глаза к правой стороне рта и от правого — к левой. Тайна жизни лица! Я стала то удаляться, то приближаться, отступать то вправо, то влево.

Губы тронуты каким-то движением... Оно будет улыбкой? насмешкой? Не знаю! Взгляд женщины обращен вовнутрь... Вот сейчас, сию минуту в глубине ее существа что-то созреет... Какой поступок? какая мысль? Не знаю! Ее глаза смотрят, будто слушают... Собеседника? самое себя?.. Так вызвучиваются стихи, так осознается в сердце любовь и ненависть. Я пытаюсь войти в душу этой женщины — но она ускользает, между нею и мною стоит Леонардо! Вот здесь, нет, правее, — он был левша. Вот с этого места он протягивал руку, и на холсте рождалась к жизни эта Цецилия Галерани. Черты ее внешности очищались от искажений реальной жизни в соответствии с высшей красотой, которую видел ее создатель своим внутренним взором как образ земной жизни, какой она должна быть по замыслу Бога. Тело рожденной художником Цецилии Галерани не было темницей ее души, но похоже, что душа ее была темницей.

Почему у Леонардо, который всякую форму, цвет, линию видит в их совершенном замысле, душа изображенного человека остается омутом, где не проступает, не отражается склоненный над ней Лик Бога?

Леонардо да Винчи, умеющий прозревать Творца за каждым лучом, пятнышком, точкой Его природного творения, божественный, как его звали французы, Леонардо не видел Бога в душе человека?

А если видел, почему так красиво у него то, что противостоит Богу? Почему не расколота, а так целостна и притягательна у него душа, в которой добро и зло нераздельны? Кто-то сказал, что картина Леонардо — организм. Я мучительно ищу в нем границу добра и зла, забывая, что ее надо искать в своем сердце... Какое искушение для меня Леонардова бездна!.. Искушение безграничным. Организм картины требует со-жития, побуждая меня хотеть недозволенного. Не потому ли Вазари отметил, что портреты Леонардо смущают? Как пленяет меня дерзость предположения, что Мона Лиза — автопортрет Леонардо, так

пленяет «Дама с горностаем» сокрытой в ней жизнью самого Леонардо да Винчи, его знанием тайных сил природы и человека, превращающим портрет придворной любовницы в лик онтологической женщины. Глядя в ее глаза, можно понять, почему Ева согрешила. Современники считали, что Леонардо обладал тайными и недозволенными знаниями. Есть от чего побежать мурашкам по спине... И невозможно уйти от созерцания! И невозможно войти туда, куда мне не дано и не позволено входить!

...Мог ли Леонардо да Винчи не видеть сверхъестественной природы человеческой личности?

...Была ли у Леонардо личная связь с Творцом?

...И если не запечатление Божьего образа в личности человека, то что объясняло ему природу творчества?

...О Леонардо рассказывали, что он покупал птиц, чтобы отпустить их на волю. Было ли это естественной добротой к твари? или желанием через птицу пережить бездну неба?

Отчего, Господи, так мучит меня Леонардова красота? Из-за ее чувственности и эстетизма?.. Из-за того, что человечество научилось в искусстве обретать красоту, в которой нет Тебя?

КСЕНДЗ ЕЖИ ПОПЕЛУШКО

Я одна в брезентовой палатке. Лежу в одежде и обуви на голой раскладушке. Спальник на крыше. К ночи успеет высохнуть от вчерашней росы. Я лежу головой к узкому проему входа, откуда падают на листки, что я читаю, подвижные пятна закатных лучей. Их света хватает для чтения, но я все равно не вижу. Каждую минуту заливаюсь слезами. Льет из глаз, из носа и, наверное, из ушей, потому что на брезенте под ухом — лужа. Я читаю о Ежи Попелушке. Слово к паломникам, у его могилы в Варшаве, в костеле Святого Станислава Костки. Отец Ежи служил здесь до 19 октября 1984 года, когда ночью, по дороге из костела домой — исчез.

Никто не знал, что случилось с отцом Ежи, но все знали, что он незадолго до исчезновения сказал в интервью: «Они меня убьют». «Они» — это службы польской ГБ. Ксендза Попелушко преследовали уже несколько лет. В 1984 году он был обвинен прокуратурой Варшавы в оскорблении государственной власти. К травле ксендза примкнула и пресса.

Изуродованное пытками тело отца Ежи было найдено в Висле.

Я плачу сейчас вместе с теми, кто тогда, после службы в костеле, услышал эту жуткую правду.

Солнце нагрело палатку. Меня окутывает жарким теплом. Пахнут травами по-вечернему. Мошки мельтешат в луче около деревянной крестовины моей раскладушки, у самой земли, над кустиками примятой травы...

Я плачу, Господи, от радости жить, наполняющей меня на шестом десятке, ничем не заслуженной мною радости. Я живу, а тот, тридцатисемилетний, тот... И не руки отца или матери касались страшных его мученических ран, не слезы его духовных сестер и братьев омыли кровь с его святого тела, — много дней, изуродованное, носилось оно в темных осенних водах Вислы...

ПРИЧАСТИЕ

Утром меня разбудила сестра Х.

— Нас очень много, — сказала она, — в часовне не поместимся. — И открыла низкую деревянную калитку.

Мы вошли на терраску под пергалами, увитыми зеленью с какими-то белыми цветами и ягодами. Сквозь все это солнечные лучи все-таки попадали в окна домика и, сломавшись, возвращались на терраску, сплетаясь в лучистые пятна на листьях, на лицах, на Алтаре. Он был католический, покрытый белым платом.

И священник был во всем белом. Маленький, лысоватый и седенький, он мелко переступал большими ногами и был весь такой трогательный, с тихим музыкальным, «французским» голосом. Он служил по-французски. Сестры положили на землю подстилки и опустились на колени. Они дивно спели наши молитвы на церковнославянском языке. А я этих молитв не знала на память. . .

Отпускаю сердце свое в тот тихий утренний дворик, пронизанный воздухом, теплом и светом.

Капля росы высохла на травинке. Нет, ушла паром в небо. Солнечно-тенистый дворик, зелень в красных брызгах рябины, сестры, священник, птичка с красным пятнышком — во всем было что-то райское. Сердце уже не вмещало такой полноты. Это утро было как бы на вершине горы. В Раю. И все дальнейшее я вспоминаю как естественный спуск. . . Даже приезд Папы? . . . Да. . . Даже его.

Как избегала я этого сюжета в воспоминаниях! По логике — к встрече с Папой должно быть стянуто все, о чем я писала. Мы пошли в паломничество к Матке Боске Ченстоховске и там, у Святыни, должны были встретиться с Папой Римским Иоанном-Павлом II.

Но его-то я и не видела.

Получилось так.

Папа прилетел 14 августа, днем.

Уже в полдень движение на центральной улице остановилось. Люди сидели тесно друг к другу по всей Аллее Пресвятой Девы Марии. Цепи полицейских изредка раздвигали их непонятно какими усилиями, чтобы дать возможность автобусу или машине пересечь улицу.

Все утро мы «поглощали» город. Он, конечно, малютка, но торговый пир в дни паломничеств — огромен. На заработанные в эти дни деньги жители существуют весь оставшийся год. Теперь, сделав огромный круг, нам пришлось долго пробираться к Малым сестрам, за Гору, по окраинным улицам. Здесь тоже повсюду стояли, сидели и лежали люди.

Вечером Папа обратился к паломникам, а утром 15 августа, в день Успенья Божьей Матери по старому стилю, служил Мессу.

Передо мной пропуск на Ясную Гору в сектор В — место, предназначенное для нас, впервые выпущенных из тюремных границ Союза в паломничество. Остальных попросили не занимать эту открытую долину, уступив нам возможность видеть Святого Отца, творящего Таинство Евхаристии.

Мы с подружкой решили, что двинемся часа за четыре. Какими мы оказались наивными! Долина была заполнена — накануне!

Мы протискиваемся, проникаем, перелезаем, перебегаем — и все почему-то дальше и дальше от желанного места! С нами вместе пять монахов из Франции, а кругом тысячи таких, как мы, — с пропусками, но — о п о з д а в ш и х!

В девять началась Литургия. Из репродукторов изливаются со всех сторон звуки Мессы. Иногда они накладываются один на другой, так что начинается казаться, что богослужения идут одновременно повсюду, сливаясь там, у невидимого нам Алтаря, в единое Литургическое действо. . .

Утром шестнадцатого была еще одна, импровизированная встреча Папы — только с нами, приехавшими из Союза.

Но на нее я тоже не попала. . .

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Стучат колеса. Чудо, как хорошо. Как хорошо свободной от платка голове лежать на подушке! Как хорошо мне на верхней полке! И даже сердце холодит, как в юности.

Стучат колеса. В глазах — цветные картинки. Детство напоминает. Находишься за грибами, а они потом спать не дают, все их срываешь, срываешь. . .

Вот женщина, молодая, везет коляску сидячую. В коляске — ухоженный мальчик лет десяти; на правой загорелой ноге — от колена торчит кисть руки. И мальчик, и мать радостны. . . Тем, кто берет на себя грехи мира, Ты даешь Свою радость, Господи?

Я уже совсем засыпаю, когда вдруг вижу тех оболтусов, что привязали к подожвам консервные банки и, смятая их своим атлетическим весом, оглушают ночной город жестяными скрежещущими взрывами и гоготом. Во всех странах дурачье акселерированное одинаково!

Еще картинка.

— Святой отец летит! — слышу я голоса Малых сестер Иисуса. Они стоят, заслоняя глаза от солнца, и машут, как дети, в небо: «Святой отец летит!» В небе вертолет светится. И еще три зеленых — полицейские. И вдруг я ясно-преясно вижу лицо Папы, каким оно было тогда, когда он был еще Кароль Войтыла, играл на сцене и писал пьесы для театра. Какие у него глаза. . . Смотрят прямо на меня.

И последняя картинка: автомобиль Папы Римского (его провезли мимо нас пустым). Крыши нет, а там, где в обычном авто — сиденья, высокий стеклянный саркофаг. Стекло, наверное, пуленепробиваемое. Эти люди научились охранять своих святых. Не то, что мы. . . Теперь вот таскают на допросы, ищут среди нас тех, кто убил отца Александра Меня. Материал собирают, а не убийц ищут. Боятся его и после смерти. Знают, что Господь на крови мучеников в Риме повелел Петру церковь Свою создать. . .

Мы вернулись в Москву 19 августа. По городу шли танки. Среди защитников Белого дома были и наши наломники. Многие приезжали прямо с вокзала и раскрывали на площади палатки, еще влажные от польских ночей. Паломничество кончилось. Но шло время, и я поняла: оно длится. И пусть последними словами тому, кто решился идти со мной, будут слова Святого Ионна Лествичника:

«Не устрашайся, хотя бы ты падал каждый день, и не отходи от путей Божьих, стой мужественно, и Ангел, тебя охраняющий, почтит твое терпение».

Эти слова я говорю и себе.

*Рождество Пресвятой Богородицы
Сентябрь, 1992, Москва*

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. П. Кузичева

«ВАШ А. ЧЕХОВ»*

(Мелиховская хроника. 1895—1898)

Глава 4

ОКТАБРЬ, 17—19

Премьера «Чайки» еще при жизни Чехова стала хрестоматийным примером провала. Об этом ему напоминали простодушные зрители, объясняясь в любви к мхатовским спектаклям. Исследователи и биографы Чехова уже сто лет, каждый на свой вкус и разумение, называют причину этого события. Одни с гневом пишут о публике, собравшейся на бенефис своей любимицы, комической актрисы Левкеевой, в ожидании веселого представления. Другие упирают на вину Александринского театра, на режиссера Е. П. Карпова и актеров, отнесшихся к «Чайке» как к пьесе господствующего репертуара и не способных старыми приемами передать содержание новой драматургии. Раздавались обвинения в адрес недоброжелателей Чехова, как бы столкнувших первый камень, который увлек за собой всю громаду.

Все догадки, предположения и рассуждения имеют какой-то смысл для современников или для потомков. Автор, наверно, все воспринимал иначе. Что творилось в душе Чехова, осталось неизвестно. Единственное, что можно восстановить, это отдельные моменты общей картины. По сохранившимся дневниковым записям, письмам и мемуарам.

Потапенко, которого не было на премьере, так как он знал, что в Петербург придет Л. С. Мизинова, определил поклонников Левкеевой так: «Купцы, приказчики, гостинодворцы, офицеры (...) Широкою интеллигентную аудиторию, которая уже была у Чехова, бенефисные цены заставили отложить наслаждение до следующих спектаклей».

М. П. Чехова, сидевшая в суворинской ложе, увидела расфранченную, холодную петербургскую публику премьерного спектакля.

Л. А. Авилова запомнила, что театр был переполнен: «Очень много знакомых лиц. Мое место было в амфитеатре с правого края, около двери, и на такой высоте, что я могла подавать руку, здороваться со знакомыми и слышать все разговоры проходящих и стоявших у дверей. Мне казалось, что все, как и я, возбуждены, заинтересованы».

Самое подробное описание оставила Е. М. Шаврова-Юст: «Была обычная картина бенефисного спектакля: битком набитый зал, нарядная публика; вся пресса, все критики, литераторы, драматурги и жур-

* Продолжение. Начало см. «Согласие», № 6—7, 8—9, 10—11, 12, 1992

налисты были здесь. В театре было много артистов драмы, оперы и балета, участвовавших в чествовании бенефициантки, и много шумной молодежи на галерке».

Таким образом, роковая роль гостинодворской публики в судьбе первого представления «Чайки» преувеличена. В зале был, говоря словами театральных рецензентов тех лет, «весь Петербург».

Поднялся занавес. Декорации, судя по воспоминаниям, были довольно тусклыми. И вот первая реплика учителя Медведенко: «Отчего Вы всегда ходите в черном?» И ответ Маши: «Это траур по моей жизни. Я несчастна».

Актеры все-таки не выучили как следует ролей и, говоря в публику, прислушивались к суфлеру. Разговоры на сцене о скуке деревенской жизни, о рутине театра кому-то в зале показались скучными. К тому же и велись они вялыми голосами. Кто-то кашлянул первым, прокашлялся другой. В одном месте обменялись вполголоса впечатлениями, в другом перекинулись словечком. И. Л. Леонтьев (Щеглов) услышал, как кто-то из зрителей спросил, едва на сцене, где изображали закат солнца, стало чуть темнее: «Почему это вдруг стало темно? Как это нелепо!» Однако пока еще все шло в рамках приличия. Но только до монолога Заречной: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом,— словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли...»

Раздался смех. Очнувшаяся от своих мыслей Авилова услышала какое-то возмущение, пролетевшее по рядам, смешки, реплики.

В. Ф. Комиссаржевская, естественно, услышала все это тоже. Она возвысила голос. Говорит искренно, нервно: «Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно».

И новая фраза: «Пусто, пусто, пусто». Наконец, третий повтор: «Страшно, страшно, страшно».

В паузу врывается чей-то злой шепот из зала. Но Комиссаржевская продолжает еще взволнованнее: «Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну».

Зал на короткое время замер и слушал: «Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь».

И тут первая реплика Аркадиной (А. М. Дюжикова): «Это что-то декадентское» — вызвала взрыв почти радостного смеха в зале. Смеялись те, кому все сказанное тоже показалось декадентским. Толстый статский советник, сидевший рядом с Шавровой-Юст, говорил соседке солидным голосом: «Черт знает что за пьесы дают теперь и пишут! Чепуха какая-то! Декаденщина! Ничего не разберешь». Словечко перепархивало по залу, пока Комиссаржевская заканчивала монолог: «Я одинока <...> Как пленник <...> Но это будет <...> А до тех пор ужас, ужас...»

Зал слышал отдельные слова. Новая реплика Аркадиной: «Серой пахнет. Это так нужно?» — вызывает уже громовой хохот. Перед Шавровой-Юст сидел критик из «Нового времени» Конради. Она помнит, как он, «повернувшись спиной к сцене, делал кому-то телеграфические знаки в глубину театрального зала и зловеще покачивал своей остроконечной головкой, похожей на печеную луковку...»

Может быть, он не был так зловещ и несимпатичен, как показа-

лось расстроенной «ученице» Чехова, но мнение театральных критиков уже начало складываться, и явно не в пользу автора. Где был в это время Чехов?

Он вышел из суворинской ложи и подошел к Юрьеву, который смотрел спектакль из прохода между партером и местами за креслами. Встал рядом и тихо спросил: «Скажите, что происходит? Неужели так безобразно то, что я написал?»

Ссора, разгоравшаяся на сцене между матерью и сыном, как будто вызывала, подталкивала скандал в зрительном зале. К первому антракту он вполне созрел.

Публика стала выходить в фойе, и Авилова слышала возмущенные, негодующие фразы: «Символистика»... «Писал бы свои мелкие рассказы»... «Зазнался, распустился»...

Перед нею остановился И. И. Ясинский: «Как Вам понравилось? Ведь это черт знает что! Ведь это позор, безобразие...» Его кто-то отвел.

Многие проходили с тонкой улыбкой на губах, другие разводили руками или качали головой. Всюду слышалось: «Чехов... Чехов...»

П. Д. Боборыкин, известный писатель тех лет, был в полном изумлении: «В коридоре я встретился с несколькими знакомыми и даже приятелями Чехова. Уже после первого акта они были в недоумении. Как им посмотреть на эту вещь (...). Публика вокруг меня в креслах смеялась, фыркала или шикала. Ничего подобного я не видел никогда в России, ни в столицах, ни в провинции — в течение целого полувека».

Начался второй акт. А. И. Суворина замечает, что Чехов находится в ложе, расположенной как раз напротив. Зал чуть-чуть угомонился, но ищет любого повода, чтобы засмеяться или зашикать вновь. Костя Треплев (Р. Б. Аполлонский) кладет у ног Нины Заречной убитую им чайку и произносит: «Скоро таким же образом я убью самого себя». Кто-то рядом с Леонтьевым (Щегловым) недоволен: «Отчего это Аполлонский все носится с какой-то дохлой уткой? Экая дичь, в самом деле!..»

Чехов опять выходит из ложи и оказывается за кулисами. Его видят в уборной у Левкеевой. Она сегодня играет в водевиле «Счастливым днем», который пойдет после «Чайки». О том, что было здесь, Чехов рассказал сам в дневниковой записи: «К ней в антрактах приходили театральные чиновники в вицмундирах, с орденами, Погожев со звездой; приходил молодой красивый чиновник, служащий в департаменте государственной полиции. Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником. Сколько людей таким образом паразитирует около науки, театра и живописи, надев вицмундиры! То же самое, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому больше ничего не остается, как стать чиновником».

Чехов внимательно смотрит на гостей, запоминает невольно выражение глаз, интонации голоса: «Толстые актрисы, бывшие в уборной, держались с чиновниками добродушно-почтительно и льстиво (Левкеева изъясляла удовольствие, что Погожев такой молодой, а уже имеет звезду) (...).»

Как же ей было не льстить самому управляющему делами Дирекции Императорских театров. И Чехов закончил запись сравнением и выводом: «Это были старые, почтенные экономки, крепостные, к которым пришли господа».

Сюда, в уборную Левкеевой, навряд ли доносился шум из фойе, куда хлынула публика после второго акта. А. С. Суворин встречается в коридоре театра с Д. С. Мережковским. Тот стал говорить, что пьеса «не умна, ибо первое качество ума — ясность». Суворин дает понять,

что у его собеседника «этой ясности никогда не было», и вечером записывает этот разговор в свой дневник. Осталась запись и в дневнике Н. А. Лейкина: «Рецензенты с каким-то злорадством ходили по коридорам и буфету и восклицали: «Падение таланта», «Исписался».

И. Л. Леонтьев (Щеглов) сталкивается в проходе между креслами с театральным чиновником, может быть, как раз с Погожевым:

«— Помилуйте,— говорю я ему,— разве можно такие тонкие пьесы играть так возмутительно неряшливо?»

Театральный генерал презрительно фыркает.

— Так, по-вашему, это «пьеса»? Поздравляю! А по-моему, это — форменная чепуха!

Прохожу в буфет и встречаю там знакомого полковника, большого театрала. Вот, думаю, с кем отведу душу. . .

— Ну, и отличился же сегодня Саонов! — негодую я. — Вместо литератора Тригорина играет доброй памяти Андрюшу Белугина? . .

Но миролюбивый полковник раздраженно на меня набрасывается:

— Да-с, и надо в ножки ему поклониться, что еще «играет!». Удивляюсь на дирекцию — как можно ставить на сцене такую галиматью! . .

Возвращаюсь в партер, удрученный до последней степени».

Третий акт сопровождается настороженным вниманием. Актеры, уже осознавшие провал, словно подыгрывают раздраженному залу и начинают комиковать, грубо подчеркивать голосом какие-то слова, прибегают к банальным приемам. Когда Костя вышел в повязке, зрители развеселились вновь. И уже не остановились до конца. Они вызывали автора и актеров. Не для похвал дружными аплодисментами, а чтобы порезвиться шиканьем, выкриками, насладиться шумом. Голоса тех, кому эта забава казалась несправедливой, недостойной театра, пропадали в общем гаме.

Чехов не слышал этого. Он вышел из суворинской ложи до окончания предпоследнего действия и зашел в кабинет к режиссеру. Но был ли он бледен, как вспоминал Е. П. Карпов, действительно ли у него на лице застыла растерянная улыбка и взаправду ли он сказал «не своим голосом»: «Автор провалился. . .» — сказать трудно. Карпов писал воспоминания, когда Чехова не было на свете, а успех мхатовских спектаклей сам по себе был ему укором, поэтому первый постановщик «Чайки» невольно искал оправдания и винил во многом публику, а в подтексте своих воспоминаний и самого автора.

Сколько времени еще Чехов пробыл в театре, неясно. Его заметил на секунду в темноте кулис Карпов. Потом уже не видел никто.

А пьеса шла к концу. Комиссаржевская ведет последнюю сцену — свидание и прощание с Костей — искренно. Но опять режиссерский промах. Восстанавливая мизансцену первого акта, актриса, читая начало монолога: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы. . .», стягивает простыню с постели и опять накидывает на себя как тогу.

Это уже однажды рассмешило зрителей, теперь они снова хохочут. А когда, как вспоминает Шаврова-Юст, за сценой раздался выстрел и «вышедший посмотреть, в чем дело, доктор заявил, вернувшись, что это в его походной аптеке лопнула склянка с эфиром, то в театре положительно стоял гул и рев хохота, громких насмешек и шиканья, под который не было даже слышно заключительных слов пьесы. (. . .) Кругом смеялись, острили и, по-видимому, всем этим людям было очень весело. . .»

Ушел, «точно в дурмане», Леонтьев (Щеглов). Уехала расстроенная Шаврова-Юст. Авилова подошла к вешалкам и услышала разговор:

«— Слышали? Сбежал! Говорят, прямо на вокзал, в Москву.

— Во фраке?! Приготовился выходить на вызовы! Ха, ха...

Но я слышала тоже, как одна дама сказала своему спутнику:

— Ужасно жаль! Такой симпатичный, талантливый... И ведь он еще так молод... Ведь он еще очень молод».

Наверно, при успехе пьесы кто-то сказал бы так о Косте Треплеве. Сейчас пожалели Чехова. Он не слышал этих редких сочувствий, не знал, что вернувшийся домой Лейкин записал: «Пьеса успеха не имела, завтра, пожалуй, раззвонят во всех газетах, что пьеса провалилась <...> По-моему, в том, что дал для сцены Чехов, нет пьесы, но есть совершенно новые типы и характеры <...> Друзья Чехова ушли из театра опечаленные. Мне самому было жалко его за неуспех...»

С. И. Смирнова-Сазонова оставила такую гневную запись: «Неслыханный провал «Чайки». Пьесу ошिकाми, ни разу не вызвав автора <...> Одного из лучших наших беллетристов, Чехова, освистали, как последнюю бездарность <...> Ума, таланта публики в этой пьесе не разглядела <...> Он слишком талантлив и оригинален, чтобы тягаться с бездарностями».

В этой записи есть одна оговорка, очень важная для уяснения душевного состояния Чехова. Негодуя на публику, признавая талант Чехова, Смирнова-Сазонова называет его пусть одним из лучших, но беллетристом. То есть не понимает, что в этот вечер на сцене Александринского театра произошло событие.

Ошиканная, освистанная невеждами, злопыхателями, непонятая большинством зрителей, неугаданная по сути даже доброжелателями и профессионалами, началась новая эпоха в истории мирового театра.

Все потом встанет на свое место. Утверждение, что драма двадцатого века вышла из чеховской «Чайки», станет общепризнанным, несомненным. Ее новизну вскоре признают современники Чехова и более не усомнятся в этом.

В тот октябрьский вечер сомнение закралось в душу Чехова. И это было страшнее театрального скандала и разочарования в людях.

Чехов вышел из театра один, до окончания спектакля. Может быть, мимолетно подумал, что его будут искать Суворины, с которыми угваривались заехать в магазин Романова выпить по бокалу вина. Конечно, предполагал, что обеспокоятся брат и сестра. Ал. П. Чехов действительно кинулся искать Чехова. Но не нашел и послал записку на квартиру: «Это чудная, превосходная пьеса, полная глубокой психологии, обдуманная и хватающая за сердце». В это же время М. П. Чехова вернулась в гостиницу с Ликой. Подавленные, они сидели в гостиничном номере и ждали Чехова к ужину. Так уговорились утром.

За полночь позвонил старший брат. Узнав, что Чехова у Сувориных нет, сестра поехала к ним сама, чтобы дождаться его. Она сообразила, что в гостиницу так поздно он уже не придет. Чехова не было и там.

Чехов бродил по городу и думал. В такие минуты он всегда искал одиночества. Отвечать, объяснять, все прокручивать снова и снова и выслушивать чужие объяснения он не любил.

В одиночестве он поужинал у Романова, в трактире на Обводном канале. Потом опять бродил. О чем он думал, он не рассказал никому. Только почти через месяц чуть-чуть приоткроет Анатолию Федоровичу Кони. Видимо, потому, что этот образованнейший человек, обладавший вкусом и чутьем к слову, к искусству, едва ли не первый оценит именно новизну «Чайки», полную и безусловную. Он напишет ему, назвав себя «одним из публики» и «профаном в литературе и драматическом искусстве», что «Чайка» — «произведение, выходящее из ряда по своему замыслу, по новизне мыслей <...> Это сама жизнь на сцене, с ее трагическими союзами, красноречивым бездумьем и молчаливыми страданиями, жизнь обыденная, всем доступная и почти никем не понимае-

мая в ее внутренней жестокой иронии, жизнь до того доступная и близкая нам, что подчас забываешь, что сидишь в театре, и способен сам принять участие в происходящей перед тобою беседе».

Ему Чехов и рассказал коротко, о чем он думал той ночью: «Я думал, что если я написал и поставил пьесу, изобилующую, очевидно, чудовищными недостатками, то я утерял всякую чуткость, и что, значит, моя машинка испортилась вконец». Вот в чем дело.

Не в скандале, не в позоре, хотя к ним он был необычайно чувствителен. Но в мысли, что пьеса, к которой он шел всю жизнь и в которой мужественно порвал со всеми «правилами», не удалась. Он засомневался в своем творческом «барометре». А для Чехова это была настоящая трагедия. И как ни странно, как ни маловероятно, но, кажется, более серьезная и страшная, чем его болезнь.

Ночью Чехов вернулся в суворинский дом. Суворин спросил, где он был. Чехов ответил, что ходил по улицам, сидел. А потом сказал, по словам Суворина: «Если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Будет. В этой области мне неудача». Узнав, что сестра здесь, Чехов все-таки не вышел и к ней, просто попросил успокоить ее, что с ним все в порядке.

Суворин ушел к себе. Ночью он переделал уже написанную им для «Нового времени» заметку о премьере «Чайки». Наверное, вносил изменения (а он был уверен в полном успехе) и вспоминал безмолвное раздражение, нетерпение, с каким Чехов только что выслушал его впечатление от спектакля и соображения, что в Москве пьесу поймут лучше.

Ложился ли Чехов спать в эту ночь? Потапенко пришел к нему в десять утра. Чемодан был уже собран, а Чехов писал письма. Одно Суворину: «Печатание пьес приостановите. Вчерашнего вечера я никогда не забуду, но все же спал я хорошо и уезжаю в весьма сносном настроении (<...> Никогда я не буду ни писать пьес, ни ставить». Другое письмо сестре: «Я уезжаю в Мелихово; буду там завтра во втором часу дня. Вчерашнее происшествие не поразило и не очень огорчило меня, потому что я уже был подготовлен к нему репетициями, — и чувствую я себя не особенно скверно».

Когда приедешь в Мелихово, привези с собой Лику. Твой А. Чехов».

И наконец, еще одно — младшему брату: «Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо».

Отсюда мораль: не следует писать пьес.

Тем не менее все-таки я жив, здоров и пребываю в благоутробии. Ваш папаша А. Чехов».

По их краткости можно подумать, что это записки. По встающему за словами настроению это, конечно, письма. Только, может быть, одни из самых лапидарных в его эпистолярном наследии.

Письма Чехов отдал швейцару и, ни с кем не простившись из обитателей суворинского дома, уехал на извозчике на Николаевский вокзал. Потапенко проводил Чехова до купе, подождал, пока поезд тронулся. В последние минуты, так ему запомнилось, Чехов шутил, посмеивался над собой, но в последнее мгновение, уже стоя на площадке вагона, опять сказал: «Кончено. Больше пьес писать не буду. Не моего ума дело».

Вослед ему через несколько часов полетит телеграмма Суворина с просьбой вернуть и подготовить «Чайку» ко второму представлению. Потом Суворин отправится к Карпову обговорить изменения в спектакле. Уже некоторые первые зрители отправили Чехову письма. В полночь уедут домой М. П. Чехова и Л. С. Мизинова. А он ехал в пустом купе и снова думал, думал. Петербург все более удалялся от

него, хотя там, в столице, наверно, никогда имя Чехова не повторялось так часто.

Лейкин оказался прав в своем пророчестве. Все газеты, кроме «Нового времени», напечатали первые отклики на вчерашнее событие. И. И. Ясинский заявил в «Биржевых ведомостях»: «Это не чайка, просто дичь».

Многим современникам почему-то на премьере запомнилось поведение именно И. И. Ясинского, какое-то особенное недоброжелательство и даже злорадное ликование этого человека.

Его имя появилось в письмах Чехова еще в 1886 году. Чехов хвалил некоторые рассказы Ясинского. Любопытно, что замечание в адрес этого литератора по-своему проливает свет на один факт в жизни Чехова.

Дело в том, что Буренин отчаянно ругал Ясинского на страницах «Нового времени». Чехов сравнит это с издевательством кошки над мышью. А Ясинский искал сближения с Бурениным, что Чехов расценил однозначно: «Своим появлением в «Новом времени» он плюнул себе в лицо». Чехов опубликовал последнее свое произведение в суворинской газете в 1892 году. В декабре. Рассказ «Страх». К этому времени Буренин сделал все, чтобы приручить Чехова, а на самом деле, чего он не мог понять, чтобы оттолкнуть его. В 1890 году он скажет, что только благодаря ему, Буренину, на Чехова обратила внимание критика, хотя талант Чехова, по его мнению, не развивается. Через несколько недель Буренин еще раз намекнет в «Новом времени», что даже посредственность он может вывести в таланты, а талант низвести до посредственности в глазах читателей. Упомянет он здесь и Чехова.

Таким образом, среди причин прекратившегося сотрудничества Чехова с самой влиятельной газетой можно подразумевать и эту. С тех пор Буренин уже не обещал Чехову будущего, а то и дело нападал. Но не так рьяно, как, например, на Надсона, на которого он клеветал и которого затравил до смертельной болезни. Надсона после очередного буренинского фельетона разбил паралич. Он уже был болен, а новременский критик обвинил поэта в лицемерии, в том, что будто бы притворяется большим и живет за счет жалости.

Чехова он так не преследовал, зная нрав своего хозяина. Однако «подкусывал», как бы давая понять, что, разладясь добрые отношения Чехова и Суворина, уж он спуска не даст.

Сближение Ясинского с Бурениным можно объяснить, в том числе, и судьбой затравленного поэта. Но Чехова не устраивала даже тень такого сближения, даже косвенный намек, даже невольное сопоставление. В той злополучной заметке «Русской мысли», в мартовской книжке за 1890 год, на которую Чехов ответил письмом В. М. Лаврову и разрывом отношений, как раз и было такое сопряжение. Именно строку: «Еще вчера даже жрецы беспринципного писания, как гг. Ясинский и Чехов, имена которых» — Чехов счел оскорбительной. . .

Навряд ли Леонтьев (Щеглов) передал Чехову выпад Ясинского, сказавшего о Чехове, что он «суворинская содержанка». Занеся эти слова в свой дневник, он прокомментировал их: «И вся эта сплетня, разумеется, из зависти к его слепому успеху». Сам Леонтьев (Щеглов) поймет вскоре, что успех Чехова не «слепой».

Запись Леонтьева (Щеглова) помечена 15 марта 1892 года. К этому дню Ясинский мог получить письмо Чехова от 12 марта 1892 года с благодарностью за книги, за лестный отзыв в журнале «Труд», где Ясинский обещал Чехову «блестящую литературную будущность». Еще в письме Чехов рассказывал, что купил имение в Мелихове. Но купил в долг, и теперь сидит вообще без денег: «Меня теперь одолевают целые тучи плотников, столяров, печников, лошадей, алчущих овса,

а у меня, как говорят хохлы, денег — черт ма! Крохи, оставшиеся после покупки, все до единой ушли в ту бездонную прорву, которая называется первым обзаведением».

Чехов не просил у Ясинского взаймы. Он просил Ясинского, по просьбе которого написал рассказ «В ссылке» для «Всемирной иллюстрации», сказать в редакции, чтобы ему выслали аванс. Рассказ отправил он в этот день. Ждал, как договорились с самого начала, гонорар из расчета 20 копеек за строчку. То есть рублей 100: «Я бы не беспокоил Вас и, вообще говоря, авансов не люблю, но если бы Вы знали! Ах, если бы Вы знали! <...> Простите, что я беспокою Вас поручением. Если Вы найдете его неудобным, то пренебрегите им <...> Ваш А. Чехов».

Он не подозревал, подписываясь под письмом, что через несколько дней получит из Петербурга письмо, которое ввергнет его в клевету, в сплетню, и будет связана она с Ясинским. Если бы Леонтьев (Щеглов) передал Чехову разговор в редакции «Нового времени», то Чехов наверняка не обратился бы к Ясинскому ни с какой просьбой, а, получив злополучное письмо Авиловой, сразу бы понял, кто автор клеветы.

Авилова подробно рассказала об этой истории в своих воспоминаниях. Как ревнивый муж устроил ей скандал, передав сплетню о Чехове и о ней, как она догадалась, а потом это подтвердил и муж, что пустил грязный слух Ясинский, как она переживала и т. д. Но зачем-то, уже все зная, написала Чехову. Он ответил письмом, заставляющим серьезно усомниться в ответном чувстве Чехова к Авиловой, будто бы возникшем и начавшем разгораться как раз в это время.

Он писал 19 марта 1892 года: «Ваше письмо огорчило меня и поставило в тупик <...> Что сей сон значит? Я и грязь... Мое достоинство не позволяет мне оправдываться; к тому же обвинения Ваши слишком неясны, чтобы в них можно было разглядеть пункты для самозащиты. Насколько могу понять, дело идет о чьей-нибудь сплетне. Так, что ли? Убедительно прошу Вас (если Вы доверяете мне не меньше, чем сплетникам), не верьте всему тому дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге. Или же, если нельзя не верить, то уж верьте всему, не в розницу, а оптом: и моей женитьбе на пяти миллионах, и моим романам с женами моих лучших друзей и т. п.»

А далее, не зная, кто автор сплетни, Чехов адресует Авилкову именно к Ясинскому: «Помню, оба мы, я и он, долго говорили о том, какие хорошие люди Вы и Ваша сестра... Мы оба были в юбилейном подпитии, но если бы я был пьян как сапожник или сошел с ума, то и тогда бы не унился до «этого духа» и «грязи» (поднялась же у Вас рука начертать это словечко!), будучи удержан привычною порядочностью и привязанностью к матери, сестре и вообще к женщине».

Ничего не подозревавший Чехов в апреле 1892 года пригласил Ясинского в Мелихово, зовет его «добрейший». А если он и догадывался, что Ясинский исповедует нравы столичного литературно-артистического круга, то не хотел, видимо, ставить это во главу угла в оценке петербургского знакомца.

Он исходил из другого. Когда «Всемирная иллюстрация» так и не выслала ему аванс, но зато опубликовала анонс, сделанный издателем Э. Д. Гоппе, что в ближайшем номере «появится новое произведение нашего высокоталантливого беллетриста Антона Павловича Чехова», то Чехов написал редактору П. В. Быкову, что был неприятно удивлен этим пассажем: «Это похоже на рекламу зубного врача или массажистки и во всяком случае неинтеллигентно. Я знаю цену рекламе и не против нее, но для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую лучшую и верную рекламу. Вообще во «Всемирной иллюстрации» мне не повезло: просил аванса, а меня угостили анонсом. Не прислали аванса — и Бог

с ним, но репутацию мою нужно было бы пощадить. Извините, что это мое первое письмо к Вам брюзжит и наводит скуку».

Чехов все еще хотел сохранить добропорядочные отношения в «артели», о которой говорил давно. Затеял «беллетристические обеды» в Петербурге. Отмечал каждый успех своих товарищей. И Ясинского тоже. Рекомендовал его Суворину воскресным фельетонистом, хвалил и ставил в 1894 году уже выше своего приятеля Леонтьева (Щеглова), завывая явно мастерство автора.

То, что вдруг открылось ему на премьере «Чайки», потрясло Чехова. Он не сможет забыть этого и скажет спустя два месяца, как будто все произошло вчера: «17-го октября не имела успеха не пьеса, а моя личность. Меня еще во время первого акта поразило одно обстоятельство, а именно: те, с кем я до 17-го окт(ября) дружески и приятельски открывенничал, беспечно обедал, за кого ломал копыя (как, например, Ясинский), — все эти имели странное выражение, ужасно странное. . . < . . . > Я теперь покоен, настроение у меня обычное, но все же я не могу забыть того, что было, как не мог бы забыть, если бы, например, меня ударили».

«Петербургский листок» писал 18 октября, что от всего на сцене «веяло отчаянной скукой, фальшью, незнанием жизни и людей». «Новости и Биржевая газета» в анонимной заметке писали, что можно порадоваться на единодушное шиканье публики: «Шутить с публикой или поучать ее нелепостями опасно». А. Р. Кугель делился в «Петербургской газете» своим «удручающим впечатлением» и нашел во всех персонажах «Чайки» «декадентскую усталость жизни».

На следующий день, 19 октября, газетный хор усилился. «Новости и Биржевая газета» осмелели и назвали «Чайку» «просто дикой пьесой», в которой «все первобытно, примитивно, уродливо и нелепо». «Петербургский листок» назвал пьесу «вздором» и тоже «дикой». «Сын отечества» дважды повторяет слово «дикое». Удивительно ли на фоне таких эпитетов прочесть приговор Кугеля в «Петербургской газете», что «Чехов едва ли знает, к чему он все рассказывает».

Правда, в этой же газете 20 октября Авилова защищает Чехова: «Говорят, что «Чайка» не пьеса. В таком случае посмотрите на сцене «не пьесу!» Пьес так много».

Более весома, хотя тоже по преимуществу эмоционально, не анализируя «Чайку» подробно, выступает в «Новом времени» Суворин: «Сегодня день торжества многих журналистов и литераторов. Не имела успеха комедия самого даровитого русского писателя < . . . > О, сочинители и судьи! Кто вы? Какие ваши имена и ваши заслуги? По-моему, Ан. Чехов может спать спокойно и работать < . . . >. Он останется в русской литературе с своим ярким талантом, а они пожужжат, пожужжат и исчезнут < . . . > За свои 30 лет посещения театров в качестве рецензента я столько видел успехов ничтожностей, что неуспех пьесы даровитой меня несколько не поразил».

Однако объяснять этот неуспех опытный театрал Суворин почему-то не стал. Зато неизвестная зрительница, судя по всему видевшая первое представление «Чайки» и подписавшаяся «одна из публики», написала Чехову то, чего не сказал ни один театральный рецензент. Ни тогда, зимою 1895 года, когда «Чайку» прочли в гостиной Яворской, ни в гостиной у Суворина в 1896 году. Она писала: «Все Ваше несчастье в том, что Вы ушли в этом произведении далеко вперед нашей пошлой толпы, а такой дерзости она никогда не прощает».

Самочувствие Чехова выдает маленькое событие: он забыл в вагоне вещи и из Лопасни дал телеграмму в Лаптево, чтобы нашли и вернули узел в одеяле.

(Продолжение следует)

Вот самый «обидный для эстонцев» эпизод из повести Вийви Луйк «Красота истории» (опубликовано в «Новом мире», 1992, № 6).

Приезжает гость. Обращается на «вы». Извлекает из глубин памяти слово «Эстония». Никак не может ничего припомнить, кроме поблекшей иллюстрации из Брокгауза и Ефрона.

На иллюстрации мужчины в шапках-ушанках и женщины с корзинами. Женщины в больших платках и полосатых юбках, из-под юбок видны толстые, враскорячку, ноги, а глаза у женщин голубые, как летние цветы. *«Крестьяне (в том числе мызная обслуга и различные ремесленники) в Эстонской и Лифляндской губерниях. Духовная жизнь небогата».*

На основании этих воспоминаний гость полагает, что эстонцы все еще освещают свои жилища лучиной и шьют одежду из овечьей шкуры. Оглядевшись, он облегченно вздыхает, не увидев ни корзины, ни шапок-ушанок, ни платков, ни лучины.

Неплохо? Но погодите вскакивать, не спешите протестовать, не листайте Брокгауза и Ефрона в поисках аналогичного этнографического очерка о русских, где их деревенский быт был бы описан с такою же дикой непосредственностью.

Во-первых, гость в Эстонию пожаловал не из России. Он из Швейцарии. Так что мы в этих мыслях на сей раз, слава Богу, не повинны.

Во-вторых, никакой враждебности в намерениях гостя нет, и автор это знает. Его сын, еврей, живущий в СССР (так это тогда еще называлось) и рвущийся на Святую Землю сквозь тенета ОВИРа (так это тогда еще происходило), имеет пылкий роман с эстонкой (еврею вдруг понадобилась эстонка! — как бы пожимает плечами рассказчица, но не сомневайтесь: там-таки — любовь). Будущий свекор, приехавший знакомиться с будущей снохой, и в мыслях не держит обидеть жителей ее родного Вильянди.

И, в-третьих, дело тут совершенно не в сюжете. Чтобы рассказать, как бедный еврей спасается от военкомата и как предусмотрительные друзья устраивают, чтобы в Москве его учетную карточку переложили из одного ящика в другой, — вообще для всей этой истории с отъездом не нужно столько попутных мерцающих описаний, столько дымчатых пейзажей, столько эстонского воздуха вокруг. Вийви Луйк, собственно, и не пишет историю любви и отъезда. Она пишет — эстонский воздух.

О, мы узнаем эту северную прозу, эти скупые штрихи, это гуденье пчел, мельканье ласточек, эти тонкие узоры на холодном стекле. Мы помним эту острую графику — неповторимое эстонское присутствие в том, что еще недавно называлось «многонациональной советской литературой». Маленький роман, за которым угадывается бездна. Три десятилетия русская проза училась лаконизму у эстонской. Теперь все это кончилось. Только штрихи растворяются в сумраке, да звуки доносятся издали, да запахи тают. «Запах незнакомых медоносных растений и запах крови сквозь кожу».

Одно сквозь другое. Все зыблется и перетекает: можно обменяться именами, телами, душами. Реальности нет — есть знаки, тени. Ты смот-

ришь на куст черемухи, но это призрачность, а реальность где-то далеко, в Москве, в военкомате, в Кремле, в неведомом чужом мире, где какой-то генсек решает двинуть танки на Прагу. Или еще куда-нибудь. Синдром 1968 года — «сладкий ужас», сквозь который видит мир эстонка, родившаяся в 1946-м.

Та самая девочка, которая в 1956 году идет по тропинке; на лице — узор из листьев; в руках — «Русский лес», который велено прочесть (а не хочется).

Та самая девушка, первые воздушные стихи которой в 1964 году воспарили в свет из кассеты «Молодых авторов».

Та самая женщина-писательница, чей прелестный «Леопольд» в русском переводе бывал читан в 80-е годы вслух матерями детям в Москве и Ленинграде.

Что осталось — так это воздушность стиля. А смысл другой. «Что за люди живут в этих призрачных селениях, остается загадкой». Потому что жизнь выморочена и смысл жизни подменен. Смысл определяется военкоматами за тридевять земель. Нет ни вещей, ни предметов — есть знаки, символы. Коды. Или команды. По телефону нельзя употреблять такие слова, как «книга», «бумаги», «документ», «чемодан», «письмо». Париж надо называть Киевом, а Нью-Йорк Москвой. Предмет — это не предмет, это весть о чем-то. Или антивесть: шутка. «Но как обратить в шутку значение слова «эстонцы» в энциклопедии? А парад на Красной площади — тоже шутка? Или русский танк на Вацлавской площади?»

Исчезающий узор реальности фиксируется ледяной иронией: «Неужели эти деревянные дома, пыль и босьяки, собирающиеся за будкой с квасом, и есть Эстония?»

Однако когда отпущенный на Святую Землю Лион спрашивает: «Ну, так как? Поедешь со мной?» — и у героини нет сил ответить, она, собрав все свое северное упрямство и мстя ему за свою едва не исчезнувшую родину, только и находит силы отрицательно качнуть головой. И на этом история кончается.

Эстония говорит: «Нет». Не надо вашей любви, союза, общего странства. Ничего не надо. Оставьте нас с нашими призрачными домами. Зачем еврею эстонка?

Что с того, что Лионов папаша не из Москвы приехал, а из Швейцарии! Все равно чужой.

Так ведь для него и его сына лес в Вильянди — такая же призрачность («весть», «шутка»); он в Эстонии — «как оказавшийся в лесу книжный шкаф», и тут вроде ни при чем брежневские танки и автоматы Калашникова. Из Иерусалима Эстония так же малореальна, как из швейцарского кантона Тургау. А из Стокгольма?

«Стокгольм так же далеко, как Москва. Но про Москву известно, чего оттуда ждать, время же Стокгольма еще не пришло».

А что, придет?

Как тогда будет насчет «мызной прислуги», «полосатых юбок» и «шапок-ушанок»?

Я, конечно, не собираюсь ни на чем «ловить» Вийви Луйк. Потому что она сама абсолютно все знает.

Я просто с грустью вчитываюсь в ее пленительную прозу. И эта грусть — прощальная.

А насчет шапок — вот вам и объяснение, тонкое, как «праздник облаков», и неостановимое, как «ветер поднебесья»:

«Народу полно. Темные толпы людей... При поверхностном взгляде кажется, будто люди одеты в темное и теплое, словно все они в драповых пальто, меховых шапках и сапогах. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что меховых шапок никто не надевал и что вместо драповых пальто на людях светлые, довольно тонкие костюмы

или пестрые платья. Сапоги же оказываются обычными уличными туфлями. Так что упрекнуть народ не в чем».

Как славно. И нам, конечно же, не в чем упрекнуть писательницу. Она выговорила свою боль, свою обиду, копившуюся... нет, не пять десятилетий советской жизни, больше: все «семьсот лет рабства», выпавшие на долю Эстонии. Она выговорила свое «нет» — преодолев любовь и память. Бог знает, сколько сил понадобилось ей для того, чтобы произнести это тихое «нет». Так что для устойчивости пришлось на какое-то мгновенье опереться на Брокгауза и Ефрона.

Лев Аннинский



ПРОЧТИТЕ ДЕТЯМ

Кеннет Грэм

ИВОВЫЙ ВЕТЕР

Роман

Перевела с английского Юлия Муравьева

Роман Кеннета Грэма (1859—1932) «*The Wind in the Willows*» (буквально: «*Ветер в ивах*») на родине автора, в Англии, так же знаменит, как и «*Винни Пух*» А. Милна и «*Алиса в стране чудес*» Л. Кэрролла. Написанный в начале века, он и по сей день не только драгоценнейший экспонат в Английском Музее Детства, но и одна из самых любимых и читаемых детских книг — и в Соединенном Королевстве, и всюду, где есть достойные замечательного оригинала переводы.

До недавнего времени по-русски существовал лишь только упрощенный пересказ, сделанный И. Токмаковой (те, кто самовластно решил, что читать и что не читать нашим детям, полагали: текст Кеннета Грэма слишком сложен, хотя на самом-то деле речь может идти всего лишь о более тонком и поэтичном «распределении Духа и Знаков»...)

Но вот, наконец-то (лучше поздно, чем никогда), прорвался и настоящий, не адаптированный Грэм: первые две главы в санкт-петербургском журнальчике для девушек «*Барышня*» (№ 1 и 2 за 1992 год) в переводе А. Колотова.

Предлагаемая нашим журналом переводческая версия — «*Ивовый ветер*» — сделана специально для «*Согласия*».

БЕРЕГ РЕКИ

С раннего утра трудился Крот, прилежно наводя порядок в своем крошечном домике, — генеральная уборка, как и положено по весне. Сперва вениками, потом тряпками работал он, а потом и толстой кистью, окуная ее в ведро с побелкой и забираясь на лесенки, этажерки, стулья. В конце концов у него запершило в горле, и заслезились глаза, и жирные кляксы побелки засохли на черной шерсти, и заболела спина, и устали руки. В воздухе и в земле, вверху и внизу, и со всех сторон шевелилась разбухшая весна: даже сюда, в темное и неприглядное жилище проникла она и обволокла его беспокойным духом неудовлетворенного, страстного, дивного желания. Ничего удивительного, что Крот внезапно швырнул кисть на пол, вскрикнул: «Ох, черт побери!» и «Вот дрянь!» и еще «Бог с ней, с этой уборкой!» и пулей выскочил из дома, даже не вспомнив про пальто. Властно, настойчиво звало и тянуло наверх, и он полез в туннель — хотя и крутой и узкий, но вполне заменяющий ему посыпанную гравием аллею, по каким обычно разъезжают

в экипажах животные, живущие ближе к небу и солнцу. И вот он скребся, и корябал коготками, и карабкался по своему туннелю — и тужился, и корячился, и еще тужился, и снова скребся, и цепко цеплялся маленькими лапками, и приговаривал тихонько: «Вверх и ввысь, нажми еще!» — и наконец — хлоп! — его мордочка выбралась на солнечный свет, и вот уже весь он катался по теплой траве огромного луга.

— Вот это здорово, — подумал он, — куда лучше, чем белить потолки!

Солнце нагревало шкурку, ветер нежно ласкал разгоряченный лоб, а на слух, притупившийся в долгой тишине подпольной, уединенной жизни, оглушительно обрушилось восторженное птичье песнопенье. Переполненный радостью жизни и наслаждаясь весной как она есть, без положенной непрерывной уборки, подпрыгивая сразу на всех четырех ножках, понесся он по лугу и скоро добрался до самого края, где росла живая изгородь.

— Стой! — возмутился пожилой Кролик, загородив проход. — Шесть пенсов за право передвижения по частной дороге.

Но Крот, нетерпеливый и очень уверенный в себе, попросту смел его со своего пути и помчался дальше вдоль кустов, подшучивая и издеваясь над длинноухими, которые там и сям суетливо и любопытно выглядывали из норок. «Луковый соус! Луковый соус!» — выкрикнул он напоследок и исчез, не дожидаясь достойного ответа. А они принялись браниться и ворчать друг на друга: «До чего же ты глупый, не мог ему сказать!» — «Ну, а ты сам-то куда смотрел?» — «А ты чего не поставил его на место...» — и все в таком роде, но, конечно, было слишком поздно, как и бывает всегда в подобных случаях.

Мир казался до того прекрасным, что даже не верилось. Бесцельно, беспокойно блуждал он по лугам и полям, пробегая мимо живых изгородей, пересекая прозрачные молодые рощицы, и видел повсюду, что птицы мастерят гнезда, листья стремительно разворачиваются и растут, а цветочные бутоны приготовились распускаться, — что природа счастлива, деятельна, хлопотлива. И совесть почему-то молчала, не шептала тревожно: «Побелка!» — напротив, болтаться без дела, шататься праздно, глаза на окружающих — по горло занятых граждан, — было необыкновенно весело. Да и что такое, собственно, праздник, если не это чувство безнаказанного безделья, вдвойне очаровательное оттого, что другим приходится работать.

Ошалелый от счастья, бродил он, не разбирая дороги, уверенный, что познал уже все радости жизни, — и неожиданно очутился на берегу полноводной реки. Он встретился с рекой впервые: лоснящееся, извилистое, откормленное животное. Оно охотилось — с бульканьем ловило добычу и тут же бросало ее, заливаясь хохотом, и находило новую жертву, и снова и снова отпускало на волю. Сверкающее тело дрожало и трепетало — блеск и вспышки, брызги, кружение, смех и лепет, болтовня и бормотание. И Крот, зачарованный, околдованный, взятый в плен, заспешил вдоль берега, словно ребенок, который не может отлепиться от взрослого, захваченный удивительной сказкой, и, боясь отстать, все убыстряет свои коротенькие шагки. Наконец он устал и присел на песок, а река продолжала выбалтывать секреты и журчать нескончаемые истории, посланные из самого сердца земли в дар ненасытному морю.

Так он сидел и наблюдал за противоположным берегом и, приметив там, над самой водой темное отверстие, решил пометить. Он представил себе, как славно и уютно жилось бы зверьку — не слишком прихотливому, но и не лишенному вкуса — здесь, в изящной усадьбе с видом на реку, вдали от шумных и пыльных проселочных дорог. И вдруг в глубине замерцала яркая искорка, погасла и снова засияла, точно крохотная звездочка. Впрочем, для звезды место было не впол-

не подходящее, а фонарь светлячка горел бы слабее и расплывчатей. Огонек подмигнул, и сразу стало ясно, что это глаз, и вокруг него потихоньку начало прорисовываться маленькое лицо, как рама вокруг картинки.

Маленькое, коричневое, усатое лицо.

Серьезное круглое лицо с блестящим глазом, похожим на звездочку.

Аккуратные небольшие ушки и густой шелковистый мех.

Это был Водяной Крыс!

Два зверька стояли и опасно изучали друг друга.

— Привет, Крот! — сказал наконец Водяной Крыс.

— Привет, Крыс! — кивнул Крот.

— Хочешь перебраться на этот берег? — помолчав, спросил Крыс.

— Чего болтать-то попусту? — отозвался Крот с горечью и даже с некоторой обидой — он был новичком на реке и понятия не имел, что тут за правила и как положено себя вести.

Крыс, не отвечая, нагнулся, отвязал какую-то веревку, потянул за нее — и легко ступил в неизвестно откуда взявшуюся лодочку, выкрашенную синим снаружи, белым изнутри и словно нарочно рассчитанную на двух некрупных зверьков. Крот всем сердцем устремился ей навстречу, хоть и не вполне понимал смысл ее и назначение.

Крыс ловко и быстро переправился через реку и протянул неловко спускающемуся к воде Кроту переднюю лапку.

— Обопрись-ка, — предложил он. — А теперь — смелее!

И Крот, к своему величайшему удивлению и восторгу, попал на корму самой настоящей лодки.

— Чудесный до чего день! — воскликнул он, глядя, как Крыс, оттолкнувшись от берега, снова берется за весла. — Знаешь, а я ведь еще никогда в жизни не катался на такой штуковине. . .

— Как?! — закричал Крыс. — Никогда в жизни? Быть того не может. . . Да чем же ты занимался? — От изумления он даже позабыл закрыть рот.

— М-м-м. . . А что, — смущенно промямлил Крот, откинувшись на сиденье, — это и в самом деле так славно?

Но лишь для виду задавал он свой необязательный вопрос — давно уже ответили на него весла, подушечки, уключины, все эти пленительные и совершенные детали — и легкое покачивание лодки вторило им.

— Славно? Это единственное стоящее занятие, — торжественно заявил Водяной Крыс. — И ничего, поверь мне на слово, мой юный друг, ну абсолютно ничего не найдется в целом мире прекраснее, чем просто лодырничать в лодках. Просто лодырничать, — продолжал он мечтательно, — лодочно лодырничать, лодырничать. . .

— Вперед посмотри, Крыс! — испуганно прервал его Крот.

Но было слишком поздно. Лодка на полном ходу врезалась в берег. Мечтатель, отчаянный гребец повалился на спину, задрал пятки в воздух.

— . . . в лодках или вместе с лодками, — невозмутимо закончил он и взобрался обратно, довольно посмеиваясь. — В них или немножко снаружи — не так уж и важно. Собственно, все неважно — вот в чем прелесть. Хочешь — отправляешься в путь, хочешь — остаешься; можешь добраться до цели, а можешь — до совсем другого какого-нибудь места или вовсе никуда не попадешь — в общем, ничем таким в особенности, но всегда ты занят, всегда при деле; а когда справишься с ним, обязательно подвернется новое, и тут ты сам себе хозяин, решаешь — браться ли за него, в охоту ли, и если нет — а обычно нет — значит, и Бог с ним. Послушай! Коли ты и вправду сегодня свободен, предлагаю спуститься вниз по течению и провести этот денек вместе.

От избытка счастья Крот пошевелил пальцами ног и блаженно, полной грудью вдохнул. Поерзал, устраниваясь поудобнее на мягких подушках.

— Вот это день так день! — прошептал он. — Давай поплывем прямо сейчас.

— Тогда подожди минутку, — сказал Крыс, продернул носовой фалинь через прикрепленное к пристани кольцо и полез наверх, в нору. Скоро он появился вновь, нагруженный пухлой плетеной корзиной, которую с трудом поволок к лодке.

— Под ноги зачихни, — посоветовал он Кроту, развязал фалинь и взял весла.

— А что внутри? — спросил Крот, изнывая от любопытства.

— Там холодный цыпленок, — деловито объяснил Крыс, — холодный язык, холодная ветчина, холодная говядина, салат из маринованных патиссонов, французские булочки, сэндвичи, мясные консервы, имбирное печенье, лимонад, содовая вода. . .

— Хватит, остановись! — взмолился Крот в восторженной панике. — Ведь этого слишком много!

— Тебе так кажется? — озабоченно взглянул на него Крыс. — Но я, как правило, беру с собой именно столько, и мне еще говорят, что я скупердяй и жмусь с угощениями.

Но Крот уже не слушал; заморожено вступал он в свою новую жизнь, опьяненный солнцем, звуками и запахами, сиянием и рябью: уронив в воду лапу, он грезил наяву, и видения пронеслись перед ним нескончаемой чередой. Крыс заметил его состояние и понимающе замолчал. Ровно и неумоимо греб он в тишине и лишь через добрых полчаса решил нарушить ее.

— Мне ужасно нравится, как ты одет, старина, — признался он. — Когда-нибудь я тоже заведу черный бархатный смокинг — если средства позволят.

— Ох, прости, пожалуйста, — Крот, восторженно пытаясь собраться с мыслями. — Ты, наверное, думаешь, что я очень невоспитанный — но все вокруг такое новое, понимаешь? Значит, вот они какие — реки. . .

— Это Река, — поправил его Крыс. — Для меня она единственная, других не признаю.

— И ты всегда живешь на Реке? Здорово!

— На ней, с ней, у нее и в ней, — улыбнулся Крыс. — Она мне всех заменяет — и сестричку, и брата, и теток, и друзей. Она мне и еда, и питье; ну и купанье, само собой. Это мой мир, и никакого другого я не хочу. Если у нее чего-то нет — значит, вещь нестоящая, а если она чего-то не знает — и не надо это знать! Господи, как мы проводили время! Зимой или летом, осенью ли, весной ли — сплошное веселье и волнение, ни минуты покоя. В февральский паводок мои подвалы и погреба до краев наполняются напитками, непригодными для питья, и грязная, бурая вода мчится под самым окном моей лучшей спальни; а потом она уходит и, отступая, оставляет после себя лепешки грязи, пахнущие, как сливовый пирог; канавы забиты раскисшим камышом и сорной травой, а я могу, даже не замочив ног, бродить по бывшему дну в поисках свежей пищи да подбирать вещи, которые неосторожные люди выронили из своих лодок.

— А не бывает тебе иногда скучновато? — нерешительно спросил Крот. — Ты и эта река, и не с кем даже словом перемолвиться. . .

— Не с кем, говоришь? Ладно, что с тебя взять, — снисходительно отозвался Крыс, — ты пока новичок, ничего толком не знаешь. Берег сейчас до того перенаселен, что многим приходится съезжать. Хотя, в общем-то, это не принято. Выдры, зимородки, шотландские куропат-

ки — шастают весь день напролет и постоянно чего-то требуют, пристают, как будто у тебя своих дел мало.

— А там что? — Крот махнул лапкой в сторону леса, темной стеной окаймляющего зеленые луга.

— Это? Да просто Дикий Лес, — нахмурился Крыс. — Мы, речные обитатели, стараемся туда не попадать без особой надобности.

— Выходит, жители этого леса не очень-то славные? — Крот слегка встревожился.

— Ну как тебе сказать, — замылся Крыс, — белки — они неплохие. С кроликами сложнее, среди них разные встречаются. Ну, Барсук, разумеется. Он живет в самой чаще — и ни за какие деньги не стал бы оттуда переезжать. Милый старина Барсук! Е му - т о никто не вредит. И пусть только попробуют, — добавил он и хмыкнул.

— А кто ему может навредить? — удивился Крот.

— Видишь ли, там водятся и всякие другие, — помедлив, неохотно объяснил Крыс. — Ласки — горностаи — лисы — и тому подобное. В принципе они тоже нормальные ребята, мы с ними не то чтобы друзья, а, понимаешь, если встретимся — поболтаем и неплохо время проведем. Но порой на них н а х о д и т — честное слово, тут уж никуда не денешься, и тогда — тогда не стоит с ними иметь дела, вот, собственно, и все.

Крот вспомнил, что правила хорошего тона не позволяют даже намека на какие-то грядущие неприятности, а сам он становится излишне настойчивым, и сменил тему.

— А дальше, за Диким Лесом? — спросил он. — Там, где голубые холмы так размыты, так расплывчаты, что их можно принять за марево отдаленных городов, — или это просто облака, обман?

— За Диким Лесом открывается Широкий Мир, — ответил Крыс, — и он ни к тебе, ни ко мне отношения не имеет. Я там не был и не собираюсь, и ты тоже, если у тебя ум за разум не зайдет. И, пожалуйста, никогда больше о нем не упоминай. Ага! Вот наконец и заводь, где мы собирается перекусить.

Оставив главное русло, они проскользнули в небольшое озерцо, почти отовсюду окруженное сушей. Зеленый дерн спускался к самой кромке, корни деревьев, охристо поблескивая, змеились под тихой водяной гладью; чуть впереди серебрился порог плотины и обрушивалась пена на неугомонное мельничное колесо, прислонившееся к домику с серой остроконечной крышей. Воздух был напоен бормотанием — монотонным, умиротворяющим, тягучим, но с неожиданными всплесками веселых хрустальных голосков. Это было так чудесно, что Крот воздел к небу свои передние лапки и, задыхаясь, повторял: «Ну и ну! Ну и ну! Ну и ну!» — никак не мог остановиться.

Крыс провел лодку вдоль берега, привязал ее, помог все еще неуклюжему Кроту выбраться на землю и следом вытащил корзинку. Крот немедленно взмолился о великой чести — позволить ему самому распаковать ее, честь не без удовольствия была оказана, а Крыс вольготно растянулся на травке и принялся отдыхать, наблюдая, как его восторженный друг вытряхивает и аккуратно расстилает скатерть, хватая один за другим таинственные свертки и пакетики и располагает их содержимое в надлежащем порядке, а при каждом новом открытии судорожно хватая ртом воздух и, не удержавшись, бормочет: «Ну и ну!»

Когда все было готово, Крыс подвинулся к скатерти и сказал:

— Ну, а теперь подналяжем-ка, старина!

Крот с воодушевлением подчинился — ведь свою весеннюю уборку он начал в ужасно ранний, как и положено, час и уж не отвлекался, чтобы куснуть или глотнуть чего-нибудь, а времени с тех пор утекло немало и сегодняшнее утро казалось далеким-предалеким прошлым.

— Что это ты там увидел? — поинтересовался Крыс немного спустя, когда они слегка заморили червячка и Крот смог оторвать взгляд от скатерти.

— Да какая-то вереница пузырьков по воде путешествует, — сообщил Крот. — Удивительно забавные.

— Пузырьки? Ага! — понимающе кивнул Крыс и засвистал бодро и нетерпеливо.

Широкая блестящая морда вынырнула у самого берега, и Выдр, выбравшись из воды, стряхнул со шкуры капли.

— Ах вы, жадоги! — он укоризненно покачал головой и набросился на провизию. — Крысик, что ж ты меня не пригласил?

— Да, понимаешь, как-то экспромтом вышло, — извинился Крыс. — Кстати, познакомься, это мой приятель, мистер Крот.

— Очень польщен, — образовался Выдр, и звери тотчас стали друзьями.

— Повсюду такая суматоха, — продолжал гость, — уйма народу, кишмя кишат. Я два часа добираюсь до этой тихой заводи, чтоб хоть минутку побыть в покое, и что же? — натываюсь прямо на вас, ребятки! Ну ладно, ладно, прошу прощения, ты же знаешь, я ничего такого не имел в виду.

Сзади зашуршало. Из кустарника, под которым все еще пышно устилала землю прошлогодняя листва, высунулась настороженная, полосатая, втянутая в плечи голова.

— Давай-давай, старина Барсук! — крикнул Крыс.

Барсук сделал нерешительный шаг вперед, остановился и, пробурчав: «Хм-м, соборище...», быстро развернулся и исчез из глаз.

— Ну вот, он всегда так, — разочарованно протянул Крыс. — Просто ненавидит Общество. Сегодня он уж больше не покажется... Ну, а кто там на реке, ты не обратил внимание?

— Во-первых, Жаб гуляет, — загнул палец Выдр. — В новехонькой байдарке, одежда с иголочки, все совершенно новенькое!

Они посмотрели друг на друга и расхохотались.

— Сначала парусники, помнишь? — веселился Крыс. — Потом ему надоело, и он перешел на плоскодонки, каждый Божий день с утра до ночи тыкался своим шестом, ни о чем другом и слышать не хотел — а что в результате? Провал, полный провал! В прошлом году это были плавучие дома, нам пришлось даже жить вместе с ним в его дурацком плавучем доме и притворяться, что мы в восторге. И он собирался провести в таком плавучем доме остаток своих дней. Одно и то же, вечно одно и то же, с чем бы он ни связывался: начинает скучать, бросает, хватается за свеженькую идею — и все опять по новой.

— Неплохой он паренек, — задумчиво отметил Выдр, — но больно уж неустойчивый, особенно в лодке!

За островком, отделявшим заводь от главного русла, виднелась полоса сверкающей воды, и зверям не пришлось даже вставать, чтоб разглядеть байдарку, на огромной скорости идущую по течению. Гребец, невысокий и толстенький, ужасно раскачиваясь, отчаянно и усердно бултыхал веслами. Крыс вскочил на ноги и окликнул его, но Жаб — а это был он — только потряс головой, неумолимый и упорный.

— Если он будет так раскачиваться, то непременно вывалится, — пожал плечами, сказал Крыс и уселся на место.

— Естественно! — хихикнул Выдр. — Слышал про Жаба и начальника шлюза? Дивная история. Однажды Жаб...

Одинокая весенняя мошка, заблудившись, мельтешила над самой водой, бесцельно и суетливо вспархивала, кружилась в пляске, забыв об опасности, возбужденная жаждой жизни. Плеснуло, на гладкой поверхности родился крошечный водоворотик — и мошка исчезла.

Но исчез и Выдр.

Крот поглядел вниз. Голос еще звучал в его ушах, и примятая трава хранила отпечаток туловища, но самого Выдра нигде не было видно, во всяком случае, насколько хватало глаз.

Только по воде вереницей пробежали пузырьки.

Крыс замурлыкал беззаботную песенку, и Крот припомнил, что в приличном обществе не принято обсуждать причины чьего-либо внезапного исчезновения, даже если оно и кажется вовсе беспричинным.

— Так-так, — вздохнул Крыс и потянулся. — По-моему, пора двигаться. Вот интересно, кто из нас лучше пакует корзинки? — Он явно был не прочь уступить это удовольствие другому.

— О, пожалуйста, позволь мне! — залепетал Крот, умоляюще сложив лапки, и Крыс, разумеется, позволил.

Запаковывать корзинку оказалось далеко не так приятно, как распаковывать, — да и не удивительно, так оно обычно и бывает. Но Крот твердо решил во что бы то ни стало радоваться и наслаждаться, и покалывать его решимость не удалось ни тарелке, выглянувшей из травы, когда он уже затягивал последний ремешок, ни вилке, которую с самого видного места поднял Крыс, когда работа снова была почти окончена, ни даже баночке с горчицей, на которой он, как выяснилось, сидел до последнего, и не подозревая о ее существовании. Словом, в конце концов Крот справился со злосчастной корзинкой, а его настроение почти ни капельки не ухудшилось.

Солнце клонилось к закату, Крыс тихо греб по направлению к дому, бормоча что-то поэтическое, мечтательное и неразборчивое, и не обращал на Крота особенного внимания. А Крот, сытый, гордый, довольный собой и чувствующий себя в лодке совершенно как дома, нервозно поелозив на сиденье, вдруг попросил:

— Крысик, милый, пожалуйста, дай мне погрести!

— Еще не время, мой юный друг, — рассеянно улыбнувшись, покачал головой Крыс. — Наберись терпения — придется тебе взять несколько уроков. Ведь это не так легко, как кажется.

Крот не стал перечить и постарался сидеть спокойно. Но зависть к Крысу, гребущему плавно и свободно, мощной волной поднималась в его душе; уязвленная гордость принялась нашептывать, что у него это вышло бы уж по крайней мере ничуть не хуже. Он подпрыгнул и так внезапно вцепился в весла, что Крыс, занятый поэзией и блуждающий взглядом по речному сиянию, был захвачен врасплох и свалился со скамейки, и его ножки задергались в воздухе второй раз за этот длинный-предлинный день. Торжествующий Крот занял его место, держа весла крепко и уверенно.

— Прекрати, балбесина! — завопил Крыс, пытаясь подняться. — Так нельзя! Мы перевернемся!

Крот размахисто швырнул весла назад и глубоко зарыл их в воду. В ту же секунду, потеряв равновесие, он увидел собственные ноги, взлетевшие выше головы, и грохнулся прямо на лежащего ничком Крыса. В ужасе он потянулся к бортику и —

ПЛЮХ!

Лодка перевернулась, и он очутился в реке, барахтающийся, беззащитный. Боже, какой холодной была вода, какой мокрой на ощупь. Как она пела в ушах, когда он погружался — вниз, вниз, вниз! Как ярко и приветливо светило солнце, когда он, кашляя и отплевываясь, всплыл на поверхность! И какое черное отчаяние охватило его, снова камнем идущего ко дну! Сильная лапа поймала его за загривок. Она принадлежала Крысу — смеющемуся, хохочущему, трсущемуся всем телом Крысу, — и тоже тряслась, и шея несчастного Крота просто физически ощущала этот хохот.

Крыс взял весло, просунул его Кроту под мышку и, пропихнув

дальше, под вторую лапу, поплыл сзади, осторожно подталкивая к берегу беспомощного зверька, а, вытащив из воды, усадил его на травку — раскисший, бесформенный, жалобный комочек.

Слегка растерев его и немножко выжав, Крыс скомандовал:

— Давай, старичок! Побегай здесь как следует, пока не согреешься и не просохнешь, а я тем временем сныряю за корзиной.

Печальный Крот, мокрый снаружи и очень пристыженный внутри, послушно затрусил по бережку и продолжал свое занятие, пока совершенно не высох. Крыс бросился в реку, догнал лодку, перевернул и, ткнув ее носом в песок, привязал. Постепенно он выловил все болтающееся на воде имущество и напоследок весьма успешно извлек из глубин корзину.

Приготовления были закончены, Крот, удрученный и поникший, занял свое место на корме и, когда они наконец отплыли, сказал слабеньким, прерывающимся от волнения голосом:

— Крысик, мой благородный друг! Я очень, очень извиняюсь за мое глупое и неблагодарное поведение. У меня прямо сердце замирает, как вспомню, что чуть не утопил эту чудесную обеденную корзинку. Правда твоя, я действительно балбес, болван, каких мало. Не знаю, сможешь ли ты меня простить, позабыть этот кошмар, чтоб когда-нибудь все стало как прежде...

— Да брось ты, все в порядке! — добродушно отмахнулся Крыс. — Что такое чуточку промокнуть для Водяного Крыса? Я ведь по большей части бываю в воде, а не на суше. И перестань об этом думать. И знаешь что? Хочешь у меня погостить? Жилье, правда, скромное и без особых удобств, с Жабовыми хоромами не сравнить — впрочем, ты их еще не видел, — но я тебя устрою уютно, честное слово. И научу грести и плавать, и ты будешь чувствовать себя на воде так же ловко, как лужой из нас.

У Крота, глубоко тронутого этой великодушной и сердечной речью, перехватило дыхание, на щеку выкатилась слезинка, потом еще одна, и он торопливо смахнул их тыльной стороной лапы. Но Крыс, с пониманием отвернувшись, смотрел в другую сторону, и Крот понемногу снова воспрял духом и даже умудрился надерзнуть парочке шотландских куропаток, которые обсуждали, посмеиваясь, его жалкий, запачканный вид.

Дома, в гостиной, Крыс жарко растопил камин и, придвинув кресло, разместил в нем Крота, притащил сверху халат и шлепанцы, а за ужином, ни на минуту не закрывая рта, рассказывал речные истории, захватывающие и увлекательные — особенно для такого сухопутного обитателя, как Крот. Он говорил о запрудах, о неожиданных-негаданных наводнениях; о прыгучей щуке; о пароходах, швыряющих гнусные тяжелые бутылки, — во всяком случае, бутылки летали, и определенно с пароходов, так что, вполне вероятно, они сами и безобразничали; о цаплях, столь тщательно выбирающих собеседников; о приключениях в сточных канавах; о ночных рыбалках в компании Выдра и о прогулках с Барсуком к дальним-предальним полям. Ужин прошел очень весело, но усталого Крота клонило в сон с такой силой, что Крыс, деликатный, как всегда, был вынужден прервать удивительную повесть и сопроводить гостя наверх, в свою лучшую спальню. Голова Крота блаженно и умиротворенно коснулась подушки, и он уснул, убаюканный мыслью о том, что Река, его счастливо обретенный друг, плещется у самого подоконника.

И потекли дни, и спящее лето, созревая, без усталости удлиняло их и щедро, не считая, наполняло событиями. Крот выучился плавать и грести и разделять радость бегущей воды, а порой, приложив ухо к тростниковым стеблям, улавливал обрывки того, о чем нашептывал им неумолчный ветер.

(Продолжение следует)

С 1992 года

Владивосток и Москва

возобновили издание тихоокеанского альманаха

«РУБЕЖ»

На страницах альманаха вы найдете первый полный перевод на русский язык «Бесед и суждений» Конфуция, фантастические новеллы Альфреда Хейдока, предсмертный дневник Владимира Арсеньева, литературные воспоминания Арсения Несмелова, китайскую классическую поэзию в переводах Валерия Перелешина, стихи Ивана Елагина и Новеллы Матвеевой, Марианны Колосовой и Аркадия Штейнберга, фантастические романы американских и русских писателей, страницы литературы русской Калифорнии и многое другое, незаслуженно забытое в архивах и письменных столах.

Выходит два раза в год.

Главный редактор *Александр Колесов*.

«РУБЕЖОМ» руководит редакционная коллегия, в состав которой входят специалисты из России, Китая, Японии, США, Германии, Нидерландов, Бразилии.

Кроме того,

выходят в свет книги серии

БИБЛИОТЕКА АЛЬМАНАХА «РУБЕЖ»:

Герберт Розендорфер: «Письма в Древний Китай»; «Дзурхай — буддийская астрология»; «Семьсот семьдесят семь заговоров и заклинаний русского народа»; эротическая проза древнего Китая; Евгений Витковский: «Павел Второй» — первый русский роман в жанре «реалистического реализма» — и ряд других книг.

История, литература, изобразительное искусство — всё на страницах альманаха «РУБЕЖ»
и в книгах издательства «РУБЕЖ»

SUMMARY

The issue opens with the autobiographical novel «A Handful of Dust» (to be continued) by Robert Shtilmark, the author of the bestseller novel «An Heir from Calcutta» translated into many languages.

The poetry of this issue includes poems by Olga Postnikova, Valentina Gridasova and Alexei Tatarnikov.

Victor Sosnora, well-known poet, prose writer and painter, has contributed his last novel «The Tower» (also to be continued), a bitter social satire.

The issue also contains the continuation of «The Fragments of a Broken Looking-Glass» by Marina Tarkovskaya, the recollections of Andrei Tarkovsky's childhood written by his sister.

The «At the Bookstand» section offers «The Anecdote Is Returning» by Alla Martchenko, a historian of Russian literature and a literary critic of renown. The short stories by Kirill Zalesov and Nina Sadur serve to illustrate the article's points, for their pattern is that of an anecdote and their humour utterly black.

In the foreign prose section we start the publication of «The Citadel» by Antoine de Saint-Exupery, one of the great philosophical novels of the century. Its Russian equivalent by Marianna Kozhevnikova is not only adequate but of the highest literary quality as well.

In the «Publicistics» section Ariadna Ardashnikova presents an eyewitness' account of the pilgrimage to the Jasna Gora, Poland, in August, 1991.

In our regular column «A Propos» Lev Anninsky, one of the leading literary critics, discusses the last novel of Viivi Luik (Estonia).

In the section «Read It to Your Children» Kenneth Grahame is represented by his novel «The Wind in the Willows» (1908) in a new translation by Julia Muravyova.

«CONCORDANCE»

«СОГЛАСИЕ», 1993, № 1

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Патриарх Алексий,
А.М.Адамович, Г.П.Алференко,
В.С.Алхимов, В.М.Борисов,
А.М.Борщаговский, Ф.М.Бурлацкий,
Ю.М.Буцко, Е.М.Бычков, Б.Л.Васильев,
А.Ю.Герман, А.А.Голик, Г.М.Гусев, А.Г.Коновалов,
Л.П.Кравченко, В.Н.Крупин, А.М. Марченко,
Г.И.Матевосян, А.Н.Медведев, В.В.Меньшиков,
В.В.Михальский, Б.А.Можаев, С.А.Мубаряков,
В.Н.Мудрак, Б.И.Олейник, О.М.Попцов,
Г.В.Пряхин, Ю.М.Рост, Ю.С.Рытхэу,
А.Н.Самарцев, Л.П.Синянская, Ю.Б.Соломонов,
В.Т.Спиваков, Н.К.Старшинов, О.М.Толкачев,
Н.И.Травкин, С.Н.Федоров, Ю.Д.Черниченко,
Б.А.Чичибабин, С.И.Чупринин,
И.О.Шайтанов, И.И.Шкляревский,
А.Н.Яковлев, С.В.Ямщиков

Подписано к печати 29.12.92 Рег. № 01872 от 10.12.92 г.
Формат 70×108/16 Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Физ. печ. л. 14,0 Тираж 5000 экз. Заказ № 5139 Цена договорная
Производственно-издательский комбинат ВИНТИ
140010, Люберцы-10, Московской обл., Октябрьский проспект, 403

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

113054, Москва, ул. Бахрушина, 28.
Телефоны: главный редактор — 235-15-56,
первый заместитель главного редактора — 235-14-00,
отделы прозы, поэзии, критики, публицистики — 235-14-10

Корректоры *В. Н. Крылова, С. И. Горшунцова*